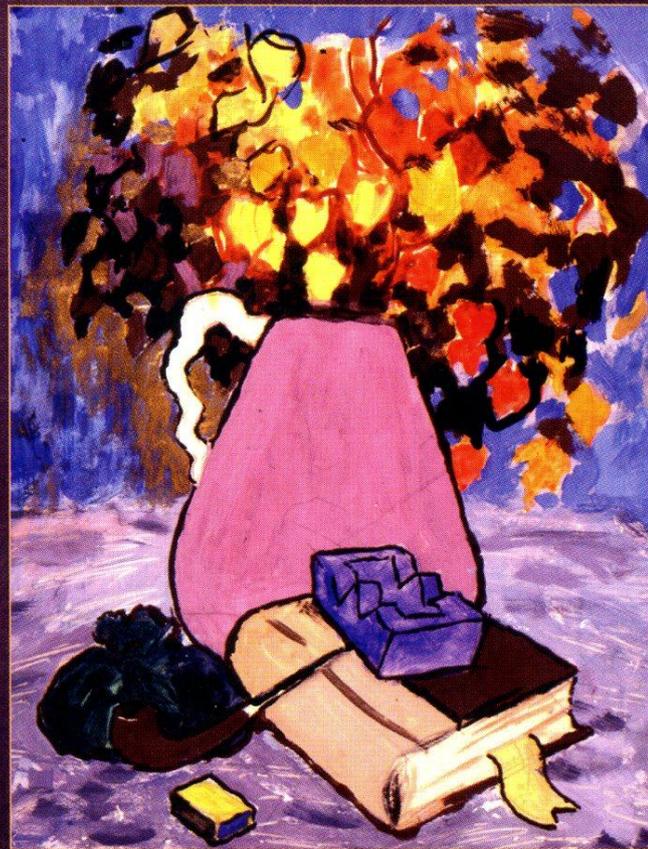


Д.А. Быстролётов
(Толстой)

ПИР БЕССМЕРТНЫХ

*Книги о жестоком, трудном
и великольном времени*



ВОЗМЕЗДИЕ

Том IV



*К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Александровича Быстролётова*

Д.А. Быстролётов
(Толстой)

Пир бессмертных

Возмездие

Том IV

Москва
Крафт+
2011

УДК 94
ББК 63.3
Б95

*На обложке: Д.А. Быстролётов. Натюрморт
(гуашь). 1937 год*

*В оформлении форзацев использованы
работы Д.А. Быстролетова*

Быстролётов, Дмитрий Александрович
Б95 **Пир бессмертных:** Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. **Возмездие.** Том IV / Д.А. Быстролётов. – М.: Крафт+, 2011. – 288 с. – ISBN 978-5-93675-176-9. – ISBN 978-5-93675-184-4 (том IV).

Д.А. Быстролётов (граф Толстой) – моряк и путешественник, доктор права и медицины, художник и литератор, сотрудник ИНО ОГПУ – ГУГБ НКВД СССР, разведчик-нелегал-вербовщик, мастер перевоплощения.

В 1938 г. арестован, отбыл в заключении 16 лет, освобожден по болезни в 1954 г., в 1956 г. реабилитирован. Имя Быстролётова открыто внешней разведкой СССР в 1996 г.

«Пир бессмертных» относится к разделу мемуарной литературы. Это первое и полное издание книг «о трудном, жестоком и великолепном времени».

Рассказывать об авторе, или за автора, или о его произведении не имеет смысла. Автор сам расскажет о себе, о пережитом и о своем произведении. Авторский текст дан без изменений, редакторских правок и комментариев.

ISBN 978-5-93675-176-9
ISBN 978-5-93675-184-4 (том IV)



9 785936 751844

© С.С. Милашов, 2011
© Издательство «Крафт+»,
подготовка к изданию и
оформление, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Трудный путь в бессмертие

Книга одиннадцатая

Предисловие	7
Глава 1. Заживо погребенные встают из могил	11
Глава 2. Бывший мертвец удивленно наблюдает	17
Глава 3. Два года без улыбок	48
Глава 4. Подъем по крутизне	96
Глава 5. Мой район, мой дом, мои соседи	129
Глава 6. Единоборство двух правд	168
Глава 7. Беседа за круглым столом	200
Глава 8. Радость жизни	282

Всё живое на земле боится смерти, и только один человек в состоянии сознательно победить этот страх. Перешагнув через страх смерти, идейный человек становится бессмертным, в этом его высшая и вечная награда.

Смертных на земле – миллиарды, они уходят без следа, для них опасности и тяготы жизни – проклятье, для нас – радость, гордость и торжество!

Борьба – это пир бессмертных.

*Дмитрий Быстролётов
(Толстой)*

ТРУДНЫЙ ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ

Книга одиннадцатая

Предисловие

В самом верху – безоблачное синее небо. Оно прекрасно. Оно как бы благословляет всё, что под ним.

Ниже – знамёна. Их очень много – они победно воткнулись в благостную синеву неба, как живой колышущийся лес, и радостно реют над празднично возбуждённой толпой.

В самом низу – люди. Сегодня город похож на взбитую ветром гладь воды: взволнованные и умилённые жители ручьями текут по улицам и сливаются в бушующее восторгом море. Слышите его громовой рокот? Это гремит при вокзальная площадь! Там высоко взметнулись и безмолвно кричат с людьми сотни ярких плакатов:

«Пламенный привет сибирским страдальцам!»

«Честь и слава стойким сынам Родины!»

«Горячо славим верность, верность и ещё раз верность!»

Минуты невероятного напряжения. С Востока подходит поезд. И вдруг в толпе молнией пробегает одно слово:

– Идут!

Вот они на высоком крыльце вокзала – истощённые, больные, может быть, умирающие, но крепкие духом. Вопреки всему! Несгибаемые до конца! Сегодня они безмерно счастливы: мгновения этой торжественной встречи – их первая награда. Тысячи носовых платков поднимаются к глазам, в толпе слышатся рыдания.

Не стыдитесь слез, граждане! Это благородные слезы, они – ваше добровольное приношение страдальцам!

Гремят оркестры. Страстно звучит мелодия гимна.

Героев бережно усаживают в богато украшенные автомобили, похожие на корзины цветов. Над гирляндами роз улыбаются бледные лица мучеников. Нарядный кортеж не спеша пробирается сквозь бушующую толпу, будто раздвигает заросли иступленно вскинутых рук и волны приветствий. А дальше... Гм... Дальше страдальцев ждут лучшие гостиницы и дома отдыха... Потом спокойная почётная работа... Старость с кругленькой пенсией... И, наконец, когда подойдёт время, памятники в бронзе. Герои сибирской эпопеи переживут положенный людям предел жизни.

Что это? Выдумка? Сон?

Нет! Никким образом! Это – сущая правда! Действительность нашего удивительного времени.

Только случилось такое не у нас, а в Западной Германии: именно так буржуазная фашиствующая страна встретила

своих чёрных и коричневых сынков, недобитых эсэсовцев и штурмовиков, вернувшихся из вполне заслуженного ими сибирского заключения!

Последняя война была классовой схваткой, и буржуазия достойно отблагодарила своих ландскнехтов: встрече был намеренно придан характер политической демонстрации, классового сознания и классовой солидарности.

Но классы бывают разные. Самосознание и совесть – тоже.

После фашистов, с которыми в сталинских лагерях советские заключённые спали и работали бок о бок, вернулся из Сибири и я. Вернулся, как очень многие, на развалины: семья выбита сталинистами, имущество растащено друзьями. Это было возвращение в никуда. На пустое место, где предстояло начать строить новую жизнь.

Я узнал, как трудно вставать из могилы...

В лагере меня подняли на освобождение с больничной койки после второго паралича. По прибытии в Москву я выполз на ступени Казанского вокзала. Голова так кружилась от волнения и усталости, что пришлось опереться рукой о стену. Сознание было помрачено: я соображал, видел и говорил плохо. На мне болталась телогрейка с вырванными на груди и спине номерами, шапку по дороге украли, в кармане лежала справка, что вшей у меня нет, и удостоверение, что я действительно шпион, террорист и заговорщик, досрочно освобождённый из заключения как неизлечимо больной.

Я остановился в нерешительности и перевёл дух. Постовой милиционер заметил меня.

– Ты **оттуда?**

– Оттуда.

– Так давай отселева к такой-то матери, слышь? В момент, чтобы духу твоего здесь не было! Смывайся! Катись!

Так неласково встретила Родина своего сына, вставшего из могилы после незаслуженной казни почти восемнадцать лет назад. Ну, и что же поделаешь – я устало юркнул в дыру родного Советского дома, как крыса, пропущенная туда бестолковым хозяином.

И не мудрено.

Встреча недобитых фашистов в Западной Германии была проявлением моральной поддержки, а в Советском Союзе недобитых коммунистов встретили со стыдом, делая вид,

что ничего вообще не случилось и виновных во всенародной трагедии сталинского времени никогда не было и нет.

Вот поэтому-то я считаю, что не смею закончить свои воспоминания об испытаниях в местах заключения моментом освобождения и казённой фразой, вроде, например, такой:

«В 11 часов утра 20 октября 1954 года, прижимая к груди в порыве восторженной благодарности удостоверение за номером Н0034109, не могущее служить видом на жительство, и санитарную справку о том, что на мне нет вшей, я покинул учреждение, скрывающееся в городе Омске под названием Почтовый ящик номер 120».

Нет, нет, прошлое не кончилось, оно продолжается!

Я обязан рассказать о дальнейшем, потому что и на воле вижу слишком много примет лагерной жизни и думаю, что хотя И.В. Джугашвили скончался, но дух его здравствует, он вокруг меня, я его ощущаю всегда и везде.

Сталин живёт в сознании миллионов советских людей, которым его система управления выгодна. Наследники Сталина медленно, но упорно, исподволь и осторожно берут реванш за временное развенчание Вождя. Зигзаги политической линии Хрущёва и вырождение его эпохи в позорную хрущёвщину – это закономерное явление, вытекающее из внутренней родственной связи: ребёнок может лицом не походить на мать, но в себе самом он носит её очевидные наследственные черты. Умолчать об этом – значит недосказать до конца того, что относится к выбранной мною теме.

Я не могу и не хочу описывать всё, что видел и вижу. Наши грандиозные достижения бесспорны, они исчерпывающе отражены нашей печатью и по достоинству оценены за рубежом. Сидеть у себя в комнатке и пытаться воссоздать величественную и всестороннюю картину советской жизни в целом мне, старому, больному и очень занятому человеку, честное слово, не к лицу – я не хочу быть смешным, ломиться в открытые двери и пересказывать всем известное.

Тому, что в муках и лишениях добыл наш народ, слава во веки веков!

Но, оставив в стороне широчайшие общественные горизонты советской действительности, мне хочется на своём личном примере показать то, что у нас старательно замалчивается, – неустроенность и неустойчивость нашей общественной жизни из-за недоведённого до конца разоблачения сталинизма и отказа от ее коренной перестройки и оз-

доровления. Выяснилось, что идти вперёд не удастся, а значит, приходится неизбежно пятиться назад к Сталину, потому что возврат к Ленину в советских условиях уже невозможен, государственной и партийной бюрократии он не выгоден, наследники Сталина этого не позволят. Это и понятно: нельзя уничтожить идеологическую надстройку, пока существует питающее её материальное и социальное основание.

Хрущёв, замахнувшийся на сталинизм и сам оставшийся типичным сталинцем, был плохим марксистом: вынести Сталина из советского мавзолея можно только вместе с его наследниками.

Хрущёвщине и посвящается последняя книга моих воспоминаний. С нею будет исчерпана вся тема, и с чувством выполненного долга я смогу затем поставить последнюю точку.

Заживо погребенные встают из могил

Когда два надзирателя, укутанные в меха и похожие поэтому на ставших на дыбы медведей, распахнули широкие лагерные ворота, то вконец замёрзшим новоиспечённым гражданам Советского Союза представился нерадостный вид – унылые сугробы, с которых пронизывающая позёмка сдула снежок и обнажила намёрзшую тускло-ледяную корку. Лишь кое-где из неё торчали тонкие обледенелые прутья кустов с ещё сохранившимися чёрными листочками, трепетавшими на ветру. И всё. Это была **воля**.

Возчики звонко хлестнули кнутами и законно отматерились; покрытые инеем низкорослые лошадки дёрнули, и сани пересекли заветную черту. Это мгновение каждый из освобождённых ожидал годы и десятки лет, оно настало, и – я готов поклясться! – никто даже и не заметил заветного перехода от неволи к свободному состоянию: каждый был занят заботами и тревогами наступившего дня.

Накануне, празднуя освобождение, я заготовил несколько фраз, которые должен был продекламировать себе самому в столь торжественный момент, – красивые и суровые слова клятвы. Но затем съел килограмм сметаны – позволил себе такую роскошь, хотя и на горе: живот вздуло, и сквозь вой ветра я явственно слышал злое урчание под телогрейкой и в момент, когда покрытые одеялами сани со скрипом проезжали ворота, подумал только: «Хоть бы дотерпеть до станции: там есть уборная».

Нас нагрузили навалом, и чьи-то ботинки больно давили мой бок. Кто-то под одеялами просипел: «А ложки мы забыли? Надо бы выбросить их, по поверью, а то вернёмся!» – «Холодно, руки мёрзнут. А насчёт возвращения – это не наше дело – понадобится, вернут с ложками или без них». И всё. До вокзала все молчали, погруженные в свои думы.

Никакой радости ни у кого не было.

На станции надзиратель сорвал с пяти саней одеяла и дважды пересчитал их.

– По три одеяла на сани, возчики, видели? Пропьёте – отберу пропуска. Слышали? Ну, ехайте домой.

В переполненном зале ожидания он нас выстроил и вручил документы и деньги. Кругом плакали дети, орали пья-

ные, храпели уставшие насмерть старики и старухи, где-то подростки затеяли драку. У нас кружилась голова. Кто-то несмело, но с надеждой пискнул:

– Гражданин надзиратель!

– Товарищ.

– Товарищ надзиратель, а нельзя ли вернуться?

– Куда?

– В лагерь. Вот весной бы, по самому теплу, и поехали бы по домам.

Надзиратель оскалил зубы в недоброй усмешке.

– Нет, браток, теперь казённые хлеба кончились. В лагере хлеб и кашу с маслом вы не жрёте, а тут свобода вам быстро мозги вправит, понял? Каждую корочку надо тут заработать – больше хлебоборезки не будет! Идите, получайте билеты по литерам!

– А где?

– Узнаете. Я вольных не обслуживаю.

Он резко повернулся и вышел в большую дверь. В беспокойной толпе мы остались одни.

– Бросил, гад...

– Да. Как щенят... Подлец!

На восемнадцатом году размеренной жизни, отрегулированной положением о лагерях, страшно и мучительно вдруг очутиться лицом к лицу с тем, чего мы были лишены столько лет, – с инициативой: первое ощущение свободы оказалось ощущением необходимости действовать по своей воле. Мы стали в очередь. Не в ту... Нашли другую... Стояли два часа... Оказалось, нужна печать дежурного по вокзалу... Какого? Нашли... Его нет, придёт через два часа... И так далее, без конца, ибо конец всякой жизни – смерть, а мы были новорождёнными.

Среди чёрных куч людей мы тоже повалились одной кучей.

Молчание.

– А сейчас раздают ужин, – проронил сдавленным голосом один.

– Нет, наш барак пойдёт после четвёртого.

– Тот уже взял. Сейчас мы...

Молчание.

– Кто это «мы»? Мы – отрезанный ломоть.

– Сейчас едят они – те, кто за забором. Наше дело телячье – лежать здесь.

– Да... Сегодня будут раздавать селёдку. Вчера завезли бочки. Я видел, они стояли около кухни.

Все проглотили слюни.

– Я не прочь бы сейчас одну...

– Со свежим хлебцем... Ещё тёплым...

– Да... В заключении я селёдку не ел, а тут, на воле, слюнки пускаю... Полон рот... Удивительно!

Первый день свободы оказался днём мучительной растерянности, трудного отрыва от прошлого и насильственной перестройки и приспособления к новым формам существования.

Мы сели в жёсткие вагоны дальнего следования – чистые, светлые, блестящие. Пассажиров мало. Я и Рудов доплатили и получили лежачие места с матрасом и бельём. Легли. Настала ночь – первая ночь на воле под мерный стук колес, уносящих нас на запад. Я разделся и накрылся подкрахмаленной белой простыней и чистым одеялом. Сверхшалась мечта – я уезжаю из Сибири! Я проводил рукой по простыне и одеялу, желая вызвать в себе ощущение восторга, бурной радости, упоения.

Но ничего этого не было.

Меня переполняла тревога. Куда я еду? Что со мной будет? Как меня встретят люди, которые меня не знают и, вероятно, знать не хотят? Что будет дальше? Ведь я не могу работать... **Я не могу** содержать себя, кормить, обувать и одевать, найти комнату и заработать деньги для её оплаты... И ещё: я не полноправный гражданин, а **лишенец** – куда ни сунусь, всюду будет отказ! Работу лекпома мог бы иметь в Омском инвалидном приюте, но Анечка сорвала меня с места, плохого, но обеспеченного, и, главное, самостоятельного и независимого. Теперь моя жизнь зависит только от неё... А если она совсем не приедет в Москву? У меня мороз пробежал по коже... Если меня не примут Лина и ее муж? Если Анечка задержится, а Лине с мужем надоеет моё присутствие? Куда мне идти тогда?

Страх, холодный страх перед грядущим сдавил сердце. Большая голова не привыкла напряжённо мыслить, ведь мышление требует усиленного притока крови к мозгу, а у меня мозговое кровообращение резко недостаточное. Я почувствовал в левом темени острую боль – в том месте, по которому когда-то бил молотком полковник Соловьев и где потом дважды происходил спазм сосудов: эта боль испугала меня, я боялся третьего паралича. Здесь, в вагоне... Судо-

рожно начал считать, чтобы прекратить мышление и остановить приток крови.

Сто двадцать один... Сто двадцать два...

И в смятении уснул. Днём в нашем сознании лагерь как будто бы отодвинулся назад, а его место занял страх. Первая ночь на воле была ночью сомнений и тревог.

Как хорошо, что ехать пришлось несколько суток!

Потрясение, вызванное столь внезапной переменной образа жизни, сначала носило характер грубой встряски, но скоро новые впечатления и настоятельная необходимость думать, принимать решения и действовать, смягчили удар и переключили мозг на живую практическую работу: долго переживать было попросту некогда.

Анечка из денег, так трудно ею зарабатываемых после первого и второго заключений, высылала мне ежемесячно круглую сумму, вполне достаточную для лагерного ларька. Я старался экономить и писал ей просьбы урезать присылку денег, но это не помогало, и к моменту вызова в Москву на моём счёте в Суслово скопилось уже 800 рублей. После перевода в Омск и возобновления связи мы оба затребовали эти деньги, но безрезультатно: их украли, сообщив, что они переведены по назначению. Это обычная форма грабежа заключённых, и спорить было бесполезно. Ко дню освобождения из Омска у меня снова скопилось 800 рублей, которые на этот раз я получил полностью. Таким образом, вопрос о питании был разрешён.

Анечка хотела прислать на дорогу лыжный костюм, она была опытнее и знала, что он мне понадобится. Но я отклонил это предложение и ехал в казённом обмундировании с дырами, вырезанными на груди, спине и на обеих ногах: полоски белой материи с номерами я сорвал, теперь вместо них из дыр торчала вата. На ногах были казённые ботинки. Хорошую меховую шапку сразу же украли. Волосы на лице полезли с удивительной быстротой, и я с радостью предвидел восстановление в недалёком будущем бороды; но пока торчала щетина, у меня был вид человека, не заслуживающего доверия. Утешало, что и другие освобождённые выглядели не лучше. Любопытно, что в заключении мне иногда удавалось посмотреть в зеркало, и цвет моего лица мне казался вполне нормальным – он был как у всех. Но теперь мы резко выделялись: на фоне розовых лиц наши казались серо-жёлтыми, точно выкрашенными в цвет мертвецкой. В вагоне и

на перронах мы видели немало рабочих в чёрных телогрейках, но **наших** было легко отличить от **настоящих** вольняшек.

Мы, контрики, держались вместе и разговаривали вполголоса так, чтобы посторонние люди нас не слышали. Но в поезде ехали освобождённые урки, наши и какие-то чужие. Их мы узнавали с одного взгляда, как негров среди белых, и молча с ненавистью провожали глазами. Урки тоже держались вместе, вместе пьянствовали, орали и провоцировали драки. С удивлением мы наблюдали, как вольная публика молча и покорно сносила нарушение порядка и спокойствия: ни офицеры, ни милиция, ни молодые люди с комсомольскими значками на груди – никто не пытался унять хулиганов, все вели себя с непонятным нам трусливым терпением и покорностью. Мы осознали положение вещей много позднее, когда лучше ознакомились с вольными порядками.

В промежутках между едой сидели у окон и молча смотрели на всё, что проплывало мимо: это был крайне необходимый психический отдых, он помогал внутренней перестройке и приспособлению. Между прочим, по мере удаления от Омского лагеря некоторые наши инвалиды стали заметно и быстро выздоравливать – скрюченные спины и руки разогнулись, сильная хромота стала еле заметной, дрожание голов исчезло вовсе: среди нашей группы симулянтов не было, но аггравантов имелось достаточно. К сожалению, мои недуги остались – правая рука не слушалась, нога волочилась по земле, язык с трудом шевелился, один глаз был больше другого. Но особенно тревожило выпадение памяти: вдруг я забывал, как меня зовут или куда и зачем я еду.

Обстоятельства сблизили меня с Рудовым, крупным рижским портным, некогда окончившим Берлинскую Академию Портняжного искусства (была и такая!). Это был хорошо воспитанный, очень бывалый человек весьма привлекательной наружности – седой, сероглазый, с ярко-рыжими усиками, подстриженными на английский манер; он выглядел как английский офицер в штатском. Рудова, как еврея, немцы посадили в лагерь смерти, но потом стали давать ему заказы на пошив обмундирования высшему начальству: смертник превратился в придворного портного и начал «процветать» – днём иногда перехватывал рюмку коньяка, по ночам ожидал расстрела. Наши, освободив его из немецкого лагеря, дали ему двадцать пять лет за сотрудничество с фашистами и послали в Сибирь. У Рудова был тяжёлый артрит, и нас досрочно освободили в один день.

В Свердловске нашу группу ожидала неприятность – пересадка. День был очень морозный, народу – уйма. Выяснилось, что выехать мы сможем не раньше, чем через неделю. И тут в наших седых многоопытных головах возник хитроумный план: Рудов прикинулся глухим и немым паралитиком, а я – врачом, приставленным к нему лагерным начальством. Сказано – сделано: Рудов закатил красивые серые глаза и повис у меня на руке, а я потащил его в медпункт. Там он картинно изображал глухонемого идиота, а я кое-как рассказал, в чём дело и попросил помочь без очереди получить билеты. Женщина-врач, сестра и санитарка ударились в слёзы – мы были, может статься, плохими актёрами, но зато настоящими каторжниками и больными. Отплакавшись, врач спросила меня:

– Так как же фамилия вашего больного, доктор?

И тут от волнения меня постигло несчастье – очередной провал памяти: я забыл фамилию Рудова.

Это было ужасно!

Произошла заминка. Женщины вытерли слезы. Подняли брови. Насторожились.

– Рудов! – наконец с угла губ выдавил мой глухонемой паралитик.

– Рудов!! – радостно подхватил и я.

Врачиха безнадежно махнула рукой, оделась и выбежала вон. Через четверть часа она вручила нам билеты. Теперь я думаю, что мы напрасно хотели спекулировать на выдуманных болезнях, дабы вызвать к себе сочувствие. Достаточно было взглянуть на нас: наш вид говорил вместо нас всё, что надо. Он не был выдуманный.

За Уралом стало теплее. После Волги исчез снег. На подъезде к Москве выглянуло солнце и показалась бурая, местами даже зелёная трава: зима кончилась, мы приехали в позднюю солнечную сухую осень.

На Казанском вокзале наскоро расстались. Держа в руке узелок, я вышел на ступени.

– Катись! – прорычал мне в ухо дежурный милиционер.

И я покатился в город, где живу и по сей день.

Очень кружилась голова. Временами думал, что упаду. Взял такси. Шофер внимательно посмотрел на меня и стал кружить по городу, чтобы заработать побольше: Ново-Басманная улица находится рядом.

В солнечный послеобеденный час я подъехал к серому дому. На втором этаже нашёл нужную дверь. Позвонил. Никого. Позвонил ещё раз. Десять. Двадцать.

Никого.

В отчаянии я присел на подоконник. Очень закружилась голова и стало стрелять в левую половину головы. Нужно бы не думать... Но как же не думать?! Вечер надвигается. Лины нет или она уехала... Куда я денусь?

Шустрый школьник взбежал по лестнице и стал бить кулаком в заветную дверь.

Я подошёл.

– Милашovy здесь живут?

– Конечно. Почему вы не постучали? У нас не работает звонок! Вы из Сибири приехали? Да?

Полная красивая молодая женщина открыла дверь, пропустила мальчика. Внимательно на меня посмотрела, сказала:

– Я уже поняла, кто вы. Мама мне писала. Проходите.

И вот ночью я лежу на мягком диване, на хрустящем белоснежном белье. Приютившие меня люди спят.

В ночной тишине я как будто один. Смотрю в слабо освещённый высокий потолок.

И вдруг безумная, яростная, бешеная радость охватывает меня. Сотрясает с головы до пят. Я задыхаюсь. Сдерживаю руками голову, чтобы оттуда не вырвался наружу мой большой мозг.

В комнате тихо. Я шепчу, беззвучно кричу, мысленно ору и торжествующе вою, как вырвавшийся из клетки зверь, повторяю одно невероятное слово:

– Свободен! Свободен!! Свободен!!!

Глава 2

Бывший мертвец удивленно наблюдает

Утром я незаметно выбросил в уборную справку насчёт вшивости.

Хе-хе-хе... Спорить нечего, я действительно свободен... Хотя и остался гражданином третьего сорта. Лишенцем.

– Ну, каковы твои планы насчёт работы? Где думаешь устраиваться? Предупреждаю: в Москве тебе не дадут комна-

ты и прописки, а значит, и работы. А комнату тут получить вообще невозможно! – говорил Зяма, муж Лины, на следующее утро, равнодушно глядя в окно.

«Планы? – туго думаю я. – Какие планы? У меня нет планов. Я не могу работать. Вот Анечка бы...» От напряжения начала болеть голова. Слева. В темени.

– Вот Анечка приедет, и тогда ...

В тот же день Зяма повёл меня на рынок и купил в ларьке рубаху, галстук, бельё, ботинки и костюм. Вещи самого низкого качества. Но новые. Когда я их надел и взглянул на себя в зеркало, то не мог сдержать улыбку животной радости: на меня смотрел не заключённый, а человек. Обыкновенный. Как все. Один из тех, к кому милиционер теперь не подойдёт и не скажет: «Катись к такой-то матери!»

На улице я издали замечал милиционеров и чекистов и проходил мимо не очень, правда, уверенно, но проходил, и с каждым днём всё больше и больше убеждался, что, мол, ничего, всё нормально, никто меня не трогает...

Но у меня в нагрудном кармане лежал документ об освобождении, и в нем значилось, что я – досрочно выпущенный из лагеря по болезни шпион, террорист и заговорщик. Преступник, лишённый гражданских прав и не имеющий разрешения проживать в Москве. Я это понимал. Понимал, что Зяма и Лина ради меня нарушают строгий закон о прописке. Рискуют. И очень.

Однажды вечером Зяма усадил меня в такси. Мы помчались по широким улицам Садового кольца в струе красных огоньков, убежавших впереди нас. Я сидел, не веря глазам. Это не была радость, скорее я ощущал недоумение. Я – в Москве? Гм... Я трогал руками грудь – там, завёрнутый в газету, лежал лагерный документ. Я уже нарушаю закон...

Мы пили пиво и ели раков. Несколько глотков вызвали неестественное опьянение и боль в левом темени. Я старался поддерживать весёлый разговор и думал, что будет хорошо, если меня не хватит третий удар: свалиться у чужих людей было бы ужасно...

Дней через десять Зяма утром со скукой в голосе сказал в пространство:

– Задерживается что-то Анна Михайловна.

Я опустил голову. Я не знал, что Анечка перевела 6000 рублей на моё содержание до её приезда.

Потом пришло письмо от Анечки: её не отпускают с работы. В следующем письме сообщение: отпустили – сдаёт

дела. Прошёл мучительный месяц. Наконец телеграмма: «Еду».

Встречали Зяма и я. Тон у Зямы был вежливый, покровительственный, холодный. Я молчал: мне дали в руки маленький чемоданчик, и я боялся уронить или где-нибудь забыть его. Мне хотелось быть, как все. Я старался не качаться и делать нормальные шаги. Анечку не заметил. Может быть, ещё из-за головокружения. Думал о чемоданчике, о том, что надо казаться таким, как все.

Ночью Лина и Зяма уснули, а Анечка почти до утра что-то шептала мне в ухо. Она считала меня прежним и не догадывалась, что я не могу её понимать. Мне было приятно, что пока что она обманывалась.

Но правда постепенно выяснялась. Я молчал: ведь я честно надиктовал письмо из Омска: я – калека, не способный к жизни паралитик. Пусть решает сама. Но я уже потерял заготовленное мне место в омском приюте...

Со следующего дня Анечка начала искать работу. Предложения сыпались со всех сторон: опытный инженер нужен всюду. Но когда дело доходило до биографии и выяснялось, что она не одна и на её полном иждивении находится досрочно освобождённый из лагерей шпион и террорист, то энтузиазм работников отдела кадров внезапно сменялся вежливой холодностью и кончался просьбой навестить позднее, когда-нибудь, в неопределённом будущем.

– Я дам вам рекомендательное письмо в Барнаул, – убеждал Зяма. – Там у меня брат. Он устроит. Поезжайте вдвоём и поскорее!

Круг замыкался, выхода не было. Кончались сбережения. Советы Зямы и Лины становились всё настойчивей. Настала зима. Анечка купила мне прекрасное тёплое пальто с меховым воротником, шапку и галоши. У меня уже отросла борода, и, пока молчал, я выглядел очень внушительно. В отчаянии Анечка однажды взяла меня за руку и повела на Лубянку. К начальнику Сануправления ГУЛАГа.

Им оказался старый знакомый по Суслово, бывший начальник САНУ Сиблага майор, а теперь полковник Устинченко, а его секретарем – Анечка Семичастная, наша суловская начальница.

Это было грустное свидание.

– Помогите нам стать на ноги, – умоляюще повторяла Анечка. – Нам надо строить новую жизнь!

Я молчал: от волнения очень кружилась голова. Устинченко и Семичастная внимательно на меня посматривали.

– Стать на ноги... Строить новую жизнь... – задумчиво повторял Устинченко, опустив глаза и играя листком бумаги и карандашом. – Да... Да...

– Мы согласны уехать! Хоть на Новую Землю!

– Да... Да... – как бы про себя шептал Устинченко.

Нам отказали.

Каждое утро и вечер я водил в сад на часовую прогулку трёхлетнюю Леночку, дочь Лины. Однажды вернулся и застал Анечку смертельно бледной. Губы её дрожали.

– Что случилось?

– Ничего... Голова болит... Нам надо уезжать во что бы то ни стало.

Десять лет спустя Анечка рассказала, что в тот день Лина устроила ей сцену. Кричала, что мать ищет работу вместо того, чтобы готовить обед, стирать и ухаживать за внуками. И в порыве гнева назвала мать **старой сукой**...

В декабре пятьдесят четвёртого года морозным ветреным утром мы погрузились на заваленный ящиками и снегом грузовик, предоставленный Анечке директором металлургического завода в селе Истье под Рязанью. Анечка поступила туда начальником литейного цеха, хотя не была специалистом-литейщиком. В милиции мне дали временный паспорт.

Заснеженные поля. Водитель где-то останавливал машину, рабочие что-то выгружали и загружали. Проехали Коломну. Опять пустынные белые поля. Но мне было всё равно: я видел только Анечку. Какое мне было дело до всего другого? Я чувствовал острое желание держать её за руку или хотя бы сзади за полу шубки: лишь бы не потеряться, лишь бы не потеряться...

Само собой, что директор наврал и никакого помещения к нашему приезду приготовлено не было. В нижнем этаже большого старинного рабочего барака отвели узкую полутёмную комнатку с низким окном и погребом под полом. Комендантша, которой Анечка за это вскоре сшила платье, поставила железную кровать, стол, табурет и шкаф. Печка была в исправности. На дровяном складе отмерили положенное число кубометров.

Началась новая жизнь. На двери огромными буквами было вырезано похабное слово из трёх букв и даже с восклица-

тельным знаком. Утром Анечка сделала из муки клейстер и заклеила газетой это радушное приветствие от предыдущих жильцов. Ушла, а через час рабочие привезли возок картошки и ссыпали под пол. Уборщица литейного цеха, умственно неполноценная женщина, принесла молоко и обещала носить через день вечером. Анечка прибила на стене зеркало, а возле него картинку в красках – «Март» Левитана. Стало веселее. Из листа бумаги она сшила абажур на лампочку. Где-то купила метлу и веник и чисто-начисто вымыла комнату. Я получил в руки ведро и отправился за водой на площадь – там был колодец.

Когда я кое-как налил воду из колодезного ведра в своё и поднял его, то кровь от мышечного напряжения так ударила в голову, что я в страхе поставил ведро и ухватился за деревянный сруб колодца. Я знал, что мне нельзя поднимать тяжести. Но сесть было негде и вода нужна Анечке – первое ведро тёплой воды дала соседка. Потоптавшись в нерешительности, я потащил ведро, едва не упал без сознания, но донёс благополучно. Затем сосед принёс пилу и указал на дровяной сарай. Я пошёл за дровами. Обледенелые и заснеженные брёвна были двухметровые и казались очень тяжёлыми, я едва притащил два, но это было только начало – нужно ещё их распилить.

Я до сих пор вспоминаю пилку дров в Истье. Анечка в молодости перенесла ревматизм, после которого у неё развился порок сердца. Пилить дрова она не могла. Я физически силён, но мышечное напряжение вызывало бурное перемещение крови и такое сердцебиение и головокружение, что пилить дрова я тоже не мог. И всё же мы оба каждый день распиливали три толстых обледенелых брёвна на четыре части. Я пилил, как в багровом тумане, сквозь который видел смертельно побледневшее лицо Анечки и слышал мягкий шелест и звяканье её колье и серёг: чтобы взять реванш у жизни за три ареста и два срока, она носила много безделушек и даже спала в них. И пилила мёрзлые брёвна. Потом Анечка бросалась убирать комнату, а я начинал колотить пиленные чурки и таскать полена к печке, щипать лучинки и разжигать пламя.

Плохо было то, что головокружение являлось лишь скрытым признаком нарушения кровообращения в мозгу, а явным его признаком была неспособность думать и говорить: в состоянии физической усталости или возбуждения мышление нарушалось, и речь моя делалась неясной и путанной.

– Как зовут вашу хозяйку? – спросили меня в милиции, куда я пошёл прописываться.

– Марья Петровна, – подумав, ответил я: вопрос поставил меня в тупик.

Милиционер заглянул в паспорт Анечки. Кашлянул. Посмотрел на меня исподлобья.

– Давно женаты?

– Лет пятнадцать.

Милиционер почесал за ухом, вздохнул и покачал головой.

Потом Анечка принесла с завода белую масляную краску и растолковала мне, что я должен выкрасить окно, мебель и дверь. Я выкрасил подоконник и низ рамы, залез ногами на только что окрашенное, поскользнулся и едва не упал. Выкрасил верх, но когда решил спуститься, то почувствовал, что не могу смотреть вниз, в пропасть, и не могу определить её глубину. Долго стоял я так в отчаянии, не понимая, до чего стал похож на своих барачных больных сорок второго года: ведь малокровие мозга, чем бы оно ни обуславливалось, всегда вызывает одинаковые нарушения поведения.

Жизнь заставляла Анечку поручать мне приготовление обеда. Я путал соль и сахар, не мог определить количества, не замечал времени. Если рай существует, то моя героическая подруга будет принята там с почестями: ведь она ела мои обеды!

Ей приходилось работать очень много: тут сказывались неразбериха, простой и штурмовщина на заводе, низкая квалификация рабочих и своеволие дирекции, заставлявшей помимо плана выполнять ещё внеплановые задания **налево** – такие комбинации начальства не давали цеху возможности выдерживать рабочий ритм. Сказывалось это на отдыхе и спокойствии Анечки. И, наконец, самое главное: плохо жить на заводе в казённой квартире – это похоже на существование доктора в кабинете дежурного врача: раз ответственный специалист под рукой, то всякий бежит к нему, когда надо и не надо, лишь бы не думать самому и не брать на себя ответственность. Анечка не жаловалась, но стала сдавать – осунулась и ослабела. Для неё это было повторение лагерной жизни. Днём она не имела времени забежать к обеду, а ночью её будили, требовали указаний и вызывали в цех; частенько я оставался среди ночи один и бездумно лежал и смотрел в потолок. Засыпал только тогда, когда Анечка возвращалась.

До ареста я практически не жил в Советском Союзе и вообще никогда не работал на наших заводах. Теперь волей-неволей, в меру растущей способности мыслить, вынужден был с близкого расстояния наблюдать советскую жизнь и, в частности, условия работы на производстве, тем более что завод и колхоз были рядом; мы жили при заводе и бок о бок с колхозным правлением.

За год жизни в Истье я сделал примечательные наблюдения.

Прежде всего, о рабочих кадрах. До революции в российском сословном государстве крестьянину и рабочему было трудно перескочить все перегородки, преграждавшие дорогу к образованию: в одно учебное заведение принимали только дворян, в другое – только русских, в третье – только православных и так далее, и во всё вместе – только состоятельных, могущих платить за обучение. Поэтому множество даровитых, умных, хороших и честных людей оставалось внизу общественной лестницы и занималось физическим трудом.

Советская власть всё изменила – сословные, религиозные, национальные, имущественные и другие преграды были разрушены, а плату за обучение не только отменили, но даже ввели стипендии – свободный советский человек теперь может учиться чему и где угодно, да ещё на вечерних отделениях вузов и с помощью государства! Благодаря этому образовался фильтр: всё хорошее и способное поднялось вверх, а внизу остались отцеженные социальные отбросы – лентяи, безвольные тупицы и пьяницы. Они-то и составляли рабочие кадры на производстве.

Судя по лихорадочной суматохе, можно было подумать, что на заводе творятся чудеса. Но чудес не было. Основой всей работы был план, составляемый с учётом вероятных задержек в поставке сырья, срывов подачи электроэнергии, малой подготовленности кадров и загрузки внеплановой работой. При всех этих неблагоприятных условиях план с трудом, но выполнялся: первую неделю работали в счёт плана, якобы уже выполненного за предшествующий месяц, потом шли простои и ремонты, препирательства и увязывание всяческих неувязок, а примерно с двадцатого числа начинался штурм – бешеное накручивание производственных показателей, зачастую за счёт призывов к патриотическому самопожертвованию, и принуждение к неоплачиваемому сверхурочному труду.

28-го числа каждого месяца давалась сухая сводка в Москву о выполнении плана (она нужна для своевременной победной реляции министерства), 29-го – восторженная телеграмма в ЦК о досрочном выполнении плана на 104–105% (необходимых для получения премии), а затем первую неделю следующего месяца завод действительно добывал план. Тем временем руководство выписывало себе и рабочим зарплату и премиальные, исходя из общего для страны принципа, что «людей надо кормить».

Меня поражала такая иждивенческая точка зрения, но она была общепринятой и считалась **завоеванием революции**. О том, что каждый человек должен сам кормить себя своим трудом и что труд этот должен быть **выгодным** заводу и обществу и оплачиваться в полной мере, говорить не полагалось: такие мысли считались несоветскими.

Об экономической эффективности молчали, критерием успехов был **вал**. Перевод отдельных категорий рабочих на сдельную оплату отнюдь не исправлял положения, потому что из-за нерегулярной подачи сырья и срывов в снабжении рабочие часто сидели без дела по вине администрации, и эта последняя поэтому оплачивала заведомо ложные наряды за никогда не выполнявшуюся работу для того, чтобы в конце месяца заработок не опускался ниже положенного.

Эта отсталая система практиковалась от Калининграда до Камчатки и развращала и тех, кто приучался писать и оплачивать фальшивые документы, и тех, кто привык получать деньги за безделье. Рабочего за плохую работу не выгоняли с завода; пьянство и нарушения дисциплины процветали, бракодельство не наказывалось ничем, кроме слюнявой болтовни. В целом это была система экстенсивного труда, обеспечивающая партии и правительству показное отсутствие безработицы и бумажное выполнение планов, а населению – серое существование впроголодь. Такая производственная система могла существовать очень долго, покрываемая превышением рыночного спроса над предложением, низкой зарплатой, дотациями государства (то есть скрытыми налогами с населения) и отсутствием конкуренции с капиталистическим миром рационального и интенсивного, высокооплачиваемого труда.

Производственный ритм нарушали острые организационные схватки между руководителями цехов из-за необходимости параллельно с планом выполнять негласную сверхплановую работу по телефонному звонку из обкома, по до-

говоренности с соседними заводами в порядке разного рода неизбежных в этих условиях нелегальных комбинаций и по требованиям наглой председательницы колхоза, которая своими незаконными поставками дарового продовольствия начальству также держала за горло руководство завода, как это последнее держало за горло и её своими незаконными поставками рабсилы на поля.

Директор не зря проговорился, что если бы заставить советских хозяйственников с утра вести дело точно по закону, то к вечеру всех их, от Калининграда до Камчатки, нужно было бы посадить в тюрьму за нарушения, ибо без комбинаций такая экономическая система существовать не могла. Излишняя масса людей, затрачивая излишние материальные ценности и грандиозное количество излишнего времени и энергии, сводила концы с концами, и дело во всеобщем масштабе шло и давало зримый и бесспорный эффект. Из заводских ворот каждый день вытекал ручеек готовой продукции и сливался с ручейками всех советских заводов в одно бескрайнее море, которое в столько-то раз превышало продукцию 1913 года и в столько-то раз – 1946 года.

Многим позднее я поселился в большом московском доме бок о бок с рабочими другого типа – трезвыми, хорошо одетыми, культурными, хорошо зарабатывающими. Это и не могло быть иначе – современная промышленность оснащена сложными машинами и выпускает сложную продукцию, и без высокообразованных рабочих она существовать не может. Моими соседями были станочники высших разрядов и лекальщики. На завод их привели ранняя женитьба и появление ребёнка. Эти люди вначале хотели учиться на вечерних факультетах, а потом жизнь засосала, они махнули рукой на учебу и не очень жалели об этом, потому что зарабатывали не меньше рядового инженера. Безвольные пьяницы и лентяи – это не **все** советские рабочие, я этого не хотел сказать, это лишь значительная и чуждая прослойка среди основной массы рабочих.

Расист, прочтя эти строки, охотно сочтёт их за доказательство национальной неспособности народов СССР упорно, продуктивно и много работать. Пустяки! Не наша ли страна первой вывела на околоземную орбиту спутник? Не она ли держит первенство в завоевании космоса и год за годом строит всё более сложные космические корабли и приборы для их запуска и вождения с Земли? Нет, я горжусь тем, что я русский, и считаю советских людей самыми способными

работягами на земле. Выход некоторых направлений нашей науки и техники на самую передовую линию объясняется просто: изменив обычному у нас принципу болтовни и принуждения, там ввели личную заинтересованность учёного, инженера и рабочего! И всё пошло, двинулось, полетело вперёд. Но это измена социализму, и дальше военного дела и военной промышленности наши руководители не пошли. Столетие за столетием наша страна растрачивала силы непродуктивно, и вина в этом ложится только на руководство. С татар и царей взять нечего, а вот к Сталину и Хрущёву счёт предъявить можно и нужно.

Наша жизнь твёрдо ориентированна на антинаучную организацию труда, на анти-НОТ, как незыблемое основание советского общества.

А кто в этом виноват, как не наши проповедники, болтуны и хвастуны?

Пока же скудный количественный эффект на все лады превозносился в печати, никто не смел прикинуть с карандашом в руках, во что обходились достигнутые результаты – никто и нигде не смел заикнуться о настоящей себестоимости выпущенной за заводские ворота продукции. А между тем со стороны создавалось впечатление, что в общегосударственном масштабе примерно половина общенародных усилий затрачивалась впустую, или, другими словами, при той же затрате средств и сил продукции должно быть вдвое большей. Время работает против этой расточительной и отсталой системы, но правительство пока не понимает этого. Газеты захлебывались от трескотни по поводу воображаемых хозяйственных побед.

На заводе и во всей стране люди, как во время войны, опять приучались жить сегодняшним днём. Начинались бурные и бестолковые хрущёвские годы...

Но ещё хуже дело обстояло в сельском хозяйстве.

Хрущёвщина – это время непродуманной ломки производственного аппарата страны ради самой ломки и ничем не оправданных перестроек: вопреки басне Крылова и учебнику арифметики Никита Сергеевич был уверен, что от частого перемещения слагаемых сумма увеличивается. Особенно бесчинствовал новый вождь в сельском производстве: он воображал себя крупным хозяйственником вообще и знатоком деревни в особенности. Сумасбродные распоряжения сыпались на головы колхозников дождём, одно мешало другому, каждое казалось нелепее предыдущего, и все они

послушно, рабски, без критики, в очевидный вред делу выполнялись крестьянами под нажимом бесчисленных подгонял из райкомов и обкомов. Всякая разумная инициатива беспощадно подавлялась, в тупом отчаянии люди на всё махнули рукой. В Истье, большом селе, центре орденосного колхоза, есть было нечего.

Здесь уместно сделать ещё одно небольшое отступление. К следующему лету я заметно поздоровел и обрёл некоторую способность мыслить. Меня вызвали в Рязань на ВТЭК для перекомиссовки. Был разгар уборочной кампании. На телеге мы мягко катились по проселочным дорогам, щедро покрытыми свежим зерном, сыпавшимся с телег и грузовиков в щели между досками. Кое-где пшеницы было так много, что дорога казалась золотой, и я видел свиной, шедших по этим золотым полосам и чавкавших потерянный хлеб. Качество покоса было плохое, огрехи велики, количество вышедшей из строя техники бросалось в глаза. В рязанской больнице нас заставили ждать на дворе почти половину дня, потому что в это время производилась вторичная **добровольная** подписка на заём: все служащие уже раз подписались в обязательном месячном размере зарплаты, но потом горьком распорядился взыскать деньги второй раз, якобы потому, что общая цифра разверстки городом не выполнена. Врачей и весь персонал попросту запёрли в здании больницы до тех пор, пока они не подпишутся во второй раз.

Пока сознание своего бессилия и голод доводили запёртый медицинский персонал до нужной степени патриотической сознательности, мы лежали в тени на соломе, и я с интересом слушал рассказ истинского крестьянина.

Суть рассказа сводилась к следующему.

Неквалифицированный рабочий на заводе зарабатывает в месяц 700 рублей. Колхозник в год получает от колхоза продуктами в переводе на деньги тоже около 700 рублей (в те годы, если колхоз выплачивал за трудодень 3 килограмма зерна, то о нём передавали по радио). Этого хватало колхознику, как и рабочему, на месяц полуголодного существования. Однако рабочему эта сумма денег была обеспечена 12 раз в год, а колхозник на следующий месяц должен её где-то выискывать. Ещё месяцев пять он питался со своего индивидуального хозяйства. Получается 6 месяцев. Но для второй половины года денег или продуктов достать было негде, и, чтобы не умереть с голоду, колхозник должен во-

ровать в колхозе. Воруют все и всё, каждый тащит из колхоза домой, что может – семена, продукты, инструмент, всё подвернувшееся под руку – палку, гвоздь, проволоку, доску, кусок брезента, корзину. Начальство это знает, но терпит: во-первых, **людей надо кормить**, во-вторых, каждый начальник ворует втрое или вдесятеро больше рядового колхозника. Нормально жить в колхозе нельзя, и колхозы существуют только потому, что крестьяне прикреплены к земле, как крепостные, – у них нет паспорта и без разрешения председателя колхозник не может отлучиться из деревни.

В отличие от крепостных прошлого века дети колхозников до совершеннолетия и вступления в колхозы считались вольными, и потому молодёжь старалась вовремя сбежать из деревни. Это далеко не просто, потому что люди в деревне нищие и свободных денег у них нет, а отъезд требует немалой суммы, да и неизвестно, куда ехать: до наступления работоспособного возраста работу подростку никто не даст, ведь он и не имеет квалификации. Чем сбежавший селянин заплатит в городе за квартиру и питание в ожидании работы? Девушкам сбежать очень трудно, а юноши бегут удачнее, а именно через военную службу: уходят в армию и не возвращаются или возвращаются в деревню, чтобы жить у родителей, но работать, где угодно, лишь бы не в колхозе – на заводе, на железной дороге, в милиции и т.д.

Вспоминаю характерные мелочи.

На картофельном поле всегда на глаз можно было определить, какая полоса колхозная и какая единоличная, то есть частная, по одному виду кустиков: если они чахлые, мелкие и заросли сорняком – значит полоса колхозная, а если бодро стоят ровными рядами и без сорняков – значит тут идут крестьянские сотки. Гнетущее впечатление производила кукуруза, насильно внедряемая местным начальством по приказу самого «Кукурузника»: то ли она не подходила почве и климату Рязанщины, то ли низкие, редкие и повалившиеся набок кусты выражали собой молчаливый протест колхозных работников – не знаю!

Ещё примечательным для того времени был вид комнаты, где производилась **добровольная** подписка на заем. Крестьяне стояли гуськом, молча подходили к столу счетовода и расписывались в двух книгах – в одной за якобы полученные от колхоза деньги, в другой – за внесение этих денег в счёт займа. Потом газеты эту сумму объявляли полученной колхозниками вместе с зерном и картофелем, она

служила показателем колхозного процветания, но, по существу, являлась незаконным налогом с артели.

Истинский колхоз был далеко не худшим в области, скорее наоборот. Там властвовала толстая красномордая баба с орденами на груди. Из неё можно было бы выкроить трёх или четырёх рядовых колхозниц – сутулых, поджарых, чернотлицых. Техника выполнения ею плана была проста: руководство завода предоставляло рабсилу на время пахоты, сева, прополки, косовицы и уборки, и этим обеспечивало председателю орден и командный пост, а она, со своей стороны, щедро расплачивалась за услуги колхозным добром – мясом, молоком, птицей и фуражом. Обе стороны давали чужое (государственное) добро, а получали в обмен добро себе лично. Здесь по принципу «рука руку моет» была отлажена машина, которая пока что работала без отказа, тем более что через орденосную комбинаторшу снабжалось начальство в районе и области. Я сам вместе с Анечкой и бригадирами заводских рабочих ходил на поля и наблюдал гладкую работу этой машины.

Итак, в деревне купить что-нибудь съестное было трудно. Зимой кое-где иногда мне продавали пару солёных огурцов или миску квашеной капусты, очень редко кусок курицы, пару яиц или кусочек сала. Хлеб продавался в одном ларьке, перед которым с ночи к восьми часам утра выстраивалась очередь в несколько сот рабочих и колхозников. Весной, летом и осенью рабочие прямо от станка шли в очередь, ложились на площади рядами и дремали на земле до утра, часто под дождём. Ругательств не было слышно. Все молчали или демонстративно охали: время падения престижа Никиты и его режима ещё не наступило.

Поэтому Анечка вынуждена была ездить в Москву за покупками. Укутавшись потеплее, маленькая, разбухшая от зимней одежды, она одевала на спину рюкзак, а в руки брала корзины или мешки. Опасными и трудными были возвращения: станция находилась километрах в пяти, и поезд приходил, когда уже стемнело. По сугробам и снежным заносам плелось в темноте это обвешанное тяжестями маленькое существо. Один раз окрик случайного прохожего спас Анечку от смерти: в темноте она забрела на лёд около водяной мельницы.

Ограблений не случалось – плоды хрущёвской **гуманности** не успели сказаться, и морального разложения, вызванного разоблачениями сталинщины, тоже заметно не было.

Анечка сначала отогревалась у печки, а потом начинала вынимать запасы – сырокопчёный окорок, килограммовые пакеты сахара, крупы, жиров, чай, белый хлеб. В конце следовали подарки. Я до сих пор с нежностью смотрю на красивую чашку и блюдце с голубыми лепестками и золотым ободком, которые Анечка принесла на спине для того, чтобы украсить наш быт и заставить меня забыть о лагере. Впервые после 1938 года я стал пить чай не из казённого сального и ржавого котелка, а из собственной фарфоровой чашки.

В изумительно тёплый весенний день Анечка подарила мне соломенную шляпу и холщовые туфли на резиновой подошве. Подарила и ушла на работу. А я долго сидел на траве, вытянув ноги и положив на колени шляпу: одним взглядом я обзирал все эти драгоценности, а солнце согревало меня, и я чувствовал, как ко мне возвращается здоровье, – сидел без шляпы на солнце и не чувствовал головкружения!

Помню день, когда Анечка стояла на крыльце барака, а я набрал два полных ведра воды и бегом понёс их с горы от колодца, да так, что не расплескал ни капли! Я научился, как заправский повар, варить хороший борщ и тушить свинину с картофелем. Наша жизнь налаживалась.

Еще позднее появились цветы... Поздно вечером в сиреновой мгле под большой оранжевой луной мы бродили по полям, слушали соловьиные трели и собирали охапки цветов. Анечка отбирала лучшие, засушивала их так, что эти сухие букеты, заткнутые за зеркало, еще больше украсили нашу комнатку. А я расхрабрился и нарисовал силуэты танцовщиц на абажуре! Комната стала приобретать миленький вид. Осенью Анечка загадала: «если сейчас найду большой гриб, то тебя реабилитируют!» Загадала и нашла чудовищный гриб со шляпкой, величиной с тарелку! Мы очень радовались. При каждой поездке в Москву Анечка ходила в прокуратуру, чтобы проталкивать моё дело. Отбивалась от Лины и стояла в очереди часами. Встретила многих старых знакомых, в том числе Бориса Владимировича Майстраха, Соню Ганецкую и других. Но всегда получала от прокуроров один и тот же ответ:

– Дело разбирается. Ждите.

Мы надеялись и ждали.

По приезде в Истье Анечка не стала сразу распаковывать все вещи – в комнате было слишком грязно, сыро и

холодно. Но постепенно мы её обжили. Сначала она стала просто чистой, потом нарядно, подчёркнуто чистой, а затем по-настоящему приятной – сухой, тёплой, с незаметными, но всё же бесспорными признаками уюта: там голубая чашка, здесь пучок ярких сухих цветов, налево – маленький немецкий коврик с трёхногим верблюдом и кривым арабом. Печурка всегда была побелена, посуда – начищена до блеска, на полке и в шкафу виднелись предметы, показывающие зажиточность советского специалиста – хлеб, ветчина, крупа, макароны, сахар. И над всем этим – самодельная лампа, она была нашим общим произведением и гордостью.

Постепенно Анечка распаковала чемоданы, и женские мелкие пестрые вещицы – коробочки и скляночки – ещё более оживили общий вид комнаты, она превратилась в гнездышко, и мы её очень полюбили.

Со дна чемодана Анечка вынула пачку почтовых квитанций на переводы денег: 500... 1000... 800... 1500...

– Что это, Анечка?

– Деньги, которые Лине удалось выжать из меня. А вот и её письма: «Голодаю, не работаю». «Беременна». «Пришли на аборт». «Лежу в больнице». Видишь? Так она не давала мне стать на ноги после лагеря. Мне надо бы отдохнуть, одеться, а она висела на шее и требовала всё новых и новых переводов...

– И что же ты думаешь делать с этими квитанциями?

– Теперь я не одна, – сказала Анечка и порвала всё на мелкие кусочки. – Двое – это много, правда?

В начале пятьдесят пятого года я решил собрать документы, которые позже помогли бы мне поступить на работу. Я написал заявление на имя министра государственной безопасности с объяснением, что окончил медицинский факультет Цюрихского университета под чужой фамилией, находясь на работе в ИНО, и после возвращения в Москву сдал диплом вместе с паспортом. Я просил выдать справку, что диплом врача у меня был якобы отобран на нашей границе в 1936 году и утерян, что министр МГБ СССР и подтверждает для сведения советских медицинских учреждений. Мне в этом было отказано.

Справку об окончании юридического факультета в Праге я мог бы получить, но в советских условиях такая справка мне помочь не могла бы, так как содержание и направленность буржуазного и советского права слишком различны.

Однако жить чем-нибудь после выздоровления было надо, и я написал в лагеря, где работал в медсанчастях. Норильск и Сиблаг не ответили – там лагеря подверглись такой реорганизации, что архивов не оказалось, и свести концы с концами не удалось. Зато спецлагеря отозвались и быстро прислали необходимые справки: капитан медслужбы Фролина подтвердила, что с сентября 1951 по март 1952 я работал в Тайшете (почтовый ящик № 410/6) в качестве стационарного и амбулаторного врача и врача-прозектора, капитан медслужбы Райх удостоверила мою работу в больнице Новочунки (почтовый ящик № 120/2) с 1 января 1953 по октябрь 1953, и капитан медслужбы Козлова заверила, что с октября 1953 по февраль 1954 я работал амбулаторным врачом в Омске (почтовый ящик № 125). Пропало только время работы на тяжелейшем лагпункте 07, где начальник, милейшая медсестра Елдакова, перевелась в другое место. Время от 18 февраля 1954 года до выхода на свободу 20 октября того же года не вошло в стаж потому, что эти месяцы я лежал в больнице после второго паралича. Ради интереса привожу одну из таких справок:

МВД СССР
Почтовый ящик
N 8П-120/2
2 июня 1955 года
№ 51/12-155

Характеристика

Дана настоящая гражданину Быстролётову Дмитрию Александровичу, 1901 года рождения, уроженцу Крымской области, в том, что он, отбывая наказание, действительно работал с января 1953 года в качестве санитарного врача, врача амбулатории и врача-прозектора в больнице п/я ВП 120/2. На работе показал себя как дисциплинированный, эрудированный, добросовестный и исполнительный работник. Замечаний и взысканий не имел. Постоянно работал над повышением своих квалификаций. Характеристика выдана для предъявления по месту работы.

Нач. медчасти п/я ВП 120/2.
1 июня 1955 г. Райх.

Круглая печать: МВД СССР п/я № 120/2

Эти справки так мне и не понадобились: место в жизни мне обеспечили знания. А справки я бережно храню, и каждая из них, когда иногда беру её в руки, вызывает бесконечную вереницу воспоминаний. Сначала они казались только тяжёлыми и чёрными, потом прошлое стало уходить вдаль, погружаться в забвение, но не всё целиком, а только все наиболее мучительное. Всё светлое – а его было немало! – живо, оно остаётся со мной до смерти.

Таков уж человек! Что пройдёт, то будет мило... И я, повертев в руках, снова аккуратно укладываю эти справки в большой конверт и чувствую, что на губах у меня теплится улыбка...

Между тем положение на заводе становилось всё более и более напряжённым. Начальником цеха мог быть только безусловно **свой** человек, член партии, входящий в семьи начальства, живущий одной с ними жизнью, одними интересами, знающий все закулисные махинации и обязательно сам участвующий в них. Вся головка завода жила в Истье осёдло, то есть благодаря председательнице колхоза имела коров, свиней, кур, делала на год заготовки мяса, сала, грибов, солений; дома начальники вместе играли в карты и пьянствовали, на заводе вместе матерились и **вправляли** мозги рабочим.

Анечка оказалась чужой беспартийной женщиной, которая, однако, всё больше и больше неизбежно узнавала секреты производственных комбинаций и семейных гешефтов, однако же сама в них не участвовала. Это ставило её в независимое положение опасного свидетеля. Она стала мешать начальству спокойно жить.

Мастер литейного цеха, член партии, бывший матрос, привык при получении зарплаты выжимать у рабочих калым; а тут он натолкнулся на сопротивление, и перед Анечкой встал вопрос о дальнейшем: сознательно разрешить мастеру обирать рабочих или начать с ним борьбу? Случилось так, что директор предложил ей или осесть, то есть получить хорошую квартиру, завести собственный скот и войти в общую семейную жизнь, или... И Анечка выбрала последнее. В холодный осенний вечер мы погрузились на заводскую машину и вернулись в Москву.

Наш приезд у Лины и Зямы не вызвал радости. Сбережений на этот раз у Анечки не было, и содержать меня не работая она не могла. Я висел у неё на шее как жернов, и

отчаянные поиски места работы всегда оканчивались отказом. В зимний день я был отправлен в Александров, на 101-й километр от Москвы, – туда, где жили бывшие контрики в ожидании реабилитации, а Анечке за 150 рублей в месяц была предоставлена комната у Клары, матери Зямы, – в этой комнате Зяма был прописан, но переведен Линой к себе, чтобы заполнить норму жилой площади ко времени моего приезда из Сибири.

Наступила зима с необычными для этих мест морозами, температура не раз падала ниже –40 градусов. Я без труда нашёл место для ночлега – хозяева здесь жили с **лишенцев**, я лёг на кровать, где до меня лежали четыре бывших лагерника. Хозяин сказал:

– Место счастливое – все четверо по очереди освободились. И у меня долго не полежите – через годок будете дома, в Москве!

За койку я платил 100 рублей в месяц. Рядом со мной спали взрослый сын хозяина-вдовца, его жена и их дочь – школьница; старик ночевал на кухне, у печки.

Уложив вещи под кровать, я отправился осматривать город. Нашёл булочную и молочную, а перед вокзалом – столовую. Справился о ценах. При самой жесткой экономии – утром дома сладкий чай и два ломтика колбасы с серым хлебом, днём в столовой суп и второе, вечером дома бутылка молока с хлебом и раз в неделю баня и стирка белья, жизнь не укладывалась меньше чем в 50–60 рублей. Анечка дала 200 рублей. Она сама получала 800 без вычетов в профсоюз и прочее, питаться должна была нормально, потому что получила вредную, тяжёлую и хлопотную работу – мастера гальванического цеха на Московском радиозаводе, за вредность (работу у кислотных ванн) там давали пол-литра молока в день. Хорошо ещё, что Зяма за плату устроил её у своей матери в собственной комнате – жить у чужих более неприятно, чем у **своих**. Всё устроилось кое-как, но совершенно очевидно, что лишь на короткое время: 500 рублей в месяц – это ниже прожиточного минимума московского инженера.

Когда-то город Александров был, вероятно, чистым и уютным. Теперь выглядел заброшенным. Александров – бывшая вотчина Александра Невского, его родовое гнездо, и назван он в честь победителя на Неве. Иван Грозный, спасаясь от боярских заговоров, заперся с опричниками в мес-

тном кремле и здесь процарствовал около 25 лет. Городок мог бы быть жемчужиной Подмосковья и большим туристическим центром. Но башни кремля покосились в разные стороны, стены не выдержали натяжения и лопнули, дворец снесли, в замечательных по архитектурному замыслу храмах устроились склады и местный кооператив; он же, видно для удобства хождения, просадил дыру в стене. Рвы и бастионы почти сравнялись с землей, речка, судя по рельефу берегов, некогда широкая, превратилась ныне в грязный ручей. От всего веяло запустением...

Я наметил себе маршруты ежедневных прогулок с возрастающей нагрузкой. «В Истье я окреп настолько, что мог бежать с двумя полными ведрами в руках и чувствовал лишь головокружение. Теперь надо взяться лечить голову, но с другого конца: я заставляю её работать, сначала понемногу, потом всё больше и больше. Время не ждёт, пора слезать с Анечкиной шеи!» – думал я, возвращаясь с прогулки. Адрес библиотеки установлен, и после обеда можно было начать.

Но прежде всего пришлось пойти в милицию и прописаться. Взглянув в паспорт, девушка вернула его со словами:

– Явитесь немедленно к начальнику городского управления государственной безопасности.

Это было естественно. Но когда я вошёл в дом, где был первый раз в жизни, то сразу увидел приметы, которые были так хорошо, нет, так убийственно знакомы, я почувствовал себя дурно. Начальник заставил сидеть в передней часа полтора, и в это время пронзительная боль в левом темени всё нарастала и нарастала.

– Чего я волнуюсь? – шептал я себе, сжимая голову обеими руками. – Всё это вполне нормально!

Это было нормально, но я был ненормальным и едва сидел, придавленный воспоминаниями. Прошое, нисколько не померкнув, повисло надо мною как ядовитый туман, и я впервые после выхода из Омского лагеря вдруг понял, что я не вырвусь из него никогда, что где бы я ни был и чем бы ни занимался, этот ядовитый туман будет всегда со мной до смерти.

– А разве это плохо? – шептал я себе. – Разве ты хотел бы забыть? А Шёлковая нить? А твои, вывезенные Анечкой, записки?

Я перевёл дух.

– Нет, всё хорошо. Я не Остренко и не Жолондзь: горжусь тем, что был сталинским контриком! Выше голову! Опущу-

сти руки! Ну!! Сядь ровнее, не горбись! Войди к начальнику, как тебе положено: твёрдо и уверенно!

Так убеждал я себя, но нервы делали своё, и я вошёл в кабинет, едва подавляя дрожь, хотя это не был ни страх, ни отвращение, ни злоба. Я оставался тяжело искалеченным человеком, вот и всё.

Войдя, остановился у двери, а через большую пустую комнату за столом у окна сидел плотный, рыжий, лысоватый мужчина и писал. Прошло пять минут. Десять. Пятнадцать.

– Ну? – вдруг рявкнул он, подняв голову. Зажёг яркую настольную лампу, направил свет от себя к двери, на меня, а сам расплылся в густой тени.

Я вытянулся, подхлестнутый светом.

– Документы! Так. Вижу. Больше нет? Так. Садитесь. Да не сюда, вон у двери стул стоит.

И начальник начал допрос. Выяснил личность, судебное дело. Где шпионил, для кого, сколько лет. Ход рассматривания дела у прокурора.

– Всё. Я позвоню в паспортный стол насчёт прописки. Можете здесь жить. Но... Контрреволюции не потерплю! Слышите? Если что заметим, то... Вы поняли? Пеняйте на себя! Идите!

Я вышел пошатываясь, как пьяный. Дома лёг на постель и лежал до ночи, окружённый вдруг поднявшимися из бездны милыми и ненавистными тенями прошлого. Вспомнил полковника Соловьёва и моё единоборство с ним... Моих сотоварищей по загонам, тех, к чьей груди я семнадцать лет был крепко-накрепко прижат ржавыми шипами колючей проволоки.

А потом было новое потрясение: я прочёл десять страниц научной книги об Африке. Я! Десять страниц!! Это были первые слова, которые я читал с того времени, как однажды утром ко мне вернулась способность понимать буквы, и в верхнем углу газеты вместо непонятных каракуль я вдруг прочёл слово «Правда». Голова закружилась так сильно и так затошнило, что я сидел на стуле с закрытыми глазами почти час, прежде чем дикие перебои сердца прекратились, оно заработало ровнее, и ноги смогли донести домой, до кровати.

Но я не хотел давать спуск мозгу и нервам – Анечка не могла долго тащить меня на себе; не могла, потому что последний год она опять сильно изменилась к худшему. Я оказался для неё слишком тяжёлой ношей. Она теперь не та

весёлая толстушка, какой я её увидел после приезда в Москву с Волго-Донского канала... Надо спешить!

И я спешил. Библиотекарь дала мне пачку старых газет, и я дома читал их – десять и сто раз, читал до одурения, приучая глаза и мозг к напряжению. После урока чтения начинался урок письма – я переписывал газету на другую газету или на обрывки обёрточной бумаги, которые приносил с завода сын хозяина. Буквы и строчки сначала выходили кривыми, потом стали послушнее подчиняться воле, я чувствовал, что тяжёлая боль, неизменно возникающая в конце каждого сеанса тренировки, идёт мне на пользу: я знал, что под давлением приливающей крови расширяются старые сосуды в мозгу и растут новые, восстанавливая достаточную ёмкость сосудистой сети. Это доказывалось сокращением времени для выполнения одного и того же упражнения, снижением количества ошибок и ослаблением боли.

Медленно, очень медленно, но мозг в Александрове так же привыкал к напряжению при умственной работе, как в Истье он постепенно привык к приливу крови от физической нагрузки.

Из животного я медленно превращался в человека.

Александров расположен во Владимирской области, но электричка так крепко привязывает его к Москве, что городок по праву должен считаться подмосковным.

– Володя к обеду принёс чёрного хлеба!

Это значит – купил в Александрове.

– Володя, надо бы в городе прихватить белого хлеба к чаю!

Это означает – привезти из Москвы, потому что город у местных жителей как будто пишется с большой буквы и означает столицу: как в Истье, здесь тоже почти всё необходимое подвозили на спине в мешках. В Александрове на полках расставлены только пачки овсяного кофе, водка, коптообразные ботинки и портреты вождей.

Каждую субботу после работы все семьи отправляют в Москву очередного ходока за покупками, каждую субботу к ночи хулиганье выходит на привокзальные улицы за добычей – отнимать авоськи и мешки. Промысел этот вполне безопасный: милиция к этому времени благоразумно отсюда исчезает. Городок много и напряжённо работает – здесь завод телевизоров, большое железнодорожное депо, несколько мастерских, завод искусственной кожи. В будние дни все торопливо бегут на работу. Но послушайте разгово-

ры дома (сын хозяина – член партии, мастер завода телевизоров, его жена работает на кирзовом заводе) или в столовке, и сразу узнаете знакомые по Истью дела, все пороки отсталой производственной системы видны из десятка случайных фраз. Конечно, и здесь все планы выполняются, премиальные выплачиваются и посылаются восторженные патристические рапорты в ЦК, люди тратят много усилий, но результаты и здесь не лучше, чем в Истье: напротив, в городских условиях экономическая бессмыслица выпирает вперед заметнее, чем в деревне.

О каждом явлении можно писать по-разному, и казённый очеркист мог бы и об александровских делах написать полную восторгов статью, снабжённую верными цифрами и красочными реальными фактами. Городок работал и давал продукцию. Но я вспоминаю Александров с другой точки зрения: мне хочется сказать несколько слов о быте александровских тружеников, о советском образе жизни, каким он представляется удивлённому наблюдателю, ещё не привыкшему ко всем мелочам и не потерявшему способности объединять замеченные мелочи в некую общую картину.

Это было серое существование, поражавшее своей неустроенностью: всего плохого, что я видел, могло бы и не быть, люди могли бы жить счастливее и спокойнее, если бы не отсутствовал один необходимый элемент всякой благоустроенной жизни – порядок.

Порядка не было в Александрове, так же как в Истье, в Москве и во всей стране.

Дико и позорно звучит признание: в лагерях больше организованности и порядка, чем на воле... Сколько раз я мысленно ставил Суслово Александрову в пример, сколько раз мысленно с возмущением повторял себе:

– А вот у нас этого не было и быть не могло!

У нас – это значит в лагере.

Плохо. Стыдно. Опасно.

Я понимал, что как сталинский режим истребления наиболее активных специалистов ослабляет страну и замедляет её продвижение вперёд, так и хрущёвский режим болтовни, хвастовства и непротивления злу становится препятствием к нормальному накоплению сил...

Как бывшего лагерника больше всего меня поразили количество уголовных преступлений, от мелкого хулиганства

до зверских убийств, и их безнаказанность или бережное отношение служителей порядка к разного рода малым и большим нарушителям. На этом фоне милиция производила впечатление парализованной или превратившейся в верную прислужницу беспорядка и сообщницу нарушений. Городок маленький, в нём все друг у друга на виду, и рассказы быстро приводят к выяснению смысла общей картины.

В очень морозное розовое утро я видел седую женщину, которая босая, в одной ночной рубаше, уже тронутой замерзанием, неслась по сугробам, а за ней с поленом в руках бежал парень в потёртой армейской форме. Бежавшая оказалась родственницей хозяина, и я познакомился с ней и с парнем, её сыном. Он вернулся из армии, не хотел работать и постоянно вышибал от содержащей его матери деньги на выпивку.

– А соседи?

– Да что соседи? Их это не касается. Вмешаются – сами получают поленом по хребту.

– Как это не касается?!

– Да так. Теперь все живут по пословице: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

– А милиция?

– А что ей? Милиция заберёт Ваську, подержит часок другой и отпустит: начальник говорит, что нет на Ваську закона. Если убьёт – тогда другое дело, тогда посадят. Он, Васька, не боится: теперь за убийство дают мало и досрочно освобождают. Ваську перевоспитывать надо.

Вечерами я видел одни и те же сцены перед городским клубом: шайки пьяного хулиганья врывались на лекции, постановки, киносеансы и танцы, сквернословили, оскорбляли женщин, били мужчин, мочились на стены, блевали. Их вели в милицию и немедленно отпускали. Хулиганы бежали из милиции обратно в клуб, чтобы не опоздать и успеть безобразничать снова до закрытия зала.

– В чём же дело?! – спрашивал я у молодого сына хозяина, мастера с телевизионного завода, члена партии. – Почему милиция отпускает хулиганов?!

– А при чём тут милиция? У нас не царский режим, милиция – не полиция. Хулигана надо воспитывать, разъяснять. Читали, что говорит Никита Сергеевич? Знакомы с партийными установками? Мы идём к коммунизму, и надо переделывать людей внушением. Нам всем жить при коммунизме!

Так я начал знакомиться с хрущёвщиной.

В столовке я слышал рассказы о последних событиях: к одному гражданину ночью позвонили, он открыл, совершенно незнакомый человек пырнул его ножом в живот, засмеялся и скрылся. Раненый умер.

– Убийцу нашли?

– Да нет, конечно. В городе полно бывших заключённых. Разве найдёшь среди такой шпаны?

– Так зачем же шпану выпускают?

– Как зачем? Из гуманности. Советского человека надо жалеть, за него надо бороться. У нас не фашизм.

– Да разве шпана – люди? Да ещё советские?

– Так не фашисты же! Надо перевоспитывать.

– А убитый? Он не советский человек?

– Советский. Да это другое дело.

– Как другое?

– Это при царе было, чтоб смерть за смерть. Теперь новая гуманная жизнь. Мы идём к коммунизму.

Школьники ножами зарезали в уличной уборной лейтенанта, спешившего по какому-то делу. Он был при оружии, и убили его для того, чтобы добыть пистолет.

– Загнать их в Сибирь, подальше! Как жалко молодого человека – говорят, единственный сын у матери-вдовы...

– Жалко, конечно. Но насчёт Сибири это вы уж слишком загнули: виновных четверо, так что же, всем четырём и страдать за одного? Ведь они – школьники, поймите, – дети! В государстве дети – главное богатство, не так ли? Уже одно слово – дети! Цветы жизни!

Дом, в котором я жил, был двухэтажный. В нижнем полуподвале жил старший сын: с женой и ребёнком. Тоже член партии, но не мастер, а рабочий. Младший считал себя обиженным, поскольку отец занимает кухню: поэтому его доля в площади была меньшей. Этот сын требовал от отца или передела, или перестройки дома так, чтобы отец имел свой выход, или выдачи обоим сыновьям документа на равноправное совладение недвижимостью. Старый отец отнекивался – мол, умру, будете иметь всё поровну.

Однажды вечером между отцом и младшим сыном начался очередной скандал. Жены и дочери не было. Сын свалил отца на пол и стал душить его. Я вскочил с постели, вбежал на кухню и отбил старика. И вовремя: он уже задышался, перестал биться и закатил глаза. Суд оправдал преступника, выразив надежду, что партийная организация завода возьмёт его на поруки и на перевоспитание. Я, высту-

пивший на суде с косноязычной, но громовой речью, оказался в дураках. Пришлось в тот же вечер переехать на другую квартиру.

– Что означает это страшное непротивление злу? Откуда эта новая напасть на народ? – спрашивал я себя. – Почему правосознание у нас качается, как маятник, от сталинских зверств к хрущёвскому непротивленчеству, минуя разумную середину?

Я получил отдельную комнату в уютном белом домике. Хозяйка, седая и краснощёкая вдова, энергичная, работающая и весёлая, незадолго до моего вселения выгнала своего старшего сына-генерала: он неожиданно приехал с женой и пытался отнять у матери дом и одновременно выселить младшего брата, бывшего матроса, женатого на очень хорошенькой молодой женщине, работавшей в ОТК телевизионного завода; за сходство с парижскими мидинетками я прозвал её «Мими».

– Так-таки и выгнала! – довольно восклицала дородная старуха, уперши руки в бока. – Вздумал кричать на брата, чтобы помнил, как надо рядовому разговаривать с генералом, а заодно начал приказывать и мне. А мы с матросиком после войны ремонтировали этот дом вдвоём и балки таскали на своих плечах, а наш генерал на все просьбы помочь тогда только отписывался: «Некогда, мамаша и братец, теперь я большой человек!» А я сгребла его фуражку и шинель и выбросила на тротуар за калитку! «Иди, мол, большой человек, ко всем чертям!»

– А он?

– Набрал споначала воздуха, стал расширяться в грудях и плечах, да его жена ему говорит: «Деточка, не забывай про партию!» Он воздух, конечно, выпустил, поднял вещи с земли и пошёл на станцию. Так-то!

Между прочим, до революции Александров считался слободой железнодорожников – машинистов, кочегаров и кондукторов: отсюда и эти старые, уютные белые домики, так похожие друг на друга. В каждом домике на стене обязательно висят фотографии папаша и мамаша в свадебном наряде: он – в чёрной тройке, при белом галстуке и перчатках, она – в белом платье с фатой. Лица у всех счастливые, простые, здоровые и очень наивные. Когда я искал квартиру, я всегда любовался этими снимками: теперь подобных лиц уже нет, куда девалась эта трогательная наивность?

Все эти специалисты были подготовлены на военной службе – старик, которого душил сын, был военным машинистом на Маньчжурской железной дороге, а муж старухи, у которой сын хотел отнять дом, служил машинистом на Черноморском флоте; у полуголой женщины, за которой с пленом гнался сын, в комнате красовались фотография крейсера «Алмаз» и портрет сухощавого машиниста 1-й статьи с лихо закрученными чёрными усами. Это был любопытный материал для социологического исследования, но мне было, разумеется, не до него.

Иногда я приезжал в Москву. При моём появлении порывистая Лина бросалась к холодильнику и гребла оттуда все наличные запасы – она была человеком эмоциональным: чувства её под влиянием момента не знали удержу.

Однажды приехала Анечка и привезла мне запас продуктов. Выглядела она плохо. И я решился на отчаянный шаг: на следующий день пошёл в среднюю школу, нашёл директора и попросил дать мне уроки иностранных языков – французского, немецкого и английского, любого: я очень нуждаюсь. Директор был одет по моде и надушен; на мизинцах у него были отращены ногти сантиметра в два длиной в виде лопаточек, и во время беседы он ловко выгребал ими грязь из-под других ногтей покороче.

– Видите ли, – сказал он мне очень вежливо, – вы просите невозможного: дети поручаются нам государством не только для обучения, но и для воспитания, – мы обучаем ум и воспитываем души, и отвечаем за них перед партией и народом. А вы ещё не реабилитированы. Какие у вас статьи?

Я назвал номера.

– Что это значит?

– Шпионаж, террор и заговор.

Директор, вежливо улыбаясь, развёл ногтями-лопаточками и склонил голову набок, как бы желая всем своим видом сказать: «Ну видите!».

Во мне клокотала ярость. Я уже давно не вспоминал полковника Соловьёва и практиканта Шукшина, а тут вдруг вспомнил и обложил обоих крепкими словечками. Помочь Анечке не удалось. Я попросил ларешника принять меня на работу в качестве ночного сторожа. Нельзя. Надо получить реабилитацию. Я очень волновался, но бессильно сжимал кулаки и только...

Во время одного из приездов с запасами еды Анечка рассказала о своём житье-бытье. Она не жаловалась, но я понял, что давление Лины, постоянно требующей денег и помощи в виде ухода за детьми (сама Лина тогда нигде не работала), и Клары, вымогающей деньги и возможность запустить руку в чемоданы, доводит её до отчаяния. Я её хорошо понимал, в моих ушах ещё звучали знакомые Линыны и Кларины команды:

- Мама, пойди вымой посуду!
- Мама, погладь Леночке рубашечки!
- Мама, Зяма не любит, когда ты сидишь с книгой! Пойди на кухню и посмотри за супом!

Или:

– Анна Михайловна, Сонечка сегодня пришлет ко мне одного профессора, я больна, так вы откройте чемоданы и постелите постель с вашим чистым бельем, что?

– Анна Михайловна, я прошу вас быстрее проходить через двор, чтобы соседи вас не видели – на нашей улице-таки работает один военный завод!

– Как, вы уже заплатили мне деньги за комнату? Сто рублей, что? Вы сказали сто пятьдесят? Что? А?

Дело дошло до того, что приходилось на автобусе и на трамвае ездить без билета: ужас был не только в том, что не было 50 копеек на билет, но, главное, не было пяти рублей на уплату штрафа, если поймают: Анечка боялась привода в милицию, получения бумаги о штрафе, скандала на заводе – инженер и ездит зайцем! Но денег не было, и она ездила...

– У меня стала очень болеть голова, – говорила Анечка и показывала на затылок, – вот здесь. И я как будто бы падаю от тяжести головы, спотыкаюсь, плохо вижу. Что это со мной делается?

Это было начало гипертонической болезни. Её ноги уже подламывались, но она упорно боролась за себя и за меня, выкраивая время для стояния в очередях в военной прокуратуре.

И не напрасно.

31 января 1956 года Главная Военная Прокуратура известила меня, что проверка моего дела закончена и оно передано в Военную Коллегию Верховного Суда СССР.

Анечка медленно тонула, всё ещё поддерживая меня, я всплывал вверх и сквозь тонкий слой воды уже различал

над собой солнце и воздух, который скоро смогу вдохнуть полной грудью.

В январе 1956 года Анечка получила следующее извещение:

РСФСР
Министерство Юстиции
Московский Городской Суд
2 января 1956 г.
№ ...

Справка

Дело по обвинению Иванова Сергея Иосифовича пересмотрено Президиумом Московского городского суда 26 декабря 1955 г.

Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 31 октября 1942 г. в отношении Иванова Сергея Иосифовича, 1910 г. рождения, отменено, и дело о нём производством прекращено за недостаточностью обвинения.

Подпись и печать.

Что сказать по этому поводу?

При царском режиме существовала статья закона от 4 сентября 1881 года, которая давала правительству ссылать неугодных ему лиц без суда и следствия. Ссылали и по суду. Ссылали мало, и каждый случай вызывал бурное негодование либеральной интеллигенции. После ссыльных царского времени остались следы, по которым эти страдальцы вошли в историю. В Туруханске на высоком берегу Енисея выстроен стеклянный павильон, далеко видный с реки: видели его и мы, проплывая мимо в заплombированной барже смерти в 1939 году. В павильоне хранятся: лучшая в поселке изба, в которой жил страдалец И.В. Джугашвили, его лодка, рыбацьи снасти и охотничьи ружья (!). Не поместился только великовозрастный сыночек...

В селе Шушенском воздвигнут памятник другому страдальцу – В.И. Ульянову: он прибыл туда в классном вагоне, снял у купца лучший дом на площади и спокойно занимался дальше подготовкой революции. Передают, что местный партийный руководитель, показывая это священное место известным чешским путешественникам Ганзелке и Зикмунду, вздохнул и сказал: «Каждому советскому человеку да по такому бы дому... Я сам живу хуже». Путешественники на-

слушались за время своего путешествия таких речей немало и в Праге после мучительных раздумий решили вовсе не печатать книгу своих впечатлений о России – слишком уж получалось двусмысленно.

После революции были созданы бесчисленные Особые совещания при органах госбезопасности. В сталинское время ими без вины и следствия были арестованы, осуждены и сосланы сотни тысяч, а может быть, и миллионы советских тружеников, мясо и кровь которых были нужны для того, чтобы смазывать машину террора, сытно кормившую стоящих у её рычагов людей. Сергей Иванов был сыном железнодорожного рабочего и полуграмотной крестьянки, розовощёким весёлым малым, коммунистом, который с отличием окончил Танковую Академию им. Сталина, стал военным инженером и показал себя способным организатором производства. Он был хорошим сыном, хорошим семьянином. Человеком с будущим. В его воспитание и образование народ вложил немало денег, но когда пришла пора отдачи, молодой специалист понадобился как мясо и кровь. Обвинять было не в чем и трудно было слепить липу. Его пропустили через Особое совещание заочно, и вместе с сотнями тысяч других дали десятку, сослали в тяжёлые северные лагеря. От скверной пищи у него начался рак желудка. Дело отменили и даже – о наше милосердие! – прекратили дальнейшее производство.

Но, не дождавись стеклянного павильона или выставки на площади, Сергей Иванов на севере умер.

Погода повернула на солнечные дни с лёгким морозцем. Однажды я шёл из библиотеки. Вдруг кто-то, обгоняя меня, взял рукой за талию и по-дружески шепнул в ухо:

– Здорово, старина! Не тушуйся: жди добрых вестей. Понял? Жди!

Это был офицер, принимавший и проверявший посетителей перед кабинетом начальника Городского отдела госбезопасности. Я вернулся домой и лёг: сердце колотилось, казалось, что земля колышется под ногами.

В начале января поздно вечером хозяйка вдруг вошла в комнату с испуганным лицом:

– Выйдите скорей на крыльцо! Вас ждёт начальник гэпэу!

Я схватился за сердце.

– Скорее! Он ждёт!!

Я оделся потеплее: может, арестуют, так чтоб не мёрзнуть в камере. В карман сунул деньги и кусок хлеба. Поцеловался с хозяйкой и Мими и вышел на крыльцо.

Было темно. Но свет из окон и от уличного фонаря косыми лучами освещал медленно опускающиеся снежинки и плотного человека в чёрной шубе. При моём появлении он снял шапку.

– Здравствуйте, Дмитрий Александрович, здравствуйте, узнали, верно, я – начальник здешнего отделения, мы видались уже, хе-хе-хе, помните? Я пришёл вас просить, то есть очень и очень просить, у меня сына Владлена выпустили из лагерей досрочно, он учился в девятом классе, попал в заключение случайно, вроде ранил ножом прохожего, так я его устроил на завод и учителя нашёл по всем наукам, а вот по языкам директор рекомендовал только вас. Так вы не обессудьте, очень прошу, мальчик способный, очень хороший; тот прохожий сам как-то наскочил на его нож, глупое недоразумение, хе-хе-хе, понимаете, а учить сынка надо, чтоб опять не распустился. Моя супруга Сталина Епифановна очень просит и даже умоляет, говорит, Конек, это она меня так называет – Коньком, «Конек, – говорит, – проси Дмитрия Александровича и предложи денег, сколько ему не обидно, и передай вот этот пирог в салфетке, лишь бы он начал учить сразу и каждый день по часу, чтобы не давать нашему мальчику Владлену покоя и времени, проси!» – Я и прошу, Дмитрий Александрович, уважьте родителей! Папа просит и мама!

Плотный мужчина стоял без шапки, и снежинки падали на голову, освещённую полосой света из окна. Он высыпал эту речь скороговоркой, залпом и потом поднял лицо в напряжённом ожидании. В вытянутой руке печально повис пирог в салфетке. Злорадства во мне не было, хотя я сразу вспомнил, как он говорил со мной в своём кабинете. Эх, не всё ли равно... Но я всё ещё сжимал рукой сердце.

Так я попал в учителя. Стал учителем, который еле шевелит языком и с трудом разбирает буквы...

Через неделю получил вызов к военному прокурору города Москвы.

Меня встретили удивительно – без усаживания за отдельный столик у входа, без снопа света в лицо.

– В написанных из лагеря заявлениях о своём деле вы упомянули несколько фамилий людей, которые были оговорены и арестованы без основания. Дайте на каждого из них показание, которое могло бы служить основанием для ре-

абилитации. Вот перо и бумага. Не спешите. Пишите подробно и убедительно!

Я задохнулся от волнения. Боже! Неужели я дожил до этого дивного мгновения восстановления истины! Наконец-то свершилось то, во что я верил вопреки разуму! И я стал перечислять всех, кого помнил по своему делу и по чужим делам. Костю Юревича, Женьку Кавецкого, многих других... Рука летала по бумаге, как птица, – куда девались паралитическая скованность и слабость!

А между тем в дверь заходили офицеры и издали смотрели на меня. До меня доносилась фамилия «Шукшин». Наконец один из офицеров шагнул ко мне.

– Скажите, правда ли, что в ноябре тридцать восьмого года вас избивал Шукшин? Сидите, сидите!

– Нет, он только валил на пол, сдергивал рубаху и сидел на мне, чтоб я лежал в нужном положении – на спине или на животе. Избивал полковник Соловьёв.

– Гм... Только держал... А чем били?

– По животу каблуками сапог, по спине стальным тросом с шарикоподшипником, по голове молотком в вате. Но, повторяю, бил Соловьёв, Шукшин только помогал, ведь он молодой человек, юноша.

– Юноша?

– Да. Тоненький, розовый.

Быстрое переглядывание. Улыбки.

– Ну, пишите дальше. Извините и спасибо!

И я писал и писал. Вдохновенно, не помня себя от радости. А вернувшись домой, почувствовал себя плохо и слёг.

Когда сердце ровно бьётся со скоростью двести ударов в минуту – это плохо. Это тяжело. Но когда оно беспорядочно перескакивает с ритма на ритм – это невыносимо.

Когда сердце плохо работает час – это плохо. Пять часов – ещё хуже. Но когда сердце бьётся так, что больному кажется, что оно вот-вот выскочит через горло, и это длится неделю – это ужасно. Больной чувствует, что сердце устало и ему **нужен** покой сейчас, сию минуту, но покоя нет, и оно продолжает бултыхаться и кувыркаться в как будто бы разбухшей и отяжелевшей груди дальше, с утра до вечера и с вечера до утра, сутки за сутками. О еде и сне не могло быть и речи. Добрая хозяйшка давала с ложечки только несколько глотков воды, и всё.

Однажды ночью, не восстанавливая ритма, сердце стало биться очень слабо. Температура понизилась. Я почувствовал, что умираю. Было часа три ночи, на улице воры с ножами охотились за последними прохожими. Матросика не было дома – он работал преподавателем физкультуры в районе и находился в отъезде. Его хорошенькая жёнушка, очень гордившаяся, что я на французский манер называю её Мими, оделась, сунула в рукав нож и побежала искать врача и дать телеграмму Анечке. Доктор пришёл, но беспомощно развёл руками, и наутро прибыла порывистая в добре и зле Лина с продуктами и огромным ночным горшком, а после рабочего дня – Анечка. Лина уехала, а Анечка осталась. Мы переговорили, и наутро она позвала из ЗАГСа старичка для регистрации брака и молодую девушку для записи завещания на случай смерти (я хотел оставить Анечке доверенность на получение всех своих вещей и денег по реабилитации).

12 марта произошла замечательная сцена: старичок, хмурясь, поздравляет с браком, девушка, всхлипывая и сморкаясь, строчит завещание, жених закатил глаза в забытие, невеста у его ног поникла в изнеможении, а у дверей рыдают два свидетеля – дородная старуха-хозяйка и черноокая Мими!

Среди общего смятения я неожиданно заснул: это внезапно восстановило нормальный ритм сердца. Спал сутки. Провалился неделю. Потом встал, как будто после сыпняка, – худой, слабый, равнодушный ко всему.

А 6 апреля получил телеграмму:

«Поздравляю реабилитацией феврале срочно выпишись Александрова уедем воскресенье вместе обнимаю. Аня».

Глава 3

Два года без улыбок

В Москве дела пошли неважно.

По закону Анечка имела право на прописку с мужем у Лины, потому что до ареста комната была её, и мебель, постельное бельё и многие другие вещи принадлежали ей и Сергею. Но Сергея не было, был я, и Лина с Зямой реши-

тельно возражали против нашего вселения и прописки. Достаточно, что они хоть встретили меня до приезда Анечки с Волго-Дона. Отдыхать было некогда, надо было спешить устраиваться. Я отправился к Нюсе, сестре Ксении, с которой я с Женькой Кавецким когда-то хоронил в Анапе их мать, мою тётушку.

Нюся была замужем за И.Г. Коганом, известным в своё время биологом и прогрессивным общественным деятелем, умершим от рака ещё в двадцатых годах. Он был одним из основателей Института экспериментальной биологии, и поэтому вдова получила там в виде помощи место заведующей складом с недурным окладом. У Нюси было два сына – чёрненький и шустрый Шурик, похожий на еврея и считавший себя русским, и белокурый увалень Стёпа, считавший себя евреем. Оба добровольно пошли на фронт и были убиты: Шурик под Москвой, сразу же после вступления в первый бой, а Стёпа получил несколько ранений, с мучениями провёл всю войну, в звании капитана дошёл до Берлина, где демобилизовался и был раздавлен насмерть пьяным советским шофером. После Стёпы остались тяжелобольная жена Наташа и дочь Ольга: Наташа недвижно лежала в постели рядом со зловонной парашей, Ольга валялась на диване и вышивала: она была ученицей последнего класса средней школы, комсомолкой и лентяйкой. За детей, на больную невестку и несовершеннолетнюю дочь, Нюся получала из собесов пенсию.

В своё время Анечка передала Нюсе вывезенные из Сулово мои записки, и, когда я вернулся в лагерь из подмосковного спецобъекта, она восторженно писала мне в Тайшет, что провела не одну ночь в слезах, разбирая мои каракули. Тогда же сообщила, что моя мать, решив покончить с собой, принесла ей лучшие мои вещи для того, чтобы мне было во что одеться, когда меня выпустят на свободу. Я плохо говорил и соображал, но всё же объяснил Анечке, что ожидаю от свидания многого, что радость встречи, помноженная на вещи и воспоминание о том, что во время приездов из-за границы я всегда являлся с ценными подарками как к единственным родственникам, должны заставить Нюсю, во-первых, материально помочь мне стать на ноги, а во-вторых, формально прописать у себя: ведь прописаться в Москве трудно, за это хозяйки дополнительно требуют 100 рублей, а откуда их взять?

Моё воскрешение из мёртвых весьма удивило, но мало обрадовало Нюсю: к чужой смерти привыкают и после похорон устраиваются поудобнее, и появление мертвеца просто неприятно, оно некстати, оно воспринимается как бестактность. По воле случая на Нюсе как раз был одет мой старый пиджак, я сразу его узнал: когда-то меня одевал лучший портной на Кавеер-страат в Амстердаме. Заявив, что пиджак мне уже не будет впору, Нюся снабдила меня Стёпиными старыми дырявыми валенками, а от прописки отказалась, заявив, что у неё прописана подруга Наташи (подруга эта жила без прописки потому, что имела площадь вместе со своей семьёй, но после моего прихода Нюся срочно прописала её к себе для страховки), то есть повторила маневр Лины, прописавшей у себя Зяму, который имел свою отдельную комнату у матери.

В тревоге Анечка вспомнила мои рассказы об известном советском скульпторе Юлии Кун, которая на правах старого друга забрала всё наше имущество после смерти матери и Марии – приехала на грузовике вместе с сыном Юлей, кинооператором, нагрузила всё ценное и увезла к себе.

– Уж кто-кто, а Юлия поможет: у неё осталось всё моё добро! – бормотал я Анечке, когда она под руку вела меня домой.

С Юлией меня и Марию в тридцать седьмом году познакомила связистка и техничка моего сектора ИНО Анечка Мартынова.

Юлия – характерная фигура, и о ней стоит рассказать подробнее. Её муж был когда-то торгпредом, и в Буэнос-Айресе она познакомилась с переселенцем из царской России, скульптором, работавшим под псевдонимом Эрзя. Его специальностью были утончённые и изысканные обнажённые девичьи фигуры, вырезанные с удивительной виртуозностью из корней квебрахового дерева: это были сделанные ножом в натуральный рост статуи табачно-розового или золотого цвета, гибкие, как бы вьющиеся вместе с великолепной фактурой корней и создававшие неземное впечатление, вполне соответствующее названиям: «Грезы», «Сон», «Видение» и т.д. Узнав, что высокопоставленная дама собирается в Москву, престарелый Эрзя отобрал свои лучшие работы и попросил Юлию вручить их в дар Третьяковской галерее от тоскующего по родине бездомного скитальца; одновременно он вручил ей деньги на оплату доставки. Юлия приняла дар и деньги и отправилась в путь. По приезде раз-

велась с мужем и поселила его у себя в чулане, а сама сошлась с Рэмом, бывшим офицером Генштаба одного большого западного государства, голубоглазым красавцем с пушистыми белокурыми усами. Рэмон был резидентом разведки на Балканском полуострове, влюбился в первую красавицу Белграда – любовницу самого богатого человека Югославии. С ней вместе он убил этого человека, но присвоить его капиталы не удалось: дело открылось, красавицу посадили, а Рэмон бежал и как уголовный преступник смог спастись только в СССР. Здесь он выдал всех своих подчинённых, засыпал всю свою разведывательную сеть, дал точные сведения о своих хозяевах и таким образом заработал себе жизнь. Он обитал на секретной даче, куда Мартынова возила ему деньги и продукты. Красавец Рэмон быстро прибрал к рукам дебелую рыжую Юлию и с секретной дачи сначала перебрался в квартиру на улице Воровского, а потом в виллу, которую он построил для Юлии на её деньги (Юлия как раз перед этим выполнила несколько выгодных заказов – фигуры рабочих для нефтяной линии Баку – Батуми, статую девушки – Москвы-реки – перед речным вокзалом в Химках и др.).

Вилла была двухэтажная, просторная, с барским камином в холле, круглым озером в саду и чёрным лебедем на круглом озере. Вот для этой-то виллы Юлия позднее и увезла мою мебель, кчиги и всё другое имущество.

– Как можно так быстро и хорошо построить виллу в Москве, не зная ни слова по-русски? – удивлялись мы.

– Просто. У нас надо идти, договариваться и много платить. У нас – капитализм. При социализме надо выйти на Ленинградское шоссе и всем шоферам кричать «Эй!» и щёлкать пальцами. Они привезут вам всё, что надо. И притом за полцены. Потому что это краденое. Вилла была уже выстроена, а шоферы ещё долго подъезжали и предлагали оконные рамы, двери, стекло, металлическую фурнитуру, лес, кирпич и прочее. Нет, у вас всё устроено лучше, рациональнее! Мне нравится социализм!

Рэмон вскоре после моего ареста был тоже арестован и погиб на Колыме от голодного поноса. А с Юлией стряслось второе несчастье: Эрзя после войны решил умереть в России и притащился сюда. Обливаясь патриотическими слезами, пошёл в Третьяковку, чтобы взглянуть на свой дар. И нашёл. Но обомлел от неожиданности: квебраховые красавицы вились ввысь по-прежнему, но у основания каждой был чётко назван автор: Юлия Кун.

Торгпредша обворовала тоскующего скитальца!

Прохвостку выгнали из МОССХа, и ко времени моего прихода она пробавлялась надгробными памятниками. Вилла захирела, сад зарос, лебедя во время войны хозяйка съела. Когда я позвонил у калитки, навстречу мне выползла жёлтая старушка в тюрбане из старых мужских кальсон.

– Дмитрий, mon cher, вы ли это?!

Она сценически раскрыла мне объятия (Анечка была на заводе, я притащился один).

– Пришёл за... Мебелью... продать... жить нечем... – залепетал я.

Она отшатнулась и вспыхнула.

– Я вас считала культурным человеком, Дмитрий, но теперь вижу иное!

Широко раскинутые руки спрятались за спину.

Но Анечка есть Анечка. Её такими номерами не успокоишь.

Позднее она вынудила отдать кое-что из того, что Юлия не успела припрятать после моего первого посещения. В сарае я нашёл альбомы и ритуальную маску, вывезенную мною из Конго. Она сейчас насмешливо щурится на меня со стены.

Но в тот день я не получил ничего. Пришлось идти на старую квартиру – туда, где я был арестован: нужна была справка о прописке, и таилась надежда, что, может быть, там остались кое-какие вещи для продажи.

В ЖЭКе меня встретила пожилая женщина. Когда я, заплетаясь, рассказал о себе, она расплакалась: оказывается, вместе с дворником она присутствовала при моём аресте в качестве понятой. Мы говорили около часа, всё и всех вспомнили, горько вздохнули над страшным временем, которое пережили.

– Вещей не осталось, в вашей квартире живут другие люди. А справку я дам, только пройдёте ко мне на квартиру, я там в передней на полке сложила старый архив – здесь не хватает места.

Дома она усадила меня на диван и, утирая последние слезинки, полезла на полки. Пока она рылась в папках, я сидел понурясь и вдруг заметил рядом с диваном этажерку, а на ней золотые настольные часы с гравировкой: «From E.A.». Эти часы когда-то в Лондоне мне подарил Женька, бывший тогда Юджином Эдемсом.

Я ничего не сказал сердобольной женщине. Она совершенно забыла, что эти часы ukrала, и уж, конечно, не по-

мнит, у кого именно. Помнила бы – припрятала. Что уж... Она повела меня в мою бывшую квартиру. Лицо теперешней жилицы, некой засаленной гражданки Меламед-Гинзбург, побелело и перекошилось от страха. Я постоял на пороге и молча закрыл дверь.

Да, плохо, когда мертвец встаёт из могилы... Он всем мешает...

Через день-два я потащился к Анечке Мартыновой. Может, у неё что-нибудь выйдет?

Мартынова со своим новым мужем приняла нас с Анечкой сердечно, искренне, взволнованно. Было много слез, воспоминаний. Стасик, новый муж, так **психанул**, что в попыхах вылакал бутылку коньяка, окосел и понес околесицу о десяти ударах товарища Сталина во Второй Отечественной войне, был уложен на диване и блаженно уснул. Но помощи нам они не дали.

Желанная помощь неожиданно пришла из Праги от сестры покойной жены Божены Сынковой – вдовы героя Чехословацкой Республики, подпольщика, выслеженного гитлеровцами и сожжённого в печи в лагере «Маутхаузен»: со случайным человеком мне были переданы золотые часы, каракулевая шубка Марии и мои швейцарские часы. Передача оказалась очень кстати: мы приготовились пускать пузыри и вдруг опять удачно всплыли на поверхность!

Позднее Иванек, сын Божки и мой племянник, нашёл нас и помогал чем мог – деньгами, вещами и даже пакетом сосисок! Славный парень: это была не только материальная помощь, но и моральная поддержка. Тогда я не знал, что близятся годы, когда вместе с Анечкой отправлюсь в Прагу отдохнуть и мы там остановимся в его новой квартире. Да, это чудесное время в конце концов настало, но за него пока что нужно было бороться.

Положение обострилось до крайности. Однако свет не без добрых людей: совершенно посторонняя женщина, муж которой погиб во время ежовщины, нас прописала на пару месяцев. Мы получили передышку, и я, едва шаркая ногами по тротуару, **ринулся** на помощь Анечке.

Прежде всего я отправился в Торговую палату, куда в 1938 году меня направил ИНО для подготовки ареста. Нашлись старые друзья, похоронившие меня вместе с остальными жертвами террора. Погибло много хороших, умных и преданных людей... Из большой группы побывавших за гра-

ницей уцелел один Пепик Леппин: из Палаты он был переведён преподавателем в вуз, начал готовить диссертацию и стал бы профессором, если бы не война: он добровольцем пошёл на фронт, в бою стрелял из пулемёта до мгновения, когда был раздавлен гусеницами немецкого танка.

Друзья быстро оформили дело: я получил месячный оклад и справку о том, что работал начальником Отдела переводов с окладом в 1900 рублей. Когда я получал за границей 1000 рублей золотом (500 рублей на себя, 300 рублей на жену и 200 рублей на расходы по легализации), то есть около 40 000 тогдашних рублей, в месяц, я никогда не брал деньги с такой жадной поспешностью, как в этот раз: шутка ли – 1900 рублей! А?! Я начинаю помогать Анечке!

На следующий день пошёл пал в собес и в передней долго считал и пересчитывал свою будущую пенсию: на стене в приёмной висел роскошно оформленный щит, заполненный цифрами и ссылками на параграфы закона. После второго паралича я потерял способность говорить, читать, писать, считать и забыл иностранные языки. Теперь в какой-то мере восстанавливалось всё, кроме счёта, и я часа три обливался потом, вычисляя свою пенсию, от боли сжимал голову руками и опасался, что получу третий паралич прежде, чем вычислю сумму. Но всё обошлось. Радостно улыбаясь, я вошёл в кабинет заведующей и получил оплеуху – красивый щит оказался обычной сталинской показухой: эти законы были давным-давно отменены. Я мог получить 340 рублей, но только после предъявления трудовой книжки и справки от врачебной комиссии об инвалидности – до пенсии по возрасту мне оставалось несколько лет.

Я отправился в приёмную КГБ на Кузнецкий мост, 24.

– А чем вы докажете, что действительно работали в ИНО? У вас есть документы?

– Нет. Но в ИНО есть люди и документы, которые ...

– Нам некогда наводить справки. Вы должны всё заготовить сами.

Я поплелся стоять в очереди на получение компенсации за вещи в качестве реабилитированного, у которого все личное имущество при аресте было изъято в пользу государства. Очереди бесконечные, окошек много, в узких коридорах толчея, накурено, шум. Присесть негде. Жарко: стояли погожие майские дни.

Я держался за стены и решил умереть, но добиться своего. Хотя, конечно, дело это безнадёжное – кто будет

восемнадцать лет хранить расписки на изъятые вещи?.. В ушах ещё как будто бы звучал треск, когда солдаты примеряли на себя мои лондонские и амстердамские костюмы и довольно гоготали, а я стоял в каменном конверте, слушал и вспоминал евангельский рассказ о том, как когда-то у подножия крестов с распятыми солдаты делили их одежды, не ведая, что творят... Нет, ничего не выйдет...

Но я ошибся: в современной бюрократической стране у подножия крестов не ведая делят добычу, а вполне сознательно мошенничают и воруют. Мне представили аккуратнейшие корешки от выданных мне тогда расписок. Ничего не было потеряно, восемнадцать лет всё хранилось с педантичной аккуратностью.

– Вот, получите 3600 рублей, гражданин.

– За каждый костюм? Мало! Они стоили больше.

– За всё ваше имущество. Поняли? За всё.

Я опешил.

– Вот видите: костюмы бывшие в употреблении, качество не указано. По положению они приравниваются к рабочим. Пять поношенных рабочих костюмов по сто двадцать рублей. И так далее. Вот посмотрите.

– Так что ж выходит? Я привёз из-за границы старые рабочие костюмы? Будучи сотрудником ИНО ГУГБ?

– Нас это не касается. Получите деньги. Распишитесь, вот здесь, я держу палец. Так. Следующий!

Я уже выполз на улицу. Голова разрывалась на части от боли – нужно было думать, что-то предпринять, а для этого была необходима кровь в сосудах мозга, без крови он не работал... Я в отчаянии стоял на тротуаре.

И вдруг вспомнил: золото! **Золото!**

Играя роль европейского аристократа, я в своё время приобрёл вещи, необходимые человеку круга, в котором приходилось вращаться: золотой фамильный перстень с короной и монограммой, золотые ножнички для обрезания сигар, золотой литой портсигар с золотой пластинкой, на которой эмалью был изображён графский герб...

Я начал карабкаться вверх.

– Эх, гражданин, что вы голову морочите? Всё перечислено на талонах, вы видите? И перстень, и портсигар, ну и прочее. И пометка: «Из жёлтого металла». Поняли?

– Из жёлтого металла – значит из золота!

– Откуда это видно? А почему не из меди? Такие базарные побрякушки мы на складе не держим и за них компен-

сацию не даём. Всё. Следующий! Да, кстати, зайдите во двор приёмной на Кузнецком, там выдают личные документы!

Шаркая ногами, я опять потащился во двор приёмной КГБ на Кузнецкий, 24. Неужели мне вернут чёрную папку и хрустящий лист с двуглавым орлом, удостоверяющий моё графское Российской Империи достоинство? Вот будет насмешка судьбы...

Но насмешки не было. Меня ждала настоящая радость: синенький профсоюзный членский билет сотрудника ИНО ГУГБ с пометкой: «Выбывает из профсоюза в связи с переходом на военную службу». Слуцкий получил разрешение Ежова перед отправлением за границу провести меня в партию и присвоить звание подполковника. Я зажал книжечку в пальцах. Чёрта ли мне до чёрной папки! У меня в руках кусок хлеба!

Я позвонил в Финансовый отдел КГБ.

– Есть доказательства работы в ИНО? Хорошо. Позвоните через две недели.

И началось, началось... Наматывание нервов, нет, точнее, пустых кишок, на барабан бюрократической машины. Я решил бороться за свои права, но старые бойцы из финотдела правильно сообразили, что лучший метод обороны от больного старика – тянуть время.

Эти телефонные номера вечно заняты, телефонные будки тоже, и каждый раз нужны деньги – по две копейки за попытку говорить с нужным человеком.

Две копейки! А у меня копеек было немного...

Потянулись недели, потом месяцы...

Сначала добился направления на ВТЭК Центральной поликлиники КГБ при СМ СССР. Получил инвалидность с диагнозом: «Выраженный склероз сосудов головного мозга с изменением интеллекта».

«Я покажу вам распад личности», – бормотал я, целыми днями волоча ноги по Москве из конца в конец, от одного окошечка к другому.

Потом добился ещё одного месячного оклада.

Добился трудовой книжки.

Добился взятия на учёт для получения квартиры.

Добился направления в фешенебельный дом отдыха КГБ в Кратово. Туда я явился в тёплый солнечный день.

Невесело очутиться в жаркие летние дни в лагерных штабах и рубаше среди генералов и полковников государствен-

ной безопасности... Это были дни пугливого шараханья с одной скамьи на другую, от одного стола к другому – я везде слышал слова, которые мне казались явной провокацией...

Утром за столом какой-то полковник меня спрашивает:

– А вы не **оттуда?**

– Оттуда.

Он с аппетитом жуёт свиную котлету, потом вытирает губы ослепительно-белой салфеткой и с угла рта роняет как бы в пространство:

– Воображаю, как вы нас всех ненавидите!

«Провокатор!» – мелькает мучительная мысль, и я прошу сестру к обеду дать мне место ближе к окну – мне нужен чистый воздух.

После обеда компания молодых офицеров шумно поднимается с диванов перед телевизором и радио.

– Идёмте поскорей! Сейчас начнут кормить социалистическим реализмом: в столовой обед был хороший, и жаль, если вырвет!

«Провокаторы!» – думаю я и быстро шмыгаю в другую дверь.

После ужина все выходят из столовой на крыльцо – покурить на свежем воздухе. Генералы и полковники сталинского времени становятся группой с одной стороны крыльца, капитаны и лейтенанты с университетскими значками – с другой – это хрущёвское пополнение КГБ.

– И когда его уберут отсюда? – громко начинает лейтенант. – Смотреть противно на эту спину.

Перед крыльцом, спиной к говорящим, стоит бетонная статуя, выкрашенная известью в белый цвет «под мрамор».

– Напрасно вам противно, лейтенант, – отвечает из другой группы дородный полковник. – Товарищ Сталин нас, чекистов, кормил, и мы ему верно служили.

Лейтенант фыркает.

– Да, товарищ полковник, кормил он вас неплохо! А вот служили вы так, что теперь страна не знает, как после вас исправить дело.

Полковник багровеет.

– После вашего исправления когда-нибудь, и вероятно очень скоро, товарищ лейтенант, нам придётся опять поворачивать руль: вы доведёте страну до подводных камней, а нам с вами вместе тонуть неохота!

Я поскорее ухожу в палату.

16 июня 1956 года.

Я – везучий человек!

Одним людям везёт в любви, другим в карты или у начальника. Мне везёт на необычные обстоятельства. Или, может, это просто естественное положение, что «на ловца и зверь бежит», а я люблю жизнь, ощущаю её как романтический праздник и с упоением бросаюсь в необыкновенное, которое поэтому само меня ищет!

Старый конторщик, выдававший в Доме отдыха ключи, долго по складам читал мою фамилию:

– Бы...стро...лё...тов... Так, что ли? Я принимал телефонogramму... Спешил записывать и получилось неразборчиво. Говорили из кыпыка. Да. Короче говоря, завтра в 10 часов явитесь сюда. Будет ждать машина. Вас доставят в ЦК КПСС. Внизу спросите пропуск и пойдёте.

– Куда?

– По вашему делу. В кыпыка.

– Что это такое?

– Не знаю.

– У меня нет дел в ЦК КПСС.

– Значит есть, раз требуют.

Новенькая машина с молчаливым водителем быстро доставила меня на Новую площадь к зданию, над которым всегда развевается красный флаг.

– Товарищ дежурный, здесь недоразумение: я не член КПСС, это ошибка, я ...

– Получайте пропуск.

Подтянутый солдат внутренней охраны мягко, но внушительно говорит:

– Следуйте за мной. Не отставайте.

Мы поднимаемся вверх, шагаем по длинным коридором. Пустынно. Мягкие ковры-дорожки заглушают звук шагов. Я едва поспеваю за здоровым молодым человеком!

– Не отставайте! Держитесь кучнее!

И вдруг меня пронизывает холод. Я слышу беззвучные крики: «Вперёд! Колонна, подтянись! Не отставать! Стрелять буду!»

Неужели арестован? Ловко заманили... Только зачем?

– Входите! – солдат распахивает дверь, вытягивается и пропускает меня вперёд.

Большая комната. У другой стены под окном большой стол. Из-за него навстречу мне поднимается полковник КГБ.

«Так и есть! Арестован!»

Но полковник медово улыбается и сердечно трясет мою руку.

– Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Как ваше здоровье? Поправились в доме отдыха?

Полковник берёт пропуск и, любезно склонив голову на бок, подводит меня к большой двери направо.

– Как только войдёте, садитесь на чёрный кожаный диван у двери направо.

Он оправляет китель, подтягивается.

«Нет, не похоже на арест, – соображаю я. – Там какое-то высокое начальство».

– Входите, пожалуйста.

Я вхожу, молча делаю общий поклон и сажусь на чёрный кожаный диван.

– Это тот, кого вы пригласили, товарищ Шверник! – негромко докладывает полковник и закрывает дверь.

Исподлобья я быстро оглядываю комнату. Рядом со мной сидит Маленков – я узнаю его одутловатое лицо и характерную причёску с пробором. Передо мною длинный тяжёлый стол, покрытый сукном. Он стоит ко мне одним концом, возле которого самоуверенно и надменно выпрямился пожилой, слегка обрюзгший мужчина в великолепно сером костюме. Я вижу его гладкую спину, седеющие волнистые волосы и одну руку, твёрдо опирающуюся о стол. Это не лев, конечно, но так мог бы выглядеть хороший артист, изображающий героя. На другом конце лицом ко мне сидит Шверник – узнаю его по круглому розовому лицу и седым подкрученным усикам. С левой от меня стороны за столом каменеют два квадратных генерала КГБ. Рядом тощий полковник с голубыми петлицами лётчика нервно перебирает листки заготовленной речи. Справа по-домашнему сидят старые большевички, старички и старушки – белоголовые, старомодно и просто одетые. У одной пробор и узелок волос на затылке, пенсне с чёрным шнурком и высокие шнурованные ботинки по моде 1900 года. Их человек пять-шесть.

Тишина.

– Ну-с, теперь все в сборе. Можно начинать. Объявляю заседание Комиссии Партийного Контроля при ЦК КПСС открытым, – громко произносит Шверник. – Полковник, я предоставляю вам слово.

Полковник говорил плохо – он очень волновался, заикался, повторял сказанное. Чувствовалось, что сбить фашистс-

кий самолёт он мог бы скорее и лучше: на его груди в два или три ряда пестрели орденские ленточки.

– Да... Гм... Я был вызван из N-ской части в КПК... Меня снабдил пропуском во все места следствия и заключения КГБ... – тут он закашлялся, чтобы выиграть время и разобраться в своих трёх листках. – Да. Гм, гм... Задание: проверить действия следователя по особо важным делам полковника Шукшина. Да. Кхе-кхе...

Я рванулся вперёд. Вцепился пальцами в диван.

Шукшин... Так вот оно что... Розовый, тоненький мальчик... Я вспомнил весёлые улыбки прокуроров...

– Да. Я побывал в Следственном отделе КГБ и в отделении, возглавляемом полковником Шукшиным. Гм... Да. И в Сухановке, то есть, извините, в номерном объекте, где находятся особо важные государственные преступники.

– Кхе-кхе... Да. Я говорил со всеми людьми, арестованными полковником Шукшиным, и совершенно бесспорно установил факт.

Тут полковник стал почёсывать себе переносицу и усиленно кашлять. На его бескровных щеках появились розовые пятна. Сидевшие за столом подняли и повернули головы и уставились на Шукшина. Тот совершенно заметно передёрнулся, рука его задрожала, но он овладел собой и ещё выше закинул седеющую пышную шевелюру. Только на гладкой спине вдруг обозначилась одна глубокая морщина.

– Кхе-кхе... Да. Гм... Полковник Шукшин представил в ЦК дело о раскрытой им в нашей глубоко засекреченной отрасли промышленности организацию американских шпионов. В неё входили все ведущие наши специалисты. ЦК усомнился в материалах Шукшина и поручил мне проверку. И я установил: дело об американских шпионах – бесстыдная фальшивка. Она от начала до конца сфабрикована самим Шукшиным.

Полковник вынул платок и вытер лицо.

– Разъясните! – спокойно сказал Шверник.

– Никаких оснований для ареста у Шукшина не было. После ареста он стал выколачивать из невинных людей так называемые **признания**. Конечно, все наотрез отказались клеветать на себя и на товарищей. Тогда Шукшин... Кхе-кхе...

Все замерли, выпрямились на стульях. Генерал, игравший с листом бумаги, бросил его и всем телом так повернулся к Шукшину, что в страшной тишине скрип стула показался треском рухнувшего в лесу дерева. На спине Шукши-

на пробежала и залегла вторая складка. Прямые плечи вдруг съехали набок.

– Да. Да. Тогда полковник Шукшин привязал обвиняемых к спинкам стульев и бил ногами их жён, специально арестованных для этой цели. Это происходило в спецобъекте. Кхе-кхе...

Полковник скомкал свои листки и сунул их в карман.

– Всё. Разрешите сесть.

И, не глядя ни на кого, сел, ещё раз вытер лицо платком и замер с опущенными глазами.

Прошло время. Шверник не спешил. Наконец он вздохнул и бросил Шукшину короткое:

– Ну?

Тот опять передёрнулся. Овладел собой. Выпрямился.

– Товарищ Шверник, товарищи члены КПК и генералы! – начал он сочным грудным басом. – Я не буду оправдываться. Дело оказалось ошибочным, и я признаю свою вину. Но при этом вношу существенную поправку: я лично ни в чём не виновен. Виноваты мои подчинённые. Я признаю свою вину только как руководитель.

– Да как вы смеете... – начала дрожащим голосом одна из старушек в пенсне на чёрном шнурке. Но голос её дрогнул и оборвался.

Воцарилась глубокая тишина.

– Я хочу только подчеркнуть, – заговорил снова Шукшин, и бас его на этот раз прозвучал уж не так сочно, – что по положению от следователя требуется, чтобы он всеми средствами добивался признания подсудимым своей вины. И такое признание считается у нас доказательством преступления. Все арестованные признавались, в чем имеются их соответствующие подписи.

– Да как вы смеете... – крикнула та же старушка, – значит, выходит, что у нас в стране...

– Простите, у меня вопрос к Шукшину, – перебил старушку генерал, игравший листом бумаги, – он обменялся взглядом со Шверником, получил немое разрешение и вмешался, не дав старой большевичке договорить начатую фразу. – Шукшин, ущипните себя.

Осевшая фигура с надеждой встрепенулась.

– Товарищ генерал-майор, я вас не понял.

– Повторяю: ущипните себя.

– Я не по...

Генерал стукнул ладонью об стол.

– Приказываю: ущипните себя.

Шукшин ущипнул свою ладонь.

– Ну? Ущипнули? Теперь вопрос: вы не спите?

– Нет, товарищ генерал-майор!

– А я думаю, что спите. Какой нынче год?

– Пятьдесят шестой.

– Правильно. Так как же вы не заметили, что Сталин давно умер, прошло три года, состоялся XX съезд партии и новое руководство страны отвергло порочные методы, применявшиеся при культе личности? Где вы были все эти годы?!

Шукшин надорванно крикнул, и его бас перешёл в трагический визгливый тенор:

– Перед судом КПК я клянусь, что всегда работал честно! Клянусь! От моего первого подследственного и до этого несчастного дела работал честно! Верьте мне!! Верьте!!!

Шверник сделал движение рукой.

– Тише, Шукшин. Кто был вашим первым подследственным и когда это было?

Шукшин захлебнулся словами, отчаянно задрезал высоким фальцетом:

– Я начал работать в ноябре тридцать восьмого года практикантом, товарищ Шверник, и кто был первым подследственным, клянусь, не помню! Их прошли у меня тысячи! Могу ли я всех помнить?! Честно говорю – не помню!

Шверник опять сделал жест рукой. Выдержал паузу. Когда Шукшин стих, он веско, точно рубя топором, произнес:

– А мы вам напомним.

Ух, как изменился Шукшин! Какие складки побежали по гладкой спине – барский костюм весь сморщился и вдруг стал похожим на тряпку. Шукшин провёл пальцами вокруг шеи, точно чувствуя на ней затянувшуюся петлю.

– Шукшин, вашим первым подследственным был Дмитрий Александрович Быстролётов.

– Ну и что же... Может быть... Я не отрицаю... Но я...

Шверник перегнулся вперёд и впился глазами в лицо стихшего Шукшина.

Молчание. Долгая, очень долгая пауза. Раскалённая добела. Прожигающая сердце насквозь.

– Шукшин! Обернитесь!

Плечи Шукшина опустились как от груза, повисшего на руках. Обеими руками он упёрся в стол, чтобы не упасть на него лицом и грудью. Я видел, как крупно дрожали его колени.

– Шукшин! Обернитесь!!

Все опять замерли.

Шукшин стал поворачиваться влево, всем телом... Начал поворачивать голову... и не смог

– Обернитесь!!! Ну!!!

Ещё бессильный поворот тела и головы... Боже, какое молчание в большом зале...

– Да повернитесь же! Или мне самому вас повернуть?! – рявкнул генерал, выставив вперёд челюсть и угрожающе оскалил зубы.

Тогда в мёртвой тишине Шукшин стал поворачиваться ко мне, больше и больше.

Я увидел мясистое багровое лицо. Бегающие, заплывшие жиром глазки.

Наши взгляды встретились.

– Ай! – вдруг на всю большую комнату, может быть на весь коридор, завизжал Шукшин. – Я не знаю этого старика! Я его никогда не видел!! Я его не знаю!!!

Он заслонился от меня жирными руками и застонал, навалившись боком на стол. Я прыгнул вперёд, на бегу задирая на себе рубаху.

– А кишки, выпавшие под кожу от ударов каблуками, узнаешь?! А два ребра, загнанных в лёгкие стальным тросом, ты помнишь? А череп, по которому на допросах вы били молотком, тебе знаком, гад, так твою мать и перетак?!!

Я прыгнул ему на горло. Но сильные руки полковника авиации обхватили меня и поволокли назад, к дивану. Я опомнился. Всё у меня шло кругом, я плохо различал комнату и людей перед собой – какие-то вертящиеся пятна и круги плыли перед глазами.

Старушки совали мне в рот стакан воды.

– Успокойтесь! Успокойтесь! Выпейте воды!

Я пришёл в себя.

Передо мною на кривых толстых ножках маячил серый пузырь, из которого выпустили воздух: он сморщился, обмяк и даже согнулся на бок. Растрёпанные седые лохмы шевелились: следовательно по особо важным делам всхлипывал, как ребёнок.

– Ну, Шукшин, – начал генерал, – теперь ответьте: кому всё это было на пользу? Партии и народу это было во вред. Но если нам во вред, так, значит, нашим врагам на пользу? Не так ли?

Молчание. Громкие всхлипывания.

– Отвечайте!

Молчание.

– Шукшин, мы живём в мире, где нет нейтралов. Здесь все в борьбе – одни «за», другие «против». Если вы не были с нами, так значит были против нас?

Всхлипывания стихли.

Долгое, долгое молчание. Тяжёлое, как покрытая льдом свинцовая плита. Все опустили головы.

– Вахта! – вдруг закричал генерал. Вбежали солдаты. – Заберите его! Пусть подождёт в отдельной комнате.

Шукшина увели под руки.

– Ваша роль, товарищ Быстролётов, тоже закончена. Вы можете идти. Спасибо за помощь.

Меня отвели к машине, и я отправился в дом отдыха. Но судьба была милостива ко мне и ещё раз приоткрыла занавес после последнего акта трагедии: я забегу несколько вперёд, чтобы досказать эту историю до конца.

В июле 1961 года меня нашёл Женька Кавецкий, друг юношеских лет, бывший боцман с «Преподобного Троцкого» и лейтенант американского флота, наш верный и славный разведчик. Я его уговорил работать у нас, когда нашёл его след в Америке через мать и Анапу. Женька плавал тогда помощником капитана на американском лайнере и показался мне полезным человеком. О его работе для нас в гитлеровской Германии я, к сожалению, не имею права рассказывать, но работал Женька самоотверженно, был вызван домой для получения награды, снят с работы, арестован, изувечен и отсидел два срока.

Он был сломлен не только физически, но и морально.

В момент его прихода меня дома не было, и когда Анечка усадила гостя за стол и хотела выйти, чтобы на кухне поставить чайник, то Женька подскочил и пытался выбежать вон: ему показалось, что Анечка хочет позвать понятых или милицию. Он был арестован по показаниям Малли: Теодор, чтобы дать понять, что показания вынуждены, и чтобы оставить лазейку для заявления о пересмотре, писал, что завербовал Кавецкого в фашистскую шпионскую организацию, сидя на пароходе, который шёл из Женевы в Лион (!!). Женька о реабилитации не просил и жил очень плохо. Мы подбодрили его. Я связался с Лидией Малли и взял от неё свидетельское показание о работе Женьки за рубежом, сам много и хорошо написал о нём и бросил письмо в ящик в Приёмной КГБ на Кузнецком. Меня вызвали для снятия показа-

ний. Допрашивали два подполковника, сидевшие лицом друг к другу у окна. Я занял место, как полагается, за маленьким столиком. Солдата выслали за дверь.

У одного из подполковников лежали личные и служебные дела Женьки и мои и тут же наши судебные дела. Сердце заколотилось. Просматривая их по ходу показания, подполковник приоткрыл моё личное дело, и я будто бы увидел страницу, через которую шла синяя карандашная надпись: «Утверждаю. Ежов».

– Сталин и Родина вас не забудут!! – прозвучал в ушах голос **Русского Марата**.

От волнения я едва сидел спокойно.

После окончания допроса я спросил:

– Разрешите задать вопрос: что случилось с полковником Шукшиным?

Два подполковника разом подняли головы и посмотрели друг на друга, разом повернули головы ко мне, одновременно казёнными голосами жёстко сказали:

– Он умер.

И опустили головы к бумагам.

– Разрешите второй вопрос: от чего умер Шукшин?

Две головы вскинулись разом. Поворот. Два голоса отвечают, как машины:

– От инфаркта.

Молчание.

– Нужно ли пожалеть о нём?

– Нет! – сурово режут два подполковника и угрюмо опускают головы к бумагам.

Я очень волновался и от волнения забыл в их кабинете авоську с пакетиком колбасы и куском хлеба. Вспомнил уже в институте, но махнул рукой: пусть пропадёт – не идти же в это место опять... Толпы воспоминаний, одно другого ужаснее, теснились в моей бедной голове. Я досидел день больным, а когда дома вошёл к Анечке, то она бросилась ко мне, взволнованная и растроганная.

– Ты знаешь, в обед позвонили. Открываю – два подполковника КГБ стоят навтыжку перед дверью. Я схватилась за сердце, инстинктивно, понимаешь ли, – просто мелькнула мысль, что тебя уже забрали и теперь пришли за мной. «Не пугайтесь, всё хорошо, – сказали они. – Разрешите войти?» Я не могла произнести ни слова и только рукой сделала слабый жест приглашения. Они вошли, вытянулись и про-

тянули авоську с твоим завтраком. «Мы приехали, чтобы вернуть вещь, которую ваш супруг забыл у нас. Получите». Я не знала, что ответить: дыхание прерывалось, как будто бы горло сдавили клещами. «Мы явились для того, чтобы сказать вам следующее: мы читали личное дело вашего супруга. Он – герой. Для нас он пример. Мы хотели бы быть такими, как он. Вы слышите? Берегите его».

Вытянулись, стукнули каблуками и вышли. Из окна я видела, как они сели в блестящий чёрный автомобиль.

Но вернусь обратно к пятьдесят шестому году.

Поскольку очистить чемоданы не удалось, то Клара потеряла к ним интерес. Вооружённый нейтралитет грозил перейти в мещанские склоки. Жить стало невозможно. Анечка нашла новую квартиру, где хозяйка нас сразу же прописала, за деньги, конечно. К этому времени я получил от Юлии несколько пустых корабельных сундуков, и мы их «съели». Это было очень кстати.

Жили мы с хозяйкой тихо. Частенько получая в сердце острые шипы в виде шуточек:

– Ладно, ладно, ставьте молоко на плиту, ведь я вас за это с квартиры не выгоню!

Или:

– Смотрите, не ставьте сюда молоко, а то я рассержусь и выгоню вас из дома!

Да, это было трудное время...

Однажды летним вечером мы встретились с Анечкой дома, оба усталые, но довольные: она – потому что завтракный день был выходным, я – оттого, что с торжественным видом открыл большой самодельный пакет из обёрточной бумаги, в котором помещался наш семейный архив, и приготовился сунуть туда ещё одну важную для нас бумажку.

– Слушай и чувствуй, Анечка, – внушительно произнес я и начал торжественно читать текст: – «Прокуратура Союза ССР. Прокурор г. Москвы, N...; от 15 июня 1956 г. Гр-ке Ивановой А.М. Сообщаю, что постановление, которым вы в 1942 г. были осуждены к 5 годам ИТЛ, постановлением Президиума Мосгорсуда от 12-6-56 г. по протесту Прокурора г. Москвы отменено, и дело в отношении Вас прекращено». Что скажешь?

Анечка нахмурилась.

– Это реабилитация?

– Да.

– Хоть бы сожаление выразили, подлецы! Исковеркали жизнь и ещё сообщают, что дело в отношении меня прекращено. Какое дело? Сфабрикованное!

– Тут ещё записка в милицию, чтобы тебя прописали с мужем в старой твоей комнате, независимо от нормы площади. Лина умрёт от страха! Что делать с запиской?

Анечка долго молчала.

– А у нас пока нет денег, чтобы жить самостоятельно. У Зямы есть отдельная комната, откуда он по приглашению Лины перешёл к ней. У них деньги и здоровье.

– Значит?

– Значит, порви записку. Мы одни. Будем стоять на ногах, пока можем. Дай мне конверт, я объясню тебе, что это для меня значит.

Лёжа на постели, Анечка разложила рядом с собой ряд истрёпанных казённых бумажек и начала:

– Видишь эти жёлтые от времени листки? Они относятся не ко мне лично, но характеризуют среду, из которой я вышла, а эта среда сформировала моё сознание. Читаю:

Одесский городской партийный комитет КП(б)У. Отдел истории партии. 21 октября 1931 года. г. Одесса. Справка. Дана сия Михаилу Буценко в том, что, согласно настольному реестру прокурора Одесской судебной палаты по Елизаветградскому округу, он обвинялся по 129 ст. уголовного уложения. Дело было начато 5 марта 1909 года и кончено 8 июня 1909 года.

И ещё: считаю вполне моральным дать характеристику тов. Буценко М.А. за период 1905 года и 1907 года. В этот период разгула царской реакции мне пришлось проживать в посаде Новая Прага и работать в организации РСДРП(б). Тов. Буценко М.А. являлся почти единственным товарищем, державшим связь с партией и принимавшим активное участие в работе нашей организации, хотя он и не являлся членом её. Помимо участия в работе, тов. Буценко оказывал помощь нашей организации предоставлением у себя бесплатной квартиры для нас.

Как революционер тов. Буценко был гоним полицией, был арестован, в конце 1909 года выслан за пределы губернии. 29 октября 1931 года. Подпись (Херсонцев), членская карточка №1316, член О-ва Политкаторжан Одесского округа. Подпись и печать заведующего учреждением.

– Ну и что же, Анечка? Документы подтверждают твой рассказ, но я верил ему и без них. Ты напрасно говорила об отце с такой иронией.

– Нет. Будучи состоятельным человеком, отец устроил в одном из своих собственных домов книжный магазин, который и стал подпольной базой организации большевиков. Он оказывал ей и другую помощь, писал в газеты по договорённости с ней, будучи юристом, вёл для неё некоторые дела. Был судим и лишён права распоряжаться своим имуществом. Отказался ликвидировать имущество и выехать с семьёй за границу по совету бельгийских инженеров Донецкого металлургического общества. Словом, проявил себя как идейный человек и патриот. Но в том-то и дело, что для него это была только игра, игра в революцию: когда его мечты сбылись, он не пошёл строить свою власть в стране, а испугался, растерялся и отошёл от политики. Расстреливать белогвардейцы поставили не его, а меня. Вот поэтому-то я и сохранила к отцу недоброе чувство иронии.

– А что было потом?

– А потом он с помощью своего друга Ярославского недурно устроился и в Средней Азии, в Джелалабаде, даже купил себе уютный домик. Он преподавал рисование и живопись, слыл в городке видным культурным человеком и был похоронен в самой торжественной обстановке.

– Значит, всё хорошо?

– Но из страха порвал все связи со мной после моего ареста и, оказывая материальную помощь друзьям и знакомым, никогда и ничем мне не помог. Он не высылал мне в лагерь ни корки хлеба, ни рубля денег. Он – трус. Эгоист.

Мы помолчали.

– Мне всё понятно, Анечка. А где же твои документы из Первой Конной?

– В НКВД. После Суислово я побоялась напомнить о себе просьбой вернуть документы, думала, что если буду молчать, то обо мне забудут. Это оказалось чепухой.

– А если запросить теперь?

– Теперь они мне не нужны. Если понадобятся, их можно восстановить через военные архивы. Я не Майстрах, который живёт воспоминаниями о Первой Конной: помимо этого у него ничего светлого нет.

– А у тебя?

– Много. Хотя бы десять лет безвинного мучения в лагерях. И ещё вот это, смотри.

Она начала подбирать новые бумаги.

– Ну, вот, смотри. Это ростовские справки – с первых мест работы после окончания вуза: я знакомилась с производством, меняла работу и росла. Видишь – младший лаборант, старший лаборант и, наконец, инженер-химик экспериментальной лаборатории. Позднее мне пригодилось то, что с первых шагов я познакомилась с бакелитами. Это – рост. А вот справки из Киева, с военного завода. Я – инженер-технолог химик. Работа серьёзная, ответственная, да и время тяжёлое – тридцать шестой-восьмой годы. Вокруг меня исчезали проверенные люди, герои Гражданской войны, старые коммунисты, талантливые специалисты. Ужасное время! Страшно вспомнить... Сжав зубы и стараясь не смотреть по сторонам и не думать (что же думать, если никто ничего не понимал?), я с головой ушла в технику. Это приучило к самостоятельному техническому мышлению. А вот мои московские справки. Покончив с танками, я перешла в авиацию и здесь показала свои способности. Смотри!

– Что это?

– Подтверждение на принятие от меня заявки на изобретение. Подтверждает Отдел Изобретений Народного Комиссариата Оборона СССР. Неплохо?

– Ещё бы! Сколько их?

– Здесь пять. Но ведь это только случайно сохранившиеся расписки в принятии заявок. На уже принятые изобретения документов не сохранилось: приняли и выдали премию, записали в личное дело – и всё. А документы на руки не дают, все изобретения – засекречены. Да и в расписках всё помечено условно. Гляди – «заменители цветных металлов». Какие? Для чего? Неизвестно! А это образец заявки, возвращённой для доработки. Целое дело, как видишь.

– Так зачем же ты подавала заявку, не доработав до конца?

– Чудак! Важно подать и получить номер и дату регистрации. Потом можно дорабатывать хоть год – всё равно вся переписка пойдёт за первым номером и первой датой. Понял? Это важно для приоритета!

– Ну, и удавалось доработать, сдать и получить премию?

– Ещё бы! Вот предложение. «Тормозная лента из пластмассы». Я тогда работала в ВИАМе. Скромно, не правда ли? За этим скрывались огромная работа, увлекательные поиски, опасные для жизни пробные полёты и, наконец, триумф победы!

Все было бы теперь неизвестно, если бы случайно не сохранилась одна страничка из деловой переписки. Вот она, порадуйся вместе со мной!

Производственная характеристика-отзыв

Инженер вашего Института Анна Михайловна Иванова в продолжение 2-х лет возглавляет научно-исследовательскую работу по созданию высококачественной отечественной тормозной прокладки «ВИАМ-12», не уступающей лучшим заграничным образцам. В своей работе она непосредственно связана как с заводом 120, так и с военным представительством Военно-Воздушных Сил.

Участвуя в проведении войсковых лётных испытаний в Монино в 1938 г., тов. Иванова помогла разобраться и установить причины загадочного засылания вашим Институтом некондиционных пластин с заниженным коэффициентом трения, что в тот момент ставило под угрозу всю проделанную работу по «ВИАМ-12».

Осваивая в 1939/40 г. прокладки «ВИАМ-12» на заводе «Карболит» в производственном масштабе, тов. Иванова проявила много упорства и настойчивости, в результате чего серийные тормозные прокладки начали поступать на завод 120 высокого качества.

Отмечая хорошую работу тов. Ивановой как инженера вашего Института, Представительство сочло необходимым поставить об этом Вас в известность.

Ст. военный представитель
Парторг
Круглая печать
22 марта 1940 г.

Анечка подняла на меня сияющие глаза.

– Ну, как?

– Великолепно!

– Ты теперь веришь, что и в Институте, и на аэродроме, и в Наркомате меня встречали с почётом, а так как я была молода, хороша собой и одевалась по последней моде, то не было недостатка и в невинном ухаживании или комплиментах. Всё это было, милый, всё было!

Начинался плавный переход от практической работы к научной, я стала старшим инженером и могла начать обдумывать тему диссертации. И вдруг война. Я думала о

научной работе среди рвущихся на аэродроме бомб: это было моё оружие, которое я готовилась поднять на врага. И тогда...

– И тогда?

– Тогда меня арестовали, а так как никаких материалов для следствия и суда не было, то по Особому совещанию мне дали пять лет и послали умирать в лагерь.

Мы помолчали.

– Машине истребления советских людей удалось вырвать тебя из рядов защитников Родины, Анечка. Машине понадобились твои мясо и кровь – она нуждалась в смазке.

– Да. Мне швырнули вонючую тряпку, и я подползла к жирным ногам Тамары Рачковой. Это было в Мариинском распеде. Я думала, что так ко мне пришла смерть.

– Но ты не умерла! Через пять лет убийца и хулиган Валька Романов рассказал, как ты села в грязную теплушку на станции Мариинск в толпе освобождённых заключённых. Что было дальше?

– Вот, посмотри, – сказала печально Анечка. – Это справка, что я работала старшим инженером исследовательской группы центральной заводской лаборатории огромного военного завода в Славгороде на Алтае. С октября 1947 года по октябрь 1948 года.

– Опер, капитан Еремеев, сообщил мне об этом ещё в Суслово. Ты сама писала, что устроилась хорошо.

– Я бежала от Лины, которая хотела сделать из меня бесплатную домработницу. Это было тяжелее, чем в лагере, морально, конечно. Никакого отдыха, никакого участия или внимания. «Дай!» «Принеси!» «Сходи!» Дочь называла меня бабкой и старой телегой и обращалась со мной соответственно. Завод в алтайской степи был отдыхом от Лины, но не отдыхом от лагеря. Я чувствовала себя смертельно уставшей.

При заводе был посёлок, там в бараках-полуземлянках жили итээровцы и рабочие. Грязь, пыль, пьянство, драки и ужасающая бедность. Чудовищное бескультурье. Это был ад. Я тоже получила комнату и тоже покупала у казахов вонючее грязное масло и ободранные баряньи тушки. За мной ухаживал спившийся инженер, часто валявшийся на улице в грязи. Секретарша директора, имевшая на него виды, из ревности напала на меня в автобусе и стала душить. Всю окровавленную случайные попутчики отбили меня и привели в Славгородский горком. Мне посоветовали уехать. Опять

Москва и Лина. Её драки с мужем. Развод. Ни дня покоя. Ни минуты.

– А дальше?

– А дальше вот, читай. Справка с Тамбовского котельно-механического завода. Я работала там на должности заведующей лабораторией. С ноября сорок восьмого и по конец апреля пятидесятого. Получила прекрасную комнату. Одевалась. Отдохнула. Мне сделал предложение один очень приятный человек, доктор наук, учёный. Человек с положением. Но я отказала. Это был человек из того мира, из которого я была вырвана с корнями и безвозвратно. Мир благодушной невинности, доверчивости и неопытности. Чуждый мне мир. Не только навсегда потерянный, но и в какой-то мере враждебный своим самодовольством и ограниченностью.

Нет, я хотела дождаться встречи с тобой, чтобы у нас речь понималась с полуслова и не нужно долго толковать, что к чему.

Так началась новая полоса – время отдыха. Но длилось оно недолго: наступил пятидесятый год, выбранный министром Государственной безопасности Абакумовым для всеобщей кампании выявления и отправки в лагеря всех бывших контриков, отсидевших срок. Около меня стала увиваться племянница директора, проверенный сексот. Начались провокационные разговоры. Меня охватил ужас, непонятный человеку, не испытывшему на себе все наши беззакония.

Анечка задумалась и замолчала.

– Гм... Ну, а дальше?

– Ужас происходил от неуверенности, от непонимания, что делать. Чувство растерянности – отвратительное чувство, его я особенно ненавижу.

Анечка стала печально собирать свои документы.

– Я была арестована неожиданно: из разговоров с провокатором мне были неясны намерения гпэзушников. Начались допросы, рёв, мат, оскорбления и угрозы. пытка игрой на нервах, пытка усталостью. Но по характеру вопросов я поняла, что у следователей нет плана в отношении меня, что они нащупывают возможность сколотить большое групповое дело, а я, как бывшая лагерница, им нужна только как отправное звено. Особенно их интересовали директор и всё руководство завода. И я поняла: угроза идёт с двух сторон – мне шьют групповое преступление и политику. Отсюда спасение: признаваться в одиночном преступлении и не по

58-й статье. Раз арестовали, то теперь жизни не дадут, и надо получить как можно меньший срок, и по бытовой статье.

Но как это сделать?!

В самый тяжёлый момент сомнений, нерешительности и растерянности меня вдруг освободили. Я вернулась домой полуживая. Соседка уже успела обокрасть меня, на заводе моё положение сделалось невыносимым, но из разговоров с разными людьми я вдруг поняла, где выход: у начальника лаборатории со всех сторон мужчины просят спирт. Просят нудно, настойчиво, мерзко... А что, если признаться в продаже спирта?! Я твёрдо отвергла пристаивания племянницы директора насчёт недовольства советской властью, но намекнула несколько раз о спирте и возможности хорошо заработать. Через месяц меня опять арестовали. Я гладко призналась в торговле спиртом на тамбовском базаре. На суде свидетели с пеной у рта доказывали, что этого никогда не было и не могло быть, что все книги записей и учёта опровергают это. Меня **спасали** изо всех сил, но я упорно признавалась в **продаже** одной бутылки спирта в целях личного обогащения, и по указу от 4 июля 1947 года получила семь лет как бытовичка, как друг народа. Слушатели и свидетели на суде недоумённо пожимали плечами, судьи и гэпэушники были довольны, но всех счастливее была я – поддержала начинание партии и правительства и включилась в массовый забой, при этом обеспечив себе максимум возможностей остаться в живых!

Я подхватил её мысль.

– Когда я, Анечка, вернулся из спецобъекта в Сибирь, то в Тайшете встретил бывших сиблаговцев и присутствовал при ежедневном прибытии в лагерь старых сусловских знакомых, которые отсидели срок по ежовскому и бериевскому наборам, освободились и теперь возвращались в лагерь по абакумовскому набору. Помнишь, Анечка, юриста, который заведовал вещевой каптёркой за зоной? Он освободился в Суслово, привезли его по второму набору в Тайшет, так сказать, по принадлежности – сиблаговца к сиблаговцам!

– Но меня послали не в Тайшет, куда собирали контриков, а на строительство Волго-Донского канала, куда подвозили бытовиков и шпану. Наши пути разделились: ты оставался врагом народа, а я перешла в разряд повыше, в вору, в друзья народа.

Анечка закрыла лицо руками.

— Ну, а что же было на канале имени В.И. Ленина? Да ты не дёргайся и не спеши! Говори спокойно! Дело прошлое, но мне надо знать. Не переживай всё снова, посмотри на эти годы как бы со стороны. Ну, успокоилась?

Лёжа на спине, Анечка заложила руки за голову, закрыла глаза.

— Рассказывать об исправительно-трудовом лагере трудно: каждый день это сто фильмов и одна захватывающая книга о человеческой подлости и геройстве. Верить в людей ещё более глупо, чем верить в бога. Но одно бесспорно — удивительное многообразие оттенков всех чувств, вскрываемых заключением, поразительное разнообразие поступков, на которые способен человек, когда с него спадают привычные пути так называемой культуры. Да ты ведь это сам знаешь, чего рассказывать.

Я киваю головой.

— Наука говорит, что первая стадия опьянения проявляется в освобождении инстинктов, Анечка. В этом состоянии освобождённых инстинктов и пребывают лагерники!

— Да! Попустительство начальства и его соучастие во всеобщем воровстве и казнокрадстве развязывают руки и заключённым. В лагере воруют все и все. Зачастую наносят большой вред государству без пользы для себя. Безнаказанность приводит к разнузданности. Люди теряют контроль над собой и идут на всё. Шоферы самосвалов на строительстве плотин сваливали камни на головы начальникам, рабочие толкали в шлюзы стрелков, за женщинами охотились, как за курами... Изнасилования и убийства в каждой зоне случались не ежедневно, но сведения о таких зверствах каждый день поступали из других зон, так что в общем всё вместе это создавало кошмарный фон жизни, бессмысленно-трагический.

Женщины совершенно теряли человеческий облик: на работе они шли с мужчинами в любые закоулки, солдаты вытаскивали их оттуда без юбок и трусов под дикий гогот строившихся или работавших бригад, но никакие самые ужасные оскорбления не действовали, потому что слова и действия потеряли смысл и перестали быть оскорблениями.

Что тебе рассказывать? Зачем? Ну, две девушки в жаркий день зашли на завод попросить воды, их изнасиловали, разрезали на куски и спрятали в груди конского волоса — он был нужен для прокладки паропроводов. Что тебе нужно? Даты? Фамилии? Оставь, это ни к чему!

Среди уголовников попадались и контрики. Я долго подкармливала одного музыканта из Сочи: его малолетнего сына задавили на шоссе проезжавшие в машине местные начальники. Подняв раздавленного ребёнка на руки, он стал орать им вслед проклятия. Собрался народ. Составили протокол. Приговор: десять лет. Но кто-то проявил мягкосердечие и направил осуждённого не к вам в Сибирь, а к нам, на строительство канала. Нужны ещё такие же факты? Я их могу сыпать сотнями.

Анечка перевела дух. Я молчал.

– День работы на канале засчитывался за три дня. Уголовники работали яростно – все ждали амнистии после окончания строительства. Я тоже бросилась в первую линию. Таскала камни, стояла по пояс в ледяной воде – ведь я прибыла в начале зимы. Потом стала отекать – сердце не выдерживало. Но я ходила, пока меня не сняли с работы часто приезжавшие начальники. Я насильно была переведена в лагерную хозобслужбу. Начала мыть полы, но начальник снял меня и с этой работы. Стала штопать телогрейки в портняжной мастерской. Среди проституток и воров я была одна человеком, и меня заметили начальник лагеря и опер – я не попадалась ни на воровстве, ни на проституции. Так я с муками добралась до ворот заводской лаборатории и вошла в неё, оставив позади здоровье, которое не вернуть.

Я отработала на канале два года.

Потом строительство закончилось, и 20 сентября 1952 года меня за «высокие производственные показатели и хорошее поведение» освободили досрочно и на два года оставили вольнонаёмным сотрудником, старшим инженером и начальником центральной лаборатории. 13 декабря сняли судимость. Мои расчёты оказались верными: я осталась живой и абакумовщину перенесла легче, чем сотни тысяч вторично осуждённых контриков. В единоборстве с Абакумовым я его перехитрила.

Канал имени В.И. Ленина вспоминается мне как кошмар. Пройдут годы. Мы, его строители, умрем, а будущие поколения даже не будут знать, как и какой ценой строились подобные сооружения. Канал имени Ленина и пирамида имени Хеопса будут существовать как памятники человеческой жестокости. Но их значение разное. Ты скажешь: пирамида бессмысленна и строилась давно и дикарями, а я отвечу, что полезное социалистическое сооружение в наше

время строить на крови и попрании в людях всего человеческого ещё постыднее и гаже...

Мы долго молчали.

– Ну, и как же тебе работалось в качестве вольного начальника?

Анечка устало показала бумажку.

– Прочти, если охота. Поселки вдоль канала находятся в пределах бесчинства урок, освобождающихся из заключения или ещё работающих в лагерях, но уже в качестве бесконвойников. Вольные посёлки там как в осаде, поездка на работу по степи в грузовике вместе с лагерниками и возвращение с работы – это приключение, это риск. Бесконвойники обслуживают вольные городки и ходят по улицам, они по разным поводам заходят в квартиры: это бытовое общение вольного человека с урками накладывает особый отпечаток на всю тамошнюю жизнь, на её стиль. Отвратительная похабная ругань, скажем, это бытовая неизбежность, она слышна с утра до вечера, дети растут под звуки мата. Урки предлагают и продают вольняшкам ворованное в колхозах и в лагере добро, они за водку выполняют разные хозяйственные поручения и работы, а оказав услугу, являются и в гости. Представляешь эту жизнь? На советских заводах все – любая услуга, любая работа – оплачивается спиртом, плата исчисляется в пол-литрах. Это общее правило для всей страны. Каково же было это видеть мне, по вине Абакумова сидевшей за пол-литра? Мне горько, очень горько вспоминать всё, что было.

После нескольких минут молчания я сказал, разложив старые фотографии по три в ряд:

– Смотри, Анечка, на самое удивительное в твоей истории – на способность человека восстанавливаться. Вот молодая русская женщина, а это кто? Её мать? Нет, это она же, но после первых пяти лет сибирских лагерей. А это кто? Молодая и игривая дочь той пожилой женщины? Опять нет, это тоже она, но после нескольких месяцев отдыха и работы на Тамбовском заводе. Кто эта баба-яга? Она же в период второго абакумовского призыва – какой ужас, а? Это её дочь или внучка? Нет, это она же, но после второго выхода из лагеря. Человек – как гармошка, растягивается и сжимается как угодно!

– Да... Советский человек – гармошка. Ты угадал. Шесть моих фотографий это доказывают. Мы выжили из сотен тысяч, из миллионов. Однако наши фотографии доказывают

не то, что выжить дано не всем, а что много хороших людей было убито зря и, главное, что всего этого не должно было бы быть. Наши фотографии – не наша личная гордость, а общественный укор.

Сложив документы и фотографии в конверт, Анечка опять вытянулась на спине и закрыла глаза. После долгого молчания заговорила:

– Разговор о моих мытарствах был бы неполным, если бы я не сказала ещё несколько слов о Лине. Лина терзала меня, как шакал терзает недобитую волками, ещё живую, но насмерть измученную лошадь: терзала телеграммами и письмами с требованием денег, терзала во время моих вынужденных приездов в Москву ради отчаянных поисков работы и в порядке выполнения служебных заданий: я должна была бегать по учреждениям, а она или заставляла выполнять для неё домашние работы, хотя сама нигде не работала, или ловила момент, когда я пойду купить себе чего-нибудь из одежды или белья, чтобы увязаться со мной и принудить покупать ей и детям вещи, по существу, лишние, «в запас». Да, после трёх арестов и двух заключений у меня осталось немного душевных сил для борьбы, она это учитывала и использовала для себя.

Однако останавливаться на этом будет несправедливо по отношению к ней и неинтересно для тебя – мало ли какие бывают дети и каковы их отношения с родителями. Но Лина – это продукт эпохи, её характер изуродован нашим образом жизни, а потому она – общественный тип, и о ней поговорить интересно с общественной точки зрения. Больше того, она – жертва, да, да, жертва тех же самых обстоятельств, которые измучили меня и тебя.

Василий Иванович, её отец, передал ей две черты своего характера – вспыльчивость и легкомыслие. По существу, неплохие черты, но они были приглушены и изменены к худшему последующими влияниями моей и ее жизни и положением всей страны. Я – инженер и люблю свою специальность. Не мыслю себе жизнь без работы на заводе. А ребёнок мало родить, его надо ещё и воспитывать, то есть прежде всего оберегать от дурных внешних влияний. Как это сделать, если каждый день я с утра до ночи вне дома и ребёнок воспитывается чужими, зачастую плохими и враждебными мне людьми? Я была недурна собой, хорошо зарабатывала и франтила вовсю, Сергей был моложе меня и тоже недурён собой. На общих кухнях в Ростове и в Киеве

все квартирные склочницы полагали, что, женившись на мне, Сергей ошибся, что каждая из них была бы для него более подходящей подругой. Девочкой Лина росла в их руках, основа её характера заложена на коммуналной кухне: дурные отзывы обо мне – это первое и главное, что она помнит из детских лет.

Потом в Москве она попала под влияние матери Сергея, которая меня терпеть не могла за непокорность, за то, что я старше мужа и зарабатываю больше его, и совершенно независимо держу себя по отношению к нему. Моё единственное приданое заключалось в ребёнке от первого мужа, в смене белья и в дипломе, а мать нашла Сергею невесту с большой дачей и хорошей квартирой – дочь царского генерала! Свекровь изо дня в день внушала подрастающей девушке, что Сергей был бы ей хорошим мужем, что я, по существу, украла у Лины её судьбу.

Сергей держал себя в отношении Лины мило, вежливо, он от природы был привлекателен, и Лина влюбилась в него и, соответственно, возненавидела меня. Борьба с ней доходила до нелепых и бурных ссор. Наконец, Лина выросла – и тут бы как раз и дать ей главное направление в жизни, создать возможность учиться, стать специалистом, как Сергей и я. Но нас обоих увели в тюрьму, и девушка осталась одна в богатой по московским понятиям квартире, в неустойчивое военное время крушения всех моральных запретов и торможения сдерживающих принципов.

Подвернулся дядя Петя, брат Сергея, и, чтобы обеспечить себе самому хорошее питание, устроил неопытную и добрую девушку в закрытую столовую для обкомовцев, с головой окунув её в омут воровства, комбинаций и торговли из-под полы, для того чтобы самому урвать от добычи немалую долю. Тут-то и сформировался окончательно и бесповоротно характер шакала и наглого хищника. Она – дитя воровской вакханалии на складах и базах: вышла замуж за вора, который должен был безнаказанно воровать для обкомовцев, попутно, конечно, не забывая и себя. Безнаказанность, пьянство и сознание своего привилегированного положения заведующего пищевым складом в голодное время сделали из этого, по существу неплохого человека и специалиста (Милашов был строительным техником), хулигана, наглеца и негодяя. Я поняла, что Лина попала на дно ямы, и начала войну против разграбления нашего имущества и за развод. Ты можешь представить себе, чего мне это сто-

ило – мне, приезжающей на считанные дни, женщине без права жительство в Москве, фактически нищей и бесправной, бывшей лагернице? Но я ценой нечеловеческих усилий добилась своего. Милашова я выгнала, Лина стала студенткой Автодорожного института, всё повернулось как будто бы на хороший путь. Но тут новый арест и срок. Естественно, что Лина бросила всё и вернулась в ту же гнилую среду жуликов и комбинаторов. Затем вышла замуж за неплохого человека, фронтового калеку и пропойцу. Появился второй ребёнок. Лина теперь – толстая энергичная женщина, пройдоха с манерами базарной торговки, ловкий комбинатор, безжалостная хищница и моя завистница и ненавистница.

А кто же виноват? Разве она – не продукт эпохи и не жертва, ну, скажи?

Чтобы закончить о ней, расскажу один эпизод – он ярко и показателен, прост и понятен, как выведенное яйцо.

Когда я вернулась домой в первый раз с бумагами лагерницы, лишённой прописки, то есть без права пребывать в Москве, с Милашовым сразу же вспыхнула жестокая ссора – он разгадал во мне врага, который может поставить под угрозу его привольное житьё. Поздно вечером, после жаркой перепалки, он оделся, шепнул Лине на ухо несколько слов и вышел погулять якобы для того, чтобы остыть перед сном. Потом мы легли спать. Ночью явилась милиция, вытащила меня из постели и выбросила на улицу – с ведома и согласия Лины Милашов меня выдал. Пока я одевалась, они лежали, нежно обнявшись, Лина положила голову на его плечо, на ее губах играла блаженная улыбка счастья.

Эта улыбка была последним, что я увидела, закрывая за собой дверь. Я ее помню и теперь и никогда не забуду! Это выше моих сил.

– Успокойся, Анечка! Давай поговорим о другом.

– Нет, я не закончила рассказ об одном эпизоде моей жизни. Мне нужно было искать работу, то есть бегать по учреждениям, а без прописки работу не дают. Как же быть? Я на улице дождалась рассвета и с первым поездом уехала в Наро-Фоминск – говорили, что там, за 100 километров от Москвы, можно найти квартиру с пропиской. Но у меня не было денег, да и как искать бывшей лагернице квартиру в чужом городе?! К полудню я изнемогла от бесплодных поисков, в отчаянии свалилась на скамейку в скверике напротив станции.

– Эй, гражданка, – услышала, как сквозь сон. – Вам плохо?

Открываю глаза – надо мной склонился немолодой майор с простым, некрасивым, но добрым лицом. Он стал участливо поднимать меня. От полного бессилия и отчаяния я горько разрыдалась и рассказала ему свою историю.

– Надо помочь, но как – не придумаю! – пробурчал он, теребя небритые щёки. – Пойдите! Нашёл! Вы – Иванова, и я Иванов – видите, какая удача, – я пропишу вас как свою сестру! Только подождите, сейчас прибывает моя невеста! Надо ей всё чистосердечно рассказать и объяснить! Она поймёт! Она хорошая!

Какие смешение, горе, страх и замешательство вспыхнули в глазах измученной длинной дорогой молодой женщины, когда жених стал объяснять ей, что надо прописать в их комнатке незнакомую однофамилицу в качестве сестры. Какое невероятное усилие сделала над собой эта женщина, чтобы понять и принять! Майор сидел на скамеечке и говорил, а мы жались к нему и рыдали. Потом втроём пошли прописываться и втроём вернулись на вокзал: они усадили меня в вагон, счастливую до безумия, и пожелали счастья, и я уехала.

Как же не быть счастливой, когда твёрдо знаешь, что среди злых и бесчувственных негодяев рядом с тобой, плечо к плечу, шагают добрые, отзывчивые и благородные люди?

Но время шло. Начался пятьдесят седьмой, трудный год отчаянных усилий, тревог, унижений и мучительных разочарований.

Бесконечная волокита с материальной помощью шла своим чередом и конца ей не было видно. Прошло немало времени после того, как с меня потребовали доказать, что я действительно когда-то работал в ИНО, но я получил доказательства от самого же КГБ. Тогда потребовали доказать инвалидность. Доказал. Встал вопрос о пенсии. Тут-то и начались затяжки: «Позвоните месяца через полтора». Звонил. «Позвоните месяца через два». Звоню. «Вопрос разбирается. Ваш адрес у нас есть. Ждите».

Так прошло два года. Вышло новое положение о пенсиях. Из собеса на общих основаниях я как бывший сотрудник Всесоюзной Торговой палаты без хлопот получил пенсию в размере 1100 рублей в месяц. И только тогда дело в КГБ было решено, меня поздравили с пенсией в 600 рублей. Молча я повесил трубку.

Но особенно показательным было течение дела о золоте. Я подал заявление на имя министра Госбезопасности. Месяца через три ответ: «Нужно свидетельское показание». Достал. Через три месяца ответ: «Нужно три показания». Послал. Через четыре месяца ответ: «Необходимы показания бывших сотрудников ИНО». Послал. Ответ: «Нет, не бывших, а настоящих». Добыл и послал. Ответ: «Нет, не вообще сотрудников, а тех, кто в момент ареста находились в комнате и своими глазами видели, что золотые вещи были действительно у меня отобраны».

Тьфу! Я плюнул и закрыл дело о «жёлтом металле».

Ниже привожу тексты нескольких заявлений этого несчастного времени. Следует обратить внимание на даты – я писал заявления по нескольку за раз, как будто бы стрелял залпами. Читая их, необходимо учитывать, что каждая бумажка до и после подачи сопровождалась десятками звонков, несколькими свиданиями и десятками часов мучительного ожидания в очередях различных приёмных: короткие словечки «они потребовали» и «я послал» не дают правильного представления о технике прошибания большой человеческой головой каменной кладки бюрократических стен социализма эпохи его перехода в коммунизм. Кое в чём я приукрашивал положение дел, например, не упоминал, что жена и мать покончили собой: я помнил восклицание полковника в Кратово: «Воображаю, как вы всех нас ненавидите!» – и боялся, что правда слишком восстановит сталинистов против меня.

Поэтому, как это ни странно, окончательный отказ у измученного просителя вызвал тогда не взрыв ярости, а вздох **радостного** облегчения.

Председателю Совета Министров СССР
Булганину А.Н.

от Быстролетова Дмитрия Александровича
прож. в Москве Б-66 по Ново-Басманной ул.
дом 37, кв. 4, телефон Е-7-41-88

Заявление

1. С 1925 по 1938 г. я работал в ИНО ОГПУ – ГУГБ НКВД на подпольной работе за рубежом в качестве оперативного работника. На руках у меня остались: 1) Выписка из сов. секр. приказа Коллегии ОГПУ за №1042 от 1932 г. о награж-

дении «за успешное проведение ряда разработок крупного оперативного значения и проявленную при этом исключительную настойчивость». 2) Грамота №1 Коллегии ОГПУ «Сотруднику ИНО ОГПУ». 3) Профсоюзный билет и учетная карточка коллектива 7 профкомитета НКВД от 1936 г. с пометкой от 1937 г. о выбытии из профсоюза как военнослужащего в связи с аттестацией и получением звания ст. лейтенанта гос. без. (аттестация не была оформлена вследствие моего ареста в 1938 г. и осуждения).

Ясно, что архивные дела XX сектора ИНО больше и лучше показывают объем и значение моей работы за рубежом в фашистском окружении и проявленные при этом храбрость, самоотверженность и политическую выдержку. Проживающая в г. Москве (Усачевка, ул. Кооперации дом 3, корп. 6, кв. 109, тел. Г-5-51-78) тов. Мартынова О.И. может во всех деталях рассказать о моей работе и указать на подтверждающие это документы, так как она все эти годы была пом. начальника XX сектора.

2. На основании вышеизложенного после реабилитации начальник 3-го отделения Отдела кадров КГБ выдал мне справку о работе на ответственной должности в центральном аппарате ОГПУ-НКВД. Так как нельзя раскрывать, что в 1925–1929 гг. для легализации нелегальной разведывательной работы я формально числился сотрудником Торгпредства, а с 1930 г. находился в глубоком подполье и жил в разных странах под чужими фамилиями, то с моего полного согласия было решено, что работа в 1925–1929 гг. будет покрыта фиктивной справкой из Наркомвнешторга, а работа в 1930–1938 гг. – фиктивной справкой КГБ о работе в центральном аппарате ОГПУ-НКВД в Москве в качестве старшего переводчика с окладом в 1900 рублей в месяц. Обе эти справки явно и резко занижают значение моей подпольной работы, но все же справка Отдела кадров КГБ бесспорно устанавливает факт, что 1) я б. работник центрального аппарата ОГПУ-НКВД и 2) что я в этом аппарате занимал ответственную должность (не ниже оперуполномоченного).

3. Я инвалид 1-й группы, совершенно не трудоспособный. С марта 1956 г. тянется волокита с предоставлением мне комнаты взамен незаконно отобранной при аресте, а между тем я вынужден платить 400 рублей в месяц за кладовую при кухне, чтобы иметь прописку и состоять в очереди на комнату.

В качестве компенсации за конфискованное имущество я получил 3600 рублей за 88 ценных вещей: производившие арест и опись работники НКВД намеренно отметили только количество вещей, но не их качество, для замены их затем тряпьем и воровства, а в 1956 г. финотдел, не зная качества, назначил минимальные расценки (например: первоклассные костюмы пошли как рабочая спецодежда по 120 рублей каждый, кроме того, играя в разных странах роль аристократа, я купил себе золотые часы с золотым браслетом, ценное золотое кольцо, массивный золотой портсигар с графским гербом и другое. Эти вещи при аресте были отобраны, а расписки выданы «липовые», без корешков. Мать покончила с собой, жена скончалась от скоротечного туберкулеза, квартиру во время войны разграбили соседи, а теперь КГБ отказал в компенсации за золотые вещи из-за отсутствия корешков, хотя 5 б. сотрудников ИНО письменно подтвердили наличие у меня этих вещей и их исчезновение после ареста, конфискации имущества и опечатания квартиры.

Больной, бездомный и разоренный, я обратился в КГБ с просьбой о пенсии. Мне отказали под разными предложениями, и когда я опровергал одно основание отказа, то Отдел кадров придумывал другое, из месяца в месяц затягивая бесконечную волокиту. В надежде, что я не получу инвалидность, меня даже послали на ЦВЭК КГБ, но ЦВЭК признала меня неизлечимым инвалидом, а пенсии все-таки не дали.

4. Я обратился к Вам с просьбой помочь в получении пенсии через Комиссию по назначению персональных пенсий при СМ СССР. Тов. Андреев разобрал дело и договорился с тов. Серовым о том, что КГБ обратится в Комиссию с ходатайством о предоставлении мне пенсии как б. подпольщику ИНО, не прошедшему аттестации. Но дело попало в руки того же аппарата Отдела кадров КГБ: Отдел кадров известил меня, что обращаться в Комиссию не следует, что Отдел кадров сам поможет мне. И действительно, инспектор отдела кадров тов. Шулюпов после стольких месяцев проволочек сообщил мне радостную весть: дело разобрано, я получу персональную пенсию в размере 600 рублей, т.е. меньше, чем в общем порядке дает собес по справке того же Отдела кадров. Я назвал это издевательством и с обратной почтой получил окончательный отказ: Отдел кадров считает, что я заслужил только пенсию местного значения, хотя это не законно и по форме (работа старшим переводчиком Министерства с окладом 1900 рублей в месяц) и

по существу (работа в подполье за рубежом). Однако, стремясь во что бы то ни стало доказать правильность своих поступков, тов. Шулюпов прибегает к таким мерам, которые вынуждают меня снова обратиться к Вам за помощью в восстановлении истины и с решительным и категорическим протестом против слов человека, который докладывает руководству о моем деле и от объективности которого зависит решение: тов. Шулюпов пытается бросить тень на мое прошлое и не стыдится вытаскивать из архива в 1957 г. подлую клевету, которую отказался повторить в 1938 г. даже ежовский следователь. Делая страшные глаза и, разводя руками, он заявил б. пом. нач. XX сектора ИНО тов. Мартыновой: «А вы знаете, кто такой этот Быстролетов?! Ведь он – бывший белый, он только в 1924 г. получил за границей Советское гражданство!!!»

5. Я родился в 1901 году. Согласно имеющемуся у меня свидетельству за № 390 от 1922 г., выданному Анапским мореходным училищем, я летом 1919 г. при Деникине окончил курс мореходной школы и был зачислен в 1-й специальный (штурманский) класс, для учения в котором нужно предварительно проплавать матросом 24 месяца на торговых судах. У меня уже был стаж около 12 месяцев, и в июле 1919 г. я поступил на пассажирский пароход «Рион» для окончания стажа и продолжения образования в училище. Однако в конце 1919 г. я был уведомлен, что 3 января мне исполнится 19 лет и я буду призван в белую армию. Вместе с группой советски настроенных матросов мы пробрались в народно-революционную Турцию, где шла борьба против англо-французских интервентов. С января 1920 г. по 7 сентября 1920 г. я плывал кочегаром на пароходе «Фарнаиба», а с 7 сентября 1920 г. и до разгрома белогвардейцев – на шхуне «Пр. Сергей». Все справки хранились в XX секторе ИНО у тов. Мартыновой, но после моего возвращения в Москву с подпольной работы были выданы мне на руки, при аресте изъяты, я их видел у следователя, а потом они частью потерялись, а частью возвращены после реабилитации. Сохранилась справка из Школы, где я учился при белых до лета 1919 г., сохранилось удостоверение с «Пр. Сергия»: в нем особо подчеркнута, что с 7 сентября 1920 г. я плывал в Анатолии (у национально-революционных кемалистов) вплоть до 18 ноября 1920 г. (когда были уничтожены врангелевцы). Таким образом, видно, что при белых я был юношей 18 лет, учился в мореходной школе и плывал на торго-

вых судах в то время, когда на Кавказе и в Крыму были белые, вплоть до их разгрома и уничтожения. Я не отрицаю того, что зимой 1919 г. бежал за границу и только в 1924 г. получил Советское гражданство: наоборот, я всеми силами подчеркиваю этот факт, доказывающий, что я не служил у белых – ведь нельзя же быть одновременно в двух странах! Именно служба у белых не совместима с фактами моей биографии, а в бегстве от призыва к белым мне перед Советской властью оправдываться нечего.

Как же возник миф о моей службе у белых?

6. В ноябре 1934 г. я был вызван в Москву для личного доклада руководству о своей работе за рубежом. К моему приезду пришло из Анапы письмо от матери: она сообщала, что начальник гор. упр. ГУГБ Соловьев решил занять дом, в котором она имеет комнату, и выселяет ее вон. Я взял от нач. ИНО ГУГБ тов. Слуцкого письмо и поехал в г. Анапу к матери. Соловьев как раз в день моего приезда приступил к выселению жильцов; я передал ему письмо Слуцкого, выгнал из комнаты присланных Соловьевым людей, а с самим Соловьевым, который в этом городишке держался как царь и бог, имел резкую стычку. Тронуть меня он не посмел, и квартира осталась за матерью, но, когда я в 1937 г. вернулся в Москву, начальник XX сектора показал мне полученную из Анапы толстую папку с надписью «ББ» (бывший белый): это Соловьев расквитался со мной за свое поражение на квартирном фронте – собрал через свою агентуру «материалы» (вроде того, что в возрасте 13 лет я в школе якобы состоял в организации бой-скаутов), и щедро дополнил их показаниями лжесвидетелей о том, что я служил в белой армии. Я потребовал следствия, представил тов. Слуцкому исчерпывающие документы и свидетельские показания (свидетель Кавецкий Е.И. жив и сейчас проживает в г. Львове): месяц за месяцем была освещена моя жизнь в 1919–1920 гг., и тов. Слуцкий объявил, что считает материал Соловьева клеветой и разрешает уничтожить папку. Но начальник сектора Гурский не выполнил распоряжение Слуцкого – это было кошмарное время, над всеми висел ужас ожидания ареста, все были заняты только собой: вскоре скоропостижно скончался Слуцкий, были арестованы его заместители, погиб Гурский, и, наконец, был арестован я. Следователь злорадно показал мне сохранившуюся папку, но потом сверил ее с моими документами и отказался от этого вранья, а в дело вставил только «правду» о моем поступлении в

бой-скауты в 13-летнем возрасте. Верховный Суд вычеркнул это смехотворное обвинение, и в приговор из толстой папки Соловьева совершенно ничего не попало. Таким образом, ежовский следователь в 1938 г. оказался разумнее и честнее, чем инспектор Отдела кадров КГБ в 1957 г.!

7. Следователь с уважением отозвался о моей подпольной работе, я ничем не замарал ее: он составил детскую сказочку о вербовке **до** работы в ИНО и **после** нее. Тов. Шулюпов не только предвзято настроен против б. работника ИНО, который самоотверженно работал в подполье, ежеминутно рискуя собой: самое главное в том, что этот инспектор по кадрам не имеет представления о подпольной работе, а потому и не ценит ее. 13 лет во вражеском окружении он не считает геройством и полагает, что честный советский человек, патриот, коммунист и чекист может равнодушно забыть эти заслуги только потому, что тысячи раз на деле проверенный человек в далекой юности **якобы** на несколько месяцев был мобилизован рядовым к белым.

А между тем тов. Шулюпов будет докладывать о моем деле, и именно в зависимости от его доклада будет вынесено решение о предоставлении мне пенсии.

Как можно ожидать от него объективности, внимания и чуткости? Разве не ясно, какой ответ он подскажет своему начальнику?

Я прошу Вас еще раз поговорить со мной, выслушать мои объяснения и только тогда переговорить с руководством КГБ о направлении в Комиссию по персональным пенсиям ходатайства КГБ о назначении мне пенсии.

15 января 1957 г.

Д. Быстролетов.

Председателю Комитета Государственной
Безопасности при СМ СССР
Генералу армии СЕРОВУ И.А.

от Быстролётова Дмитрия Александровича
прож. Москва, Б-66,
ул. Ново-Басманная, дом 37, кв. 4

Заявление

22 февраля 1956 г. я был реабилитирован и в начале марта обратился в Моссовет с просьбой о предоставлении

мне комнаты взамен сданной в Жилищный фонд после ареста. Все документы были у меня в порядке, и я был уведомлен, что, согласно Постановлениям Совета Министров о реабилитированных, мне в срочном порядке предоставят жилплощадь.

Я совершенно не работоспособный инвалид 1-й группы и получал пенсию в размере 301 руб. До октября месяца я ночевал на табурете на кухне у знакомых, а днём просиживал в музее Ленина. После увеличения пенсии я нанял чулан, за который плачу 400 руб. в месяц. Хозяйка требует увеличения квартплаты, и в феврале сего года я заплатил 450 руб., а за март должен платить 500 рублей.

Со мной проживает моя жена, инвалид, реабилитированная. Деньги, выплаченные мне в порядке компенсации за конфискованные вещи, мы уже потратили и дальше существовать не можем.

Убедительно прошу Вашего распоряжения, чтобы кто-нибудь из сотрудников аппарата КГБ по телефону напомнил Начальнику жилотдела Бауманского райсовета тов. Анохину о бедственном положении быв. сотрудника и о необходимости ускорить предоставление комнаты, а также учесть при этом полную инвалидность мою и моей жены.

8 февраля 1957 г.

Д. Быстролётов.

Председателю Комитета Государственной
Безопасности при СМ СССР
Генералу армии СЕРОВУ И.А.

от Быстролётова Дмитрия Александровича
прож. Москва, Б-66,
ул. Ново-Басманная, дом 37, кв. 4

Заявление

Настоящим прошу Вас о предоставлении мне пенсии как бывшему сотруднику ИНО, работавшему в подполье за рубежом, осуждённому и реабилитированному.

1) Я в подтверждение настоящего заявления ссылаюсь на архивы ИНО, на имеющиеся у меня подлинные документы, а также на свидетельские показания быв. сотрудников ИНО, в частности на тов. Мартынову А.И., которая многие годы исполняла должность помощника начальника XX сек-

тора, где я работал. Подробности относительно моей работы изложены в нескольких заявлениях, поданных на Ваше имя.

Не являясь аттестованным кадровым работником, я прошу о пенсии потому, что в течение 13 лет выполнял ответственные задания и многократно рисковал жизнью для Родины.

2) Если по формальным причинам предоставление мне пенсии невозможно как неаттестованному, то прошу направить ходатайство в Комитет по предоставлению персональных пенсий при СМ СССР для назначения мне пенсии по гражданской линии.

8 февраля 1957 г.
Д. Быстролётов.

Председателю Комитета Государственной
Безопасности при СМ СССР
Генералу армии СЕРОВУ И.А.

от Быстролётова Дмитрия Александровича
прож. Москва, Б-66,
ул. Ново-Басманная, дом 37, кв. 4

Заявление

Находясь на подпольной работе за рубежом, мне приходилось неоднократно выдавать себя за аристократа или буржуа. Поэтому в интересах дела я приобрёл несколько золотых вещей: массивный золотой портсигар, золотые часы с золотым браслетом, золотое кольцо и др. Эти предметы были хорошо известны сотрудникам ИНО. При аресте они были отобраны, я получил временную квитанцию, но корешок был вырван, и, таким образом, никаких следов в архивах не осталось.

После реабилитации 5 сотрудников ИНО и 2 моих хороших знакомых дали письменные, заверенные у нотариуса свидетельские показания, что означенные вещи у меня действительно были, что они золотые и что они отобраны при аресте теми сотрудниками, которые увезли из дома и меня самого. Несмотря на то что среди свидетелей находятся быв. помощник Начальника сектора, где я работал, а также и другие ответственные лица, мне было отказано в компенсации. Вначале сомневались, были ли у меня эти вещи, потом – были ли они золотыми, затем – были ли они отобра-

ны. Когда я давал какие-нибудь доказательства, изобретался новый отвод; в конце концов КГБ затребовал от меня свидетельства, что все 5 свидетелей в ночь моего ареста присутствовали при нём лично и своими глазами видели, как арестовавшие меня сотрудники НКВД изъяли указанные ценности (!!!).

Убедительно прошу Вашего распоряжения о денежной компенсации за изъятые у меня золотые вещи – портсигар, часы, браслет и кольцо, – расписка на которые мною потеряна в заключении, а корешок преднамеренно вырван сотрудниками ГУГБ.

8 февраля 1957 г.
Д. Быстролётов.

Председателю Комитета Государственной
Безопасности при СМ СССР
Генералу армии СЕРОВУ И.А.

от Быстролётова Дмитрия Александровича
прож. Москва, Б-66,
ул. Ново-Басманная, дом 37, кв. 4.

Заявление

Согласно Постановлению Совета Министров СССР, реабилитированным полагается в качестве единовременного пособия выплатить 2-месячный оклад по ставке на день реабилитации.

ОК занизил выполняемую мной до ареста работу и выдал справку о том, что я занимал должность старшего переводчика Отдела переводов с окладом 1900 руб. в месяц. По этой заниженной справке мне полагалось получить пособие в сумме 3800 рублей.

Тем не менее мне выплатили только 3000 руб., мотивируя это сначала удержанием подоходного налога, а потом тем, что неаттестованные не имеют права на получение пособия после реабилитации, и, наконец, тем, что Вами якобы издано распоряжение не выдавать реабилитированным быв. сотрудникам более 3000 руб.

Все эти доводы явно несостоятельны: налог с пособия не удерживается, да и не составлял 800 руб. с 3800 руб., пособие выдаётся независимо от аттестации всем реабилитированным.

литированным, и ограничения суммы пособия для быв. сотрудников ИНО не было и нет.

Прошу Вашего распоряжения отделу кадров выплатить мне 800 руб.

8 февраля 1957 г.
Д. Быстролётов.

В связи с этими хлопотами я добился свидания с двумя ответственными бюрократами. Свидания показались мне очень типичными, и о них стоит рассказать.

Начальник ИНО принял в штатском. Розовый, холёный, он во время разговора играл собственными ногтями. Они были отлично обработаны маникюршей. Небрежно следя за их розовым блеском, барин в великолепном костюме мне вещал с высоты несколько приподнятых начальственных стола и кресла общепринятые истины:

– Вы всё говорите о деньгах, товарищ Быстролётов... Деньги, деньги... Конечно, деньги – нужная в жизни вещь, но ведь не в них главное. Мы, советские люди, партийные и беспартийные, думаем не о деньгах, а о коммунизме и Родине. Вы понимаете? Нас движет вперёд великая идея, и только она может дать нам удовлетворение жизнью. Вы в своё время хорошо работали – честь вам и слава! Но ваше гордое сознание о проделанной работе у вас никто не отнял и не мог отнять. Не правда ли? Оно при вас всегда и останется до смерти. А это – самое главное в жизни. Гордитесь и будьте довольны.

Барин угостил меня проповедью, но отказал в помощи.

Начальник административно-хозяйственного отдела был, как и полагается тыловику, одет в полевую форму, гимнастёрку с зелёными железными пуговицами и при ремнях. Правда, стальной каски не было, но она хорошо виделась глазами моего воображения. Движения резкие. Речь отрывистая.

– Мы не можем бросаться деньгами по справкам и свидетельским показаниям. Понятно? Если будем давать деньги одним нашим сотрудникам по свидетельским показаниям других, то в государственной кассе не хватит денег. Поняли?

Перед барином из ИНО в своём потёртом тряпичном костюмчике я сидел с опущенной головой. Мы просто не понимали друг друга: ободранные нищие, Анечка и я, и сытые мещане – Лина и Клара, и барин-генерал: советское общество уже давно расслоилось на четко отделенные друг от

друга группы, каждая из которых имела свой особый уклад жизни и свое собственное миросозерцание.

Ни Лина, ни барин не были извергами. О, если бы это было так! Тогда можно было бы посчитать их исключениями и верить в единство народа, строящего коммунизм; можно было бы простить Сталину сознательное искоренение революционной монолитности и посчитать, что с ним все кончено. Но Лина и генерал были типичными фигурами бюрократически расслоенного общества, они были приговором советской судьбе, и, пряча под столом грязные руки в обшлага, я печально думал о непоправимости происшедшего.

Партийный барин-генерал и обывательницы – они тоже законные наследники Сталина. Из Мавзолея их не вынесли и не вынесут: руки коротки!

Слушая второго генерала, я едва удерживался от смеха: как он хорошо знал свою среду!

Когда перед войной Микоян в первый раз побывал в Скандинавии и посмотрел на роскошные столы с холодной закуской, без присмотра и obsługi установленные в отдельных комнатах ресторанов для того, чтобы посетитель сам вооружился тарелкой, вилок и ножом, взял понемножку с каждого блюда и бросил монету на тарелочку у двери, то в Москве были сделаны опыты – буфеты без obsługi были организованы в Большом театре и в других местах, в частности, в Главном управлении госбезопасности. Затея блестяще провалилась! Продукты разворовали, и через несколько дней буфетчицы уже зорко следили за руками строителей социализма. Я слушал бравого генерала и думал, что он дьявольски прав, но при Сталине маленький доносик мог бы обеспечить ему бесплатную поездку в места, откуда я вернулся...

Понуриив голову, я мысленно улыбался и был благодарен генералу за свою улыбку!

Ещё до моего возвращения из Александрова Анечка встретила в приёмной Военной прокуратуры СССР Б.В. Майстраха – он подкрался сзади и чуть не со слезами обнял её за плечи. Это была приятная встреча – много воспоминаний об умерших, много радости, потому что кое-кому всё же довелось живым выбраться из могилы. Потом встретилось немало знакомых по лагерю людей, бывших контриков сталинского времени. Но не всякая встреча была приятной, потому что многие люди, невинно заключенные в лагеря,

вели себя там недостойно. Кое-кто, зная за собой грехи, намеренно сторонился нас, кое-кого мы отшили от себя сами, напомнив им их небезупречное прошлое.

Я встретил Баркова, бывшего начальника Протокольного отдела НКВД и проверенного доносчика из тайшетского Озерлага, – его поселили в доме писателей, очевидно, в целях наблюдения за жильцами, а если понадобится, то и для провокации.

Анечка встретила Тамару Рачкову... Воля сделала чудеса, она опять перевернула жизнь, стоявшую в лагере кверху ногами, и всех поставила на свои места: недоучка, бывшая в лагере царицей, Тамара стала опять только недоучкой; великосветская куртизанка Леля Монахова, в голодный год кормившая сливочным маслом своего котенка, опять превратилась в замызганного агронома...

Мы всегда утверждали, что безвинное заключение ещё не делает человека хорошим; нужно знать, как он держал себя в загоне. Поэтому мимо рачковых и барковых мы гордо прошли, не ответив на поклоны.

Знай, сверчок, свой шесток!

Приятно было только сознание, что мы дожили до времени, когда в Москве стало модно и выгодно называть себя контриком!

Кто бы это мог подумать, а?!

Тут нелишне вспомнить ещё об одной встрече. У станции метро мы заметили лежавшего на клумбе цветов мертвеца пьяного человека, облёванного и мерзкого. Проходившая старуха даже плюнула в него. Анечка пригляделась – Борис Григорьев, член нашего кружка в Суслово! Человек, прикасавшийся к Шёлковой нити! Потом мы встречались не раз, он бывал у нас и рассказал свою историю, которую я коротко передам здесь – уж очень она характерна для своего времени.

Григорьева вызвали из Суслово в Москву на конкурс художников-архитекторов. Поместили на работу в закрытую мастерскую. Там он подружился с девушкой, такой же, как и он сам, бывшей студенткой архитектурного института и контриком. Они дали слово пожениться, если выйдут живыми из заключения. «Мы были очень счастливы, – повторял Григорьев... – Счастливее многих миллионов вольных людей». Срок у них кончался почти в одно время, оба были москвичами. Казалось, жизнь поворачивается к ним хорошей стороной, планам не было конца, осталось только дожидаться

близкого освобождения. Но тут, у порога свободы, она заболела вирусным воспалением лёгких и умерла, а его за полгода до освобождения неожиданно перебросили в Сибирь на **вольное** поселение после отбытия срока, в глухую деревню близ реки Васюган. В холодный день от пристани этап шёл пешком под проливным дождём. Одни мужчины-«краткосрочники». Пришли еле живые. Конвой усадил людей в грязь и вызвал население деревни. Оказалось, что тут живут одни женщины – мужчин или перебили на фронте, или они не вернулись в колхоз после демобилизации.

– Выбирайте женихов, бабы! – хохотали солдаты.

Первой вышла выбрать себе сожителя председательница, молодая рябая женщина. Осматривала сидящих в грязи мужчин, как скот. Подошла к Григорьеву.

– Ну, ты! Поднимай голову, слышь! Смотри сюды, не отвёртывайся, гад! Сколько годков? А? Ну, ладно, беру. Эй, начальник, запиши за мной этого белявого, он вроде мо- ложе и из себя получше!

– Так я стал подневольной наложницей этой стервы, – опустив глаза, говорил Григорьев, надрывно пыхтя сигаретой. – Кормила она меня по тем временам неплохо, крала из колхоза, что могла. В любви была зверем. Я её возненавидел. Да что там рассказывать... Чувствую – ещё месяц-два и её зарежу. При обходе оперуполномоченного подал заявление, что прошу отправить в Заполярье на поселение. Опер начал было отговаривать, потом понял. Со следующим этапом потащили меня в Норильск. Да, теперь пью, Дмитрий Александрович. Пью крепко, это верно. Так ведь и причины же были – без них в жизни ничего не бывает...

В это же время нас нашли Лида Малли, Ольга Исурина и Женя, их сестра. Было приятно встретить людей, с которыми шёл по лезвию ножа в Лондоне, Париже и Берлине, но я помнил Раджабова и его рассказ и понимал, что срок в 3 года, литературную бытовую статью и досрочное, через полтора года, освобождение Лида и Ольга могли получить только за какие-то услуги: сталинские чекисты были не особенно щедрыми людьми!

– Дима, я голодна! – кричала с порога Лида и начинала бесцеремонно опустошать наши скудные запасы. А потом решила женить меня на себе. Действовала грубо и прямо: Анечка была изнемогающей от непосильного труда нищей, а у Лиды ещё оставалось 48 000 рублей, полученных после реабилитации в качестве компенсации: как-никак она была

женой генерала, старого чекиста. Анечка не жаловалась и молча страдала.

Так прошла зима пятьдесят седьмого года. Началось лето и жара. У чанов с кислотой работать стало трудно. Анечка не могла искать другую работу – не было времени: она приходила и падала на постель в изнеможении. У неё началась жестокая гипертоническая болезнь; жестокая потому, что каждодневно условия труда на заводе и условия быта в доме создавали постоянное внутреннее напряжение. Анечка разрывалась на части, пытаясь заткнуть дыры в бюджете и отразить бесконечное тьяканье и рывки человеческого шакаля, среди которого мы жили. Она не похудела и выглядела не очень плохо, как все гипертоники, но болезнь быстро прогрессировала. И однажды ей пришлось из-за боли в затылке остаться дома. Потом ещё. Ещё. Она стала плохо видеть, неуверенно ходить. А кислотные ванны не ждали – работа требовала присутствия на заводе, от этого зависел заработок и, значит, наша жизнь. В это время я ещё не мог работать и по-прежнему висел у неё на шее. Она пока с трудом сама держалась на поверхности и поддерживала меня. Но нужно было получить ещё один удар посильнее, чтобы пойти ко дну.

И она его получила.

На радиозаводе в больших количествах требуется спирт для промывания электродов. Количество спирта легко определяется количеством электродов и порядком их мойки. Между тем начальник электролитного цеха, бывший сталинский чекист, которого при Хрущёве выгнали с работы, выписывал его бочками, без всякого соотношения с действительными потребностями. А спирт на заводах – единственная принятая в обращении монета: за спирт делается всё – кладовщик без требования выдаёт материал, вахтёр без осмотра пропускает с завода. Спирт – это прочное основание всех злоупотреблений. Незаконно получаемый, ненужный в производстве спирт стал употребляться начальством на постройку и отделку своих квартир и дач, для изготовления мебели и комнатного оборудования и на всякие иные личные нужды, потому что спирт – это лес, металл, лак и разные другие дефицитные материалы, но прежде всего – внеплановый труд рабочего. На заводе возникло оживленное производство **налево**. Попивало начальство, попивали с его ведома и рабочие, ибо в коллективе нельзя воровать, не делаясь с другими: пьёшь сам – налеи и сви-

детелям. А где водка, там и разврат. На заводе открылись укромные уголки, специально приспособленные для десятиминутных свиданий.

Летом начальник цеха ушёл в отпуск, и Анечка выписала спирт по норме. Когда бывший чекист вернулся, он устроил скандал и выписал спирт в прежнем количестве. Бухгалтерия запротестовала – побоялась контроля. Возникло напряженное положение: рушилась основа привольного жителя-бытья.

Но старый сталинский служака не растерялся. Он отвинтил окуляр с одного импортного прибора, вложил его в сумку Анечки и поднял крик, что инженер Иванова вывела из строя дорогостоящее оборудование.

Всё было подготовлено заранее: прибежали парторг и профорг, собутыльники и сообщники, разъярённые угрозой их блаженному бытию, и потребовали немедленного обыска. При рабочих сумку Анечки обыскали и... ничего не нашли! Клеветники открыли рты... Окуляр, оказывается, уже лежал на окне: Анечка в слезах полезла за платочком, наткнулась рукой на посторонний предмет и, не думая и не понимая, в чём дело, отложила его в сторону.

Провокация сорвалась. Провокация в отношении женщины, отсидевшей два срока. Провокация в отношении жены, у которой муж – бывший контрик. Всё было рассчитано хорошо. Анечке грозило заключение в третий раз, а мне...

Но Анечка есть Анечка.

Целую ночь она писала и переписывала обширное заявление и понесла его... Куда? В райком! Рассказала всё: о себе и обо мне, о положении дел на заводе, о провокации.

И ей поверили.

Допросили рабочих и открыли всё. Руководство было снято. Директор скоропостижно умер. А однажды на площади Дзержинского какой-то контролер автобусного движения вежливо снял фуражку и, приятно осклабясь, осведомился у Анечки о её здоровье. Это был бывший чекист и начальник цеха: родная партия спустила его вниз до положения уличного регулировщика.

Но Анечка была добита: травля окончательно сшибла её с ног, и подняться она уже не смогла.

Примерно в это время незаметно от Анечки я вложил в наш семейный конверт-архив ещё один документ. На память о времени. Как монумент ей самой.

Боясь мозгового удара, Анечка написала завещание и носила его с собой на работу, очевидно, ожидая паралич именно там, в особо не благоприятных условиях.

Вот текст этого завещания, потихоньку взятого мной из её рабочей сумочки:

Завещание на случай моей скоропостижной смерти

Обладая плохим здоровьем и боясь движения на улице, я пишу это для того, чтобы после моей смерти на моего мужа Быстролётова Д.А. и дочь Милашову М.В. не легли бы какие-нибудь подозрения или обвинения. Я нахожусь в здравом уме, но постоянная боль в голове, шум в ушах и частое выпадение зрения заставляет меня серьёзно подумать о том, что со мной может на улице произойти катастрофа, которую следователь может истолковать как самоубийство и начнёт трепать нервы мужу и дочери. Оба они не являются причиной катастрофы и не являются в чём-либо виновными. Мне нечего больше писать. Муж знает всё, что я смогла бы сказать ему перед смертью: что жалею, что расстаюсь с жизнью, которую очень люблю несмотря на все невзгоды, и что прошу его поскорее забыть меня и найти себе лучшую подругу, чем я.

17 февраля 1957 г.

А. Иванова.

Глава 4

Подъем по крутизне

В 1956 году я дважды получил по месячному окладу и 3600 рублей в порядке компенсации. Это мне подняло дух. Позднее Юлия вернула часть моих книг и мебели, и всё наиболее ценное было немедленно продано. Я чувствовал гордость, отдавая Анечке эти деньги: я ей помогал. Это мой первый заработок! О, блаженство! О, мужская гордая радость от сознания своей силы! Однажды, проходя мимо обувного магазина, Анечка сказала, что вот эти чёрные лодочки, выставленные в витрине, ей нравятся. Боже, с каким нетерпением я стоял в длинной очереди, с каким восторгом преподнёс ей эти туфельки: ведь это был мой первый подарок!

В сентябре 1956 года настал день, когда вызванный к Анечке врач установил у неё давление выше, чем отмечено на шкале аппарата, то есть свыше 240.

На следующий день я нашёл Медицинское реферативное бюро при Центральной медицинской библиотеке и дрожащими руками взял несколько немецких журналов: мне поручили сделать рефераты статей. Как сейчас помню: о сужении уретры у мужчин.

Пусть она будет благословенна, эта уретра!

Через десять минут чтения и напряжённых размышлений я едва не слетел со стула, до того вдруг закружилась голова. Закрыл глаза, руками держась за стол, отдохнул и через полчаса начал работать снова. Я знал: Анечка лежит дома, я **должен** работать, я обязан протянуть руку и поднять упавшую! Только в труде наше спасение! Только в труде!

С этого начался мой трудовой путь.

Я приходил домой с головой, как будто налитой свинцом. А наутро начинал работать снова.

Получил первые **заработанные** деньги. С какой радостью! Как это было прекрасно! Но денег не хватало, и я попытался ускорить работу. Сначала осторожно. Тщательно проверяя себя. Потом пустил машину на полный ход, какой только возможен для престарелого паралитика.

В январе 1957 года я раскопал золотую жилу: Всесоюзный институт научной и технической информации.

Хорошо помню проверочную беседу с работниками редакции журнала «Биология» Гвоздевой и Чувалиным.

– Где вы оканчивали, товарищ Быстролётов? – приветливо спросила Гвоздева, немолодая женщина, научный сотрудник, мой будущий начальник.

– В Швейцарии. В Цюрихе.

– Ах так. Тогда вы должны прекрасно знать швейцарские методы борьбы с эндемическим зобом, не так ли?

– Конечно, – говорю я, улыбаясь: поток интереснейших воспоминаний и точнейших сведений обрушивается на мою голову. Я открываю рот... И вдруг с ужасом замечаю, что я забыл, что такое зоб: вижу перед собой Бангофштрассе, по которой вечером любил ходить, здание Университета, лебедей на озере, белые вершины гор... Миллион других мелочей. Но зоб... Мгновение тому назад знал, а теперь забыл! Проклятое выпадение...

Пот выступил у меня на лбу.

– Вы не волнуйтесь! – мягко говорит Гвоздева. – Я всё понимаю. Поработайте у нас, окрепнете, память вернётся, всё станет на своё место...

Будьте же сторицею вознаграждены судьбою, советские люди, которые ласковым вниманием помогли мне перебороть недуг и стать на ноги!

В ВИНИТИ остро нуждались в переводчиках с так называемых редких языков – португальского, африкандерского, чешского, фламандского, сербо-хорватского, норвежского и других. Платили хорошо, хотя и медленно. Я бросился в это бумажное море с головой, избрав своей специальностью биологию и географию, а из знакомых мне языков – английский, немецкий, датский, голландский, фламандский, норвежский, африкандерский, шведский, португальский, испанский, румынский, французский, итальянский, сербо-хорватский, чешский, словацкий, болгарский и польский. Конкурентов у меня не было, работы хватало, но очень мешали выпадения памяти: вдруг ни с того ни с сего какое-нибудь нужное слово или группа слов выпадут – и тогда, хоть убей, их не вспомню. А ночью проснусь, как от толчка – это вернулось забытое днём.

Труд переводчика выгоден только при одном условии: если человек так знает язык, что может работать без словаря. Конечно, все материалы были сугубо научные, полные самых сложных и разнообразных терминов и понятий. Необходимо было, кроме языка, хорошо владеть темой.

Я не был биологом, но помогла солидная медицинская подготовка. Так я справлялся со всеми трудностями и замечал, что чем больше работаю, тем легче мне работать: в мозгу медленно, но неуклонно восстанавливалось кровообращение, как видно, за счёт образования новых сосудов. Я требовал – и мозг подчинялся и сам строил систему своего кровоснабжения!

Когда в марте пятьдесят седьмого года нам дали комнату, мы переехали, и я с восторгом зажал в руке **свой** ключ от **своей** квартиры, а денег хватило для покупки лучшей в городе мебели и всего необходимого. У нас появилось своё современно обставленное и уютное гнездышко, в котором Анечка взяла на себя роль хлопотливой, знающей и бережливой хозяйки, а я – добывателя жизненных благ. Тыл и фронт были обеспечены!

Началась новая полоса нашей жизни.

В ноябре 1957 г. возникла рабочая группа для подготовки к печатанию Медицинского реферативного журнала, тринадцать номеров в год. Я был приглашён на должность главного языкового редактора. Дело было непростое: нужно было проверять правильность переводов с девятнадцати языков по всем бесчисленным разделам медицины, со всей их истине необозримой терминологией, а также переводить материалы, которые, кроме меня, не мог перевести никто. Было трудно. Хлопотно. Совершенно для меня ново. Но я опять справился. Отчаянно боролся за жизнь – и устоял на ногах. Ровно через год, в конце 1958 года, девушки-переводчицы рано утром выстроились в коридоре и вызвали меня. Зачитали подписанную ими благодарность:

– Уважаемый и милый Дмитрий Александрович! Вы – наш, всегда для нас открытый, незаменимый справочник, наш учитель, руководитель и друг! Вы – Человек!

Дальше следовало десять подписей.

Потом девушки поцеловали меня по очереди прямо перед дверью директора! Я был очень доволен: глас народа – глас божий!

Да, если я встал на ноги и в какой-то мере восстановил трудоспособность, то всё это смогло осуществиться только потому, что со всех сторон я чувствовал деликатную, незаметную и постоянную поддержку. Земно кланяюсь вам, добрые наши советские люди! Я вам помогал, где, когда и чем мог, но и вы не оставили меня в несчастье! Если немой придурковатый паралитик был продуктом забот начальства и вождей, то уж энергичного и дельного работника из меня опять сделали только простые люди...

С тех пор я работаю в этой редакции. Проверяю в год до 50 000 переводов заглавий статей из многих сотен научных медицинских журналов мира и сам делаю около 15 000 переводов. Просто прыгаю по разделам медицинской науки от психиатрии до гинекологии, по языкам от шведского до турецкого, по странам от Финляндии до Венесуэлы. Прыгаю, а перед умственным взором проплывают когда-то виденные мною города и земли. Я молча работаю за столом, и никто в комнате не знает, что в эти часы я мысленно, почти зрительно облетаю мир. Мне льстило, что директор всем советским и иностранным делегациям и видным учёным с гордостью показывает меня, как некое диво, и после его слов: «А вот позвольте вам представить профессора Быст-

ролётова, который» и т.д. – раздаётся удивлённый и почти-
тельный шелест восклицаний:

- Пятьдесят тысяч...
- Девятнадцать языков...
- Все страны мира...

Мне это радостно. Но в то же время горько, что восем-
надцать лет заключения, избиения и два мозговых удара
отняли половину работоспособности. Часто, почти ежеднев-
но, жизнь напоминает мне о Сталине и его времени, о не-
возвратимых потерях, о том, чего я не смею забыть и про-
стить, о том, что уже поздно наверстывать...

Так незаметно, в радостном труде, пролетело десять лет.

Редакция журнала превратилась сначала в отделение
Института организации здравоохранения и медицины, по-
том – в отдел Академии медицинских наук СССР, наконец, в
самостоятельный Всесоюзный научно-исследовательский
институт медицинской и медико-технической информации
Министерства здравоохранения СССР. Росло дело, росло
учреждение, росли люди. И с ними вместе рос и я: в нужном
объёме познакомился с японским и китайским языками, ос-
вежил знания турецкого языка. Увеличивался объём зна-
ний, ускорялась сноровка. То, что в 1957 году я делал за
2–3 рабочих дня, в 1964 году делаю за 3–4 часа. И делаю
лучше. Головные боли и выпадения памяти стали слабее и
реже. Я стал всеми уважаемым специалистом и признан-
ным знатоком своего дела. Со мной считаются. На меня
сыпятся благодарности, я – видный член научного коллек-
тива. Со всеми дружу, если просят – помогаю, всегда чув-
ствую, что рядом со мной трудятся расположенные ко мне
советские люди. На работу спешу с радостью, как домой, к
любимому делу, в семью милых людей.

За эти годы я никогда не допустил прогула по личным
причинам и ни разу не позволил себе отдохнуть в выходной
день: отдыхал только в отпуске. Потому что для меня труд –
счастье. Я с удовольствием встаю в 5 часов утра, делаю себе
завтрак, приношу всё необходимое для ещё спящей Анечки
и отправляюсь на любимую работу. Проглотив дозу резер-
пина, бодро шлепаю сквозь дождь, темень и стужу. А с ра-
боты радостно спешу в любимое своё гнездо, где меня ждёт
Анечка, мой боевой товарищ, преданный и проверенный
друг: в кармане играю ключом – да, я дожил до времени,
когда имею ключ, и никто не может ворваться ко мне с кри-
ком: «Встать, фашистская морда!»

Что же желать ещё?

Разве только здоровья! У истощённых, измученных людей рака практически не бывает – я в этом убедился в лагерях. Но едва я отдохнул, отъелся, пополнил и успокоился, как за ухом, в том месте, где кожу трет пластмассовая дужка от очков, появилось неприятного вида образование. Его удалили в онкологическом госпитале. Через два года на голове, на рубцах после ударов молотком в 1938 году, появился такой же нарост. После облучения он исчез вместе с рубцом, но через два года появился на рубце на месте перелома ребер. Наконец в этом году на ногах в двух местах онкологи опять что-то облучали и удаляли. Почувствовав над головой занесённый меч, я удвоил нагрузку. Но от перенапряжения на работе два раза выключалось зрение. Уводили под руки, усаживали в такси, привозили домой. А один раз стал заговариваться. Но ничего, прошло: положили в Институт неврологии на полтора месяца, и мышление восстановилось. При выписке я дал врачам слово не работать и отдыхать только на севере. Но работаю дальше и отдыхаю только на юге. Как римлянин, хочу умереть стоя на ногах.

Живу потому, что работаю, и работаю потому, что живу.

Работоспособность, память и знание языков не восстановились до прежнего уровня, но и с тем, что осталось, оказалось возможным работать всерьёз.

В начале шестидесятых годов в дополнение к нагрузке в институте я взялся за перевод научных книг, и не без успеха: три вышли из печати и создали мне имя в кругах специалистов, а потому я получил новое предложение: писать рецензии для Государственного медицинского издательства. Дело в том, что медики всех континентов присылают в Москву свои книги для перевода и переиздания в Советском Союзе. Нужен специалист, знающий язык и пользующийся безусловным доверием: ведь его заключение окончательно, проверить некому. Я стал писать рецензии. Это была увлекательная работа, иногда требовавшая предварительного серьёзного исследования. Потекли деньги, сначала понемногу, затем приятным ручейком. Мы завели обычай в конце лета на бархатный сезон ездить на Кавказ к морю и комфортабельно отдыхать, а каждый второй год – за границу. Сбылось казавшееся раньше безумным предсказание Анечки – мы вдвоём стали гулять по Праге! Можно ли было всё это ожидать в лагере? После двух параличей?! С моим сроком?! Анечка твердо верила, я сделал сверхчеловечес-

кое усилие... И если, в конце концов, мне все-таки удалось встать на ноги и начать работать, то вынесла меня из бездны Анечка: от первой прочитанной книги я бодро ковыляю уже сам, но до нее она поднесла меня на своей спине.

К 1960 году положение на работе упрочилось, я освоил дело и стал нужным колесиком в машине, а потому решил, не ослабляя усилий на работе, взяться ещё за одну – трудную, совершенно мне не знакомую и потому вдвойне привлекательную: написать и напечатать африканский роман. Он должен приучить меня к литературной работе и подготовить к писанию воспоминаний. Я никогда не забывал о Шёлковой нити, но теперь из мечты она становилась реальностью.

При Сталине связи СССР с иностранными государствами и народами были намеренно ослаблены; при Хрущёве дело изменилось. Возрос интерес и к Африке.

«Пора!» – сказал я себе и принялся за дело.

Я бывал в Африке наездами с 1920 по 1935 год включительно.

Прошла четверть века. В моё время советские люди в Африке не бывали и письменных свидетельств о виденном не оставили. Мои воспоминания очевидца сохранили ценность потому, что новая свободная Африка закономерно рождается из недр старой колониальной Африки: я наблюдал её в эпоху становления характеров Лумумбы и Чомбе, и мне есть, о чём рассказать советскому читателю. Мое свидетельство не устарело, наоборот, оно становится все нужнее и нужнее.

Но достаточно ли свежи и подробны мои воспоминания? Смогу ли я дать убедительную картину и избежать общих мест и деклараций? Я прикинул на бумаге отдельные места, показал их друзьям, и мы решили:

– Смогу.

Из лагеря Анечка вывезла записи, которые могли послужить стартовой площадкой для разбега. Я сел писать роман.

Трудность заключалась в том, что я не мог точно и просто описать свои поездки – ведь я жил по чужим паспортам, и даже теперь не имею права раскрывать конкретные данные о своей жизни и работе. Нужно было придумать подставное лицо, некоего иностранца, за спину которого и смог бы спрятаться автор. Этот иностранец, в начале аполитичный и равнодушный искатель экзотики, к концу романа на-

столько потрясен виденным, что делается коммунистом. Основанием для схемы я взял биографии Кости Юревича и Гана Пика, голландского художника, с которым я работал в подпольной организации.

Писать приходилось урывками, за рабочим столом: маленький перерыв в работе, девушки унесут гору папок, а я в ожидании другой горы переносюсь из Москвы в Африку и строчу роман. На него же ушли все выходные дни. Таким образом, литературное упражнение вытеснило платные переводы и рецензии. Мало того, рукопись пришлось неоднократно переделывать и перепечатывать, и она стала денежным ручейком, потёкшим из моего кармана взамен струившегося туда ручейка хороших доходов. Но это дело захватило меня целиком, и через полтора года роман был готов – книга, написанная в стиле политизированных «романов путешествий» старого времени.

Я понёс рукопись в редакцию издательства «Советский писатель». Чтение и рецензирование заняло несколько месяцев. Ответ: печатать нельзя. Я обошёл все подходящие издательства – «Молодая гвардия», «Московский рабочий», «Географическое издательство». Результат тот же: отрицательный.

Рецензии выдаются авторам на руки. Все они были написаны на один манер: сначала умеренные похвалы и даже длинные хвалебные цитаты, потом свирепая критика с заранее известных позиций и отрицательное заключение.

«Надо отдать должное Д. Быстролётову: в каждом из указанных аспектов (история, география, медицина, этнография) он соответственно проявляет и незаурядную литературную сноровку, и внушающую доверие разностороннюю осведомлённость, и последовательность в служении благородной, умно разработанной теме. К. Горбунов, 1961 г.»

Казалось бы, неплохо? А?

«Судя по представленной рукописи, автор – человек, владеющий пером, с литературным и всесторонним образованием. Экспозиция романа, особенно его первые главы, напомнили классические образцы вступлений к приключенческим повестям западных авторов, притом лучшие – в такой манере описывали детство и семью своих героев Дефо и Свифт. Юный художник Гай ван Эгмонт Быстролётова пока-

зался мне достойным занять место рядом с излюбленными героями Ж. Верна, М. Рида, Лондона и также Теккерей. Вместе с тем, он, как мне кажется, нам ближе и понятнее, чем они, поскольку автор наделил его нашим нынешним пониманием социальной правды, сознанием единой общественной справедливости для всех рас и народов, то есть заставил мыслить и чувствовать в области, не занимавшей совесть большинства героев буржуазных писателей. Гай ван Эгмонт, рассказывая о своих приключениях в Африке, высказывает уважение к чужой культуре, испытывает братские чувства к чёрным народам, ужасается мерзостями колониализма и, проникнувшись бурным протестом, без оглядки бросается на борьбу с ними: всё это обеспечивает ему симпатии советского читателя, отлично усматривающего разницу между ним и его собратьями из романов западных авторов.

По своему содержанию такая книга подходит для серии "Библиотека путешествий и приключений", издаваемых "Географизом", однако наличие в этом произведении социальной темы, его несомненные художественные достоинства и яркие картины жизни колониальной Африки – континента, привлекающего ныне всеобщее внимание и интерес, позволяют рекомендовать эту рукопись вниманию "Советского писателя", при обязательном условии существенного сокращения, доработки и изъятия заключительных глав. Получится занимательная и полезная книга, проникнутая понятным советским людям пафосом искреннего негодования и обличения мерзостей колонизаторских дел. О. Волков, 1961 г.»

Чёрт побери, неплохо?

Я – человек дела. Существенно сократил, доработал, изъясил. Почему бы нет?! Я не воображаю себя настоящим писателем, никаких амбиций у меня нет и нет желания работать. Я – учёный и гражданин, издание книг – для меня только дело подготовки к другой, политической работе, к выполнению гражданского долга

В одном издательстве посоветовали изложение от первого лица заменить изложением от третьего. Заменял. Перепечатал. Заплатил машинистке уйму денег. В другом посоветовали объединить изложение от третьего лица с изложением от первого, чтобы получились как бы выписки из путевого дневника в авторском тексте. Прекрасно! Изме-

нил. Перепечатал. Заплатил машинистке. В третьем потребовали... Опять всё выполнил.

Но...

В виде компромисса я попытался поместить большие куски в толстых журналах, но, в общем, неудачно: только отдел путешествий журнала «Москва» предложил дать материал на два печатных листа, но я по неопытности и молодости лет (писательских!) отказался: мне всё ещё казалось, что я добьюсь большего. Мне никогда не приходило в голову считать себя **настоящим** писателем, но я полагал, что редакции заинтересуются необычностью моих материалов и дадут мне руководителя из числа опытных литераторов, который и поможет состряпать то блюдо, которое требуется кухне (именно кухне, а не едокам – в их одобрении я не сомневался).

Вот тут-то я и ошибся.

Несмотря на солидное разнообразие названий и количества издательств и журналов, у нас на самом деле имеется лишь один издатель и редактор – Отдел литературы при ЦК КПСС. Именно оттуда спускаются директивы, а люди на местах своими словами и пересказывают их посетителям и осуществляют печатание с наклейкой такого уреза, который мог бы гарантировать ответственное лицо от возможных неприятностей.

Африка в этом смысле не только нежелательный материал, и вследствие своей новизны африканская тема для редактора – река без брода: сунешься – и нырнешь с головой, только пузыри пойдут. А дома жена и дети!

– Как бы чего не вышло! – тоскливо мямлили ответственные, зябко потирая руки. – Вот подмосковный колхоз, донбасские шахты, сибирская тайга – это темочки: всё известно, я сам лично бывал и в колхозах, и в Донбассе, и в Сибири. А Африка... Нет, согласитесь, это чёрт знает что – никто там не был, ничего мы о ней не знаем! Кот в мешке! Другое дело переводной материал: утверждают – мы и печатаем. Но ваш... Нет, как бы чего не вышло!

«Как бы чего не вышло!» – это ключевая фраза для понимания положения редактора в нашей стране и для оценки состояния советской литературы. Редакционные портфели забиты рукописями, и наиболее перспективными из них считаются те серые и скучные вещи, печатание которых заведомо не вызовет неприятностей: за серость не поругают, особенно, если материал на ходовую современную тему и

щедро посыпан фразами о нашем геройстве, преданности партии и пр.

При мне редактор журнала «Октябрь» спросил заведующую отделом прозы (это было в разгар буйной фазы хрущёвщины):

– Сколько у вас рукописей на сельскохозяйственные темы?

– Двадцать две.

– Из них наиболее подходящими вы считаете?

– Три. Всё о кукурузе.

– Устарело. Не учитываете последнего Пленума. Свяжитесь с авторами и посоветуйте внести в текст травосеяние и травоборот! Пусть упомянут об экономической выгодности корнеплодов в плане последних выступлений Никиты Сергеевича

А я сунулся с Сахарой и Конго! Вот уж можно сказать – не в ту кухню, не в те двери...

Редакторы иногда смущались и говорили нехотя. Но чаще ясно, просто и твердо: это были хорошие воспитанники своих учителей и верные служаки. Очень часто я чувствовал, что мы говорим на разных языках.

– Приключения у вас всё какие-то... заковыристые... маловероятные, понимаете ли? Героя **похищают!** Это в наше-то время!

Перед моими глазами проносится столько фактов. Я отвечаю:

– Людей похищают в наше время днём в центре Парижа и Нью-Йорка, а уж в Сахаре... Там всё можно! Там власть силы.

– Или вот, копьё у вас протыкает человека насквозь. Разве оно может проткнуть насквозь?

– Может.

– Гм... Но как-то страшно... Или вот здесь: «Её груди коснулись моей груди». Разве можно печатать такое? Наши журналы читают в советских семьях...

– Но негритянка в лесах Конго тогда ходила только голой.

– Однако можно же написать что-нибудь про одежду, понимаете, какой-нибудь бюстгальтер одеть на неё, что ли... Нет, такой материал мы не можем принять: если после издания критика разбомбит книгу, то её повесят мне на шею. Поняли? Я дорожу своим местом... Нет, я не могу рисковать!

И я решил на время бросить эту затею.

Внутренне я уверился в том, что в нужной степени для моих скромных целей освоил писательское ремесло. Я был готов к бою.

Меня целиком поглотила другая старая страсть.

Она нахлынула на меня как яростный поток, и я уже не смог выбраться на берег.

Человек ненасытен. Чем больше я работал, тем больше строил планы на будущее. Связался с Институтом Африки, чтобы одновременно работать и там. Восстановил связи с Союзом московских художников. Задумал написать учёный труд на тему о ...

И вдруг свернул всю работу, кроме одной. Денежный ручеёк до предела иссяк, преграждённый моей собственной рукой. Беззаботная радость труда и вычурное порхание по языкам и наукам оборвались ровно наполовину.

Гражданский долг властно напомнил о себе: слово, тысячу раз данное славным мёртвым! То, ради чего единственно стоило жить.

Шёлковая нить!

Я опять крепко взял её в руки!

Мне скоро семьдесят. Я не смею умереть, не дав свидетельское показание советскому народу.

У меня нет права распоряжаться собой!

Отныне всё будет подчинено только одной задаче: описать всё, что я видел в сталинских лагерях. Время идёт, страшное время бесстыдной фабрикации мифов: я пережил миф о Муссолини и Гитлере, пережил сотворённый Сталиным миф о нем и становлюсь свидетелем медленного, осторожного, но упорного восстановления его культа: после реабилитации миллионов жертв советская история как будто вознамерилась реабилитировать и палача. Рецензии и книги, живопись и научная работа – всё это теперь **измена** мёртвым: надо описать всё, что было, чтобы фальсификаторы не сумели исказить прошлое после того, как все живые свидетели умрут.

Я – носитель доверенных мне ценностей, воспоминаний. Надо оказаться достойным своей судьбы.

Мне скоро семьдесят? Так скорее за дело! За перо!!

И я принялся писать двенадцать объёмистых книг своих воспоминаний. Задумал огромный труд. Я плохо вижу. Болен. Стар. Справлюсь ли? Успею ли?

Должен справиться!

Должен успеть!

Объём и тематический план работы были подсказаны объективными обстоятельствами: первая книга – следствие, суд и этап на Север, вторая книга – Север, третья книга – счастливый этап на Большую Землю, четвёртая – Мариинский распред и Маротделение Сиблага, пятая книга – Маротделение и приезд туда Марии, а заодно и всё о ней, шестая книга – Суловское отделение, седьмая книга – дети и подростки в Сиблаге, восьмая – спецобъект и этап в Тайшет, девятая – Озерлаг в Тайшете и Камышлаг в Омске, десятая книга – общий связный рассказ от первых до последних лет заключения, своего рода подведение итогов, одиннадцатая книга – возвращение в обычную гражданскую жизнь и хрущёвщина как наследие сталинизма, и последняя двенадцатая книга – заключение и комментарии. Каждая книга – многоплановый очерк: во всех главным героем должен быть Советский Человек в сталинском загоне. Но хронология подсказывает и дополнительные темы – моральное единоборство со сталинским следователем, адаптация к заключению нового лагерника, отношение к войне, смена условий быта и существования, судьба родственников, дети в лагере, стойкость человека, сравнение каторги старой и советской и пр. Все эти планы связываются воедино двойной сюжетной конструкцией – во всех книгах передвижением рассказчика из лагеря в лагерь и его внутренним ростом, в каждой отдельной книге – взаимоотношениями описываемых лиц. Каждая книга – законченное произведение, действие и участие в нём отдельных лиц, за редкими исключениями, не переходят из книги в книгу. Автор должен показываться лишь как лагерник, а не как личность, и по возможности должен играть второстепенную связывающую роль, на манер гоголевского Чичикова в «Мёртвых душах»: его дело сидеть в бричке и двигаться вперёд, а дело автора разворачивать картины окружающего – среду, порождающую мёртвые души.

Конечно, каждое свидетельское показание заслуживает особого доверия тогда, когда оно насыщено точными данными. Моя рукопись сможет и должна служить ценным черновым материалом для будущего исследователя, а потому её следует снабдить цифрами. Но, увы! Я убедился, что не только забыл цифры, но и не стремился собирать их: из лагерей я вынес не факты, а впечатления о фактах. В самом

деле: какой высоты был лагерный забор и вышки? Сооружались ли они всегда и везде по раз и навсегда утверждённому плану и смете? Закрыв глаза, я и теперь вижу их перед собой. Но цифры я не спросил или не запомнил. Или такой важный фактор, как питание. Сотни раз я как дежурный врач читал раскладку и фактуры. Увы! Я не запомнил ни одной цифры. Помню серую, дурно пахнущую бурду из воды, соли и гнилого, невытога картофеля – баланду военного времени, и помню суп в Омском спецлагере: он был не хуже бурды в московских столовых. Узнать негде, можно только надеяться, что историки получат эти сведения из лагерных архивов. Таким образом, помимо воли я был вынужден писать только и исключительно о впечатлениях лагерной жизни. «А может быть, это и лучше, – утешал я себя. – Цифры можно найти и после нашей смерти, а вот живые впечатления мы унесём в могилу». Итак, это будет книга о впечатлениях очевидца, туриста, путешествующего двадцать шесть лет по стране сталинских и хрущёвских чудес. Теперь о людях. Я запомнил некоторые имена, другие забыл и помню клички. Это плохо. Я терпеть не могу начальства и в жизни никогда к нему не жался; в лагере встретил немало известных людей – генералов, секретарей обкомов и даже министров. Но, с моей точки зрения, они были серыми людьми, и я не могу и не желаю похвастаться их именами. Сознательно не хочу писать также о каких-то особых и исключительных личностях. Пусть моими героями будут обыкновенные советские люди, которых полным-полно вокруг нас на улицах: их было большинство, и о них пойдёт разговор.

Наконец, о форме. Форма всегда подсказывается содержанием. Я сознательно отказываюсь от единства формы, т.е. буду писать не одну книгу в двенадцати томах, а двенадцать совершенно разных книг, объединённых личностью рассказчика и единой темой.

Писать книгу за книгой в порядке хронологии действия я не смог. Из лагеря был вывезен и сохранился ценный кусок текста второй книги, и поэтому начал с нее. Потом написал пятую на материале, вывезенном из лагеря. Затем – третью, десятую, седьмую, восьмую, шестую, четвёртую и девятую. Всего две с половиной тысячи страниц. К концу шестидесяти пятого года вся работа будет выполнена. То есть должна быть, если позволит здоровье. Незадолго до её окончания, скажем, в конце шестидесяти четвёртого года, я возобновлю работу над африканским романом с тем, чтобы

протолкнуть его в печать. Пусть эти две большие работы будут закончены одновременно! Одну напечатаю, другую сдам в какие-нибудь архивы – истории партии и другие. Время покажет.

А потом? Пустота?

У меня уже имелись кое-какие планы и на дальнейшее: роман о советских разведчиках в гитлеровской Германии.

Календарный план работы над воспоминаниями я выполнял педантично, невзирая ни на что, и с гордостью сейчас вижу, что его выполнил.

А между тем тут вмешались некоторые весьма примечательные события. Перед новым 1963 годом, производя чистку своего архива, я натолкнулся на африканские материалы, которые начал было готовить для «Москвы», но не довёл дело до конца. Это было на меня непохоже. «Но случайные отрывки в обычном журнале не убедят редакции издательств, нужен авторитет специалистов и науки... Решено: я пойду в редакцию журнала «Азия и Африка сегодня». Там есть всё – и специалисты, и отдел Академии Наук. Это явится для меня настоящей пробой: если издавшие Африку люди забракууют, тогда и к невидевшим соваться нечего».

Успех! Ах, какой это был приятный успех!

Люди с нездешним загаром на лице, только что приехавшие из Конго, уверяли, что более яркого описания девственного леса в мировой литературе они не встречали, а Николай Николаевич Поляков, главный редактор, заявил, что мои материалы будут **гвоздем** года, что они привлекут новых читателей и что я приглашаюсь в редакцию как желанный сотрудник.

Я тряхнул стариной и кое-как, впопыхах и боясь, что Поляков раздумает, нацарапал иллюстрации, и дело пошло как по маслу: первый отрывок был напечатан в мартовском номере, последний – в ноябрьском. Меня прекратили печатать потому, что остальные авторы подняли крик о блате. Но еще и в шестьдесят седьмом году я получил от редакции заказ на статью, которую, к сожалению, не смог написать из-за Шелковой нити – она взяла все силы.

Серия отрывков в журнале была замечена: меня пригласили выступить по Всесоюзному радио, в Доме учёных и прочее. Всё это было приятно и мне, и моей верной Анечке, которая при сообщениях об отказах в публикации только молча сжимала зубы: она верила в меня.

Получив в руки несколько номеров, я опять поднял голову. Однако решил зайти с другого конца: найти литератора, который помог бы подогнать мой текст к форме, желаемой редакциями издательств. В Союзе писателей секретарь поморщился и небрежно бросил фамилию и адрес Е.Г. Босняцкого. Я проверил в библиотеке – писатель что надо, куча изданных книг.

Евгений Григорьевич принял меня любезно и предложил такой план действий: я подам текст в «Молодую гвардию», где он состоит рецензентом, с просьбой направить рукопись ему. Он даст отрицательный отзыв и предложит редакции довести интересную рукопись до кондиции, и сам толкнёт её в печать.

Вот как он охаял рукопись, и на каких основаниях она была забракована издательством:

«Как видно из авторской характеристики – перед нами плут, авантюрист с декадентским налётом, довольно типичный представитель литературных персонажей буржуазного колониального романа... Он много, даже чрезмерно много, размышляет и, пережив удивительнейшие приключения, возвращается в Париж убеждённым сторонником революционных преобразований... Мы вынуждены смотреть на Африку глазами не художника, и тем более не мыслителя... Нет, перед нами типичный искатель приключений и авантюрист... В настоящем виде книгу печатать нельзя. Нельзя ли сделать всё проще и естественней? 30 августа 1963 г., Е.Г. Босняцкий».

Рукопись была возвращена. А через неделю Босняцкий явился с семьей к нам в гости и назвал сумму скромного вознаграждения – 6000 рублей в месяц!

– А сколько месяцев будет длиться работа? – спросила деловая Анечка.

– Пока неизвестно. Год... Может, больше.

– Но потом вы гарантируете приём в печать?

– Нет. Это не моё дело. Авторы сами заботятся об этом.

– Гм... Но ведь вы уже провалили рукопись в редакцию... – сказала Анечка и стала пить чай.

Ловкая афера Босняцкому не удалась, но зато он оказал мне добрую услугу в главном: спросив, пишу ли я ещё что-нибудь, он прочитал «Превращения» и воспылал неистовым восторгом. Была устроена читка, Евгений Григорьевич сам читал моё произведение группе литераторов и культурных

людей. Общее впечатление было очень положительное: все побагровели и пустились в ожесточённый спор. Всех задело за живое – это было как раз то, что я хотел! Можно хвалить или ругать, но остаться равнодушным было невозможно.

Это и решило дело. Я уверовал в себя и принялся намазывать Шёлковую нить.

Тут следует сделать маленькое отступление. Как известно, 25 февраля 1954 года Н.С. Хрущёв на закрытом собрании сделал доклад «О культуре личности и его последствиях». Доклад опубликован не был, но произвёл ошеломляющее впечатление на слушавших и затем был доведён коммунистами до сведения населения. Так стало известно об ожесточённой схватке между сталинистами и антисталинистами, между сторонниками **закручивания гаек** (Молотов, Каганович и др.) и их **раскручивания** (Хрущёв и ряд его последователей и друзей): борьба за власть была прикрыта идеологическими разногласиями. Диаметрально противоположные линии политики в верхах неизбежно привели к борьбе за власть в низах, ибо бюрократы, привыкшие к тёплым местам и лёгким способам управления, не собирались без сопротивления сдать позиции.

Хрущёв выиграл бой и захватил власть, но дальше двинуть дело очистки общественной жизни от оков сталинизма он не захотел и не смог – ведь он сам был типичным сталинистом, некогда пресмыкавшимся у трона. Началось дружное сопротивление новой линии. Последовали заметные колебания политики и ряд опрометчивых шагов со стороны Хрущёва: поскольку Молотов отстаивал курс на интенсификацию сельского хозяйства, Хрущёв выдвинул нелепый план продолжения экстенсивного его роста за счёт расширения посевных площадей («освоение целины»), неоднократно делал заявления большой политической важности и обязательности, но затем вынужден был из-за сопротивления аппарата фактически отказываться от своих слов (например, в вопросе о расследовании убийства Кирова).

Колеблясь во все стороны, внутренняя политика Хрущёва за годы его правления проделала зигзагообразный антидемократический путь вправо, к Сталину, но начало шестидесятых годов явилось периодом его вынужденного демократического полевения и воспринималась населением как **политическая весна**.

Вокруг вопросов искусства, как будто бы не имевших никакого отношения к политике, бурно кипели страсти сторонников зажима и отжима: устранение сталинского держиморды от живописи Александра Герасимова с поста Президента Академии художеств, выставка работ затравленного сталинистами графика Фаворского и другие характерные события нашей общественной жизни являлись тому примером. Записи в книгу отзывов на выставке Фаворского переросли в яростную ругань между сторонниками обоих лагерей, с вымарыванием слов, фраз и целых абзацев администрацией выставки.

Впервые после смерти В.И. Ленина люди открыли рты и оказалось, что у каждого есть своё мнение, и часто, очень часто оно не совпадает **со спущенными директивами**.

Почти незамеченной прошла публикация короткой новеллы Шелеста «Самородок» – честного, верного и точного изображения лагерного быта. Однако затем орудийным выстрелом грохнула повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Все её читали, все о ней спорили. Говорили, что текст очень урезали, но и в таком виде его опубликование со стороны Твардовского было сочтено геройством, подвигом и вызовом, а со стороны Хрущёва, лично разрешившего опубликование, – доказательством его политической недалёковидности, переоценки своей силы и непонимания мощи выкованной Сталиным советской бюрократии, продуктом которой был и сам Никита.

Осенью 1962 года тело «Отца народов» было вынесено из Мавзолея, и простакам казалось, что у Кремлёвской стены навеки зарыт и сталинизм как антиленинская идеология. Но вскоре обнаружили признаки её жизнеспособности: она была **нужна** и не могла быть устранена из общественно-политической жизни страны без того, чтобы до этого была ликвидирована бюрократия, для которой сталинская идеология является питательной средой, жирной кормушкой и необходимым условием существования: жизнь течёт по своим законам и не слушается ни приказов, ни призывов. Тело Джугашвили вынесли из Мавзолея, но его дух прочно засел в сознании миллионов советских людей, имевших какую-то власть. Однако для того, чтобы это понять простакам и прежде всего самому Хрущёву, понадобилось несколько лет.

Вот в эти месяцы беспочвенных надежд и неоправданных восторгов Босняцкий и его приятели и сказали много пылких слов о моей повести. Конечно, они тут же подтвер-

дили, что **пока что** она не может быть напечатана. Но для меня было важно не это: я убедился в том, что мой материал интересен по существу и написан в достаточно качественной форме, чтобы **зажигать души**. Иными словами – я на правильном пути.

Тут я должен покаяться в одной слабости.

Я люблю людей потому, что среди них так часто попадаются неожиданные и любопытные фигуры. Секретарем партийной организации ВНИИМИ тогда состоял полковник медслужбы в отставке Семен Иосифович Шавцов. Всю жизнь он проработал в РАБКРИНе и других органах контроля, одно время даже подчинялся Секретариату Берия. Казалось бы, при его эрудиции, уме и ловкости Шавцов должен был бы стать чёрствым чиновником-придирой. Ничуть не бывало! Это был грузный толстяк с типичным еврейским лицом и акцентом добродушного одессита, выпивавший в течение рабочего дня два-три графина воды, а в выходной день дома – до десяти чайников. Семья у него была большая, жена строгая, и вот Шавцов, по прозвищу Зеркальный Карп, любимый объект всех острот в институте, экономил на завтраках, и собранные деньги тратил на... изучение старинных православных церквей и икон!

Выпучив круглые еврейские глаза и шумно пыхтя, он с упоением шёпотом рассказывал мне (около года мы вдвоём занимали одну комнату) о своих научных экспедициях по Москве, Подмосковию, Владимиру, Ростову, Суздалью, Угличу и другим городам. Я слушал его как чародея-сказочника... Коммунист-иконолюб – это диковинный зверь! Но и это было не все: как-то случайно я упомянул о дворянских гербах, и из Шавцова вдруг посыпались редкие и необычайно интересные подробности о российских гербах и девизах. Непонятно, откуда только он их брал! Я раскрыл рот от изумления.

Однажды между прочим я упомянул о гербе Толстых и о лакейском девизе. Шавцов поднял меня на смех: быстро нарисовал схему щита первого графа Толстого, Петра Андреевича, объяснил скрытый смысл геральдических знаков и объявил, что графский герб этой линии Толстых – гордость рода и зеркало доблести Петра Андреевича. Тут, прежде всего, Андреевский флаг на золотом фоне, ибо в возрасте 50 лет он отправился за границу учиться морскому делу и в то время, как молодые люди вернулись недоучками, Тол-

стой окончил учение с отличием, и его учитель в Венеции, серб, капитан Иван Лазаревич, так аттестовал умение, прилежание и храбрость своего воспитанника: «Во время сильных ветров и не бесстрашных фортун он прикладывался до всякого порядку корабельного с прилежанием и бесстрашием и во время навалностей морских показуясь во всём быть способен».

Желая попасть в морской бой, направился на Мальту, едва избежал гибели в двух столкновениях с турецкими крейсерами, так что Великий магистр Мальтийского ордена выдал ему похвальный лист за «славные учтивости и явные поступки». Затем, на гербе вверху маршальский жезл – за невероятную храбрость в Азовском походе и за доблестное поведение за границей в качестве военного моряка. Венецианский дож аттестовал Петра Андреевича как «мужа смелого, разумного и способного».

Толстой много путешествовал. Швейцария его поразила: «Там меж гор презельные глубокости, из коих шум и находило великое смертное страхование». Дневник делает честь его наблюдательности: «Народ женский в Венеции зело благообразен, строен и политичен, но к ручному труду не очень охочь, больше заживает в прохладах. Венециане – люди умные, полигичные, учёных людей здесь зело много. Никакого человека отнюдь пьяного не увидишь. А таких предивных оперов и комедий нигде больше нет. Ни от кого страху нет, каждый делает по своей воле, что хочет, живут во всяком покое».

Петр Андреевич из-за знания языков был назначен на десять лет чрезвычайным послом в Турцию, где в Семибашенном замке просидел восемнадцать месяцев в подземелье на цепи (за это на гербе семь башен с полумесяцами), а затем был послан Петром в качестве «министра госбезопасности» в Неаполь к сбежавшему сыну Петра царевичу Алексею, уговорил сожительницу Алексея завлечь царевича в Петербург, за что обещал ей в мужья своего сына Петьку, известного красавца, и 14 деревень в придачу: поэтому в гербе помещена падающая башня с пятиконечной золотой звездой.

Толстой занимал руководящие «княжеские» должности в государстве (сенатор, действительный тайный советник, президент Коммерц-коллегии и начальник Тайной канцелярии [столб с короной]) и, наконец, возвёл на престол супругу Петра Екатерину, за что и получил графское Российской

империи достоинство (на гербе маршалский жезл на горностае).

На одной из башен с полумесяцем торчит закованная в латы рука с золотым пером – это указание на дипломатическое искусство Толстого (перо) и на его твердость (латы), ибо он узнал, что посольский дьяк Тимофей хочет с казёнными деньгами перебежать к туркам, запер его и отравил. В донесении царю Петр Андреевич это изложил так: «Бог мне помог об этом сведать, я призвал его тайно и начал ему говорить, а он мне прямо объявил, что хочет обасурманиться. Я его запер в своей спальне до ночи, а ночью он выпил рюмку вина и скоро умер: так его Бог сохранил от всякой беды». Серебряные и голубые крылья означают высокий полёт ума. Французский посланник Капредон писал о Толстом: «Он – умнейшая голова России».

Конечно, я слушал Шавцова с большим интересом. Вспоминал мерзкий девиз, о котором я когда-то не раз думал в Константинополе и Суслово: оказалось, что он принадлежит другому Толстому, организатору почтового ведомства в России. В детстве я не интересовался геральдикой и спустя много лет мог кое-что забыть и перепутать. Но разговоры с Шавцовым и его любовное описание исторических подробностей вдруг воскресили старое и возбудили чувство гордости. И странно и глупо это или нет, но я увязал чувство связи со славными предками с гордостью за Шёлковую нить. Я должен быть достойным своего имени!

Уверенность в своих силах так вскружила мне голову, что вдруг вспомнилось, что я совсем не Быстролётов, что в КГБ лежат тому доказательства, и в случае выхода в свет моих воспоминаний я буду иметь шумный успех у нас и за границей, и вот тогда смогу обратиться в архив и получить соответствующие справки: войду в литературу и общественную жизнь не как никому не известный мемуарист, а как писатель, достойный громкого имени, которому не стыдно сесть рядом со своими именитыми предшественниками.

Книги «Превращение», «Пучина» и «Человечность» обошли редакции всех московских толстых журналов: разумеется, к печати их не приняли, но оценку дали самую лестную в виде засаленных и протёртых страниц: видно, что читало множество людей и читало запоем, при этом жуя бутерброды и попивая чай.

Я поверил, что торжество близко. Со мной случалось столько необыкновенных поворотов судьбы, почему бы не

случиться и этому? Мне, именно мне, суждено первому громко крикнуть на весь мир страшную и захватывающую правду!

Но... Но это было беспочвенное идеалистическое увлечение. Идеологическая надстройка не может измениться без изменения породившего её основания.

В последующие годы как реакция на отступление во внутренней политике в стране возник **самиздат**, то есть подпольная рукописная литература, издаваемая самими авторами, их поклонниками и единомышленниками. Я решительно отверг этот путь: моё дело – не поиски дешёвой известности и не мелочные уколы. Пока что должен молчать не только Толстой, но и Быстролётов – оба они гордые люди и с заднего хода к читателю не пойдут! Ничего!

Я хочу громко сказать своё слово только тогда, когда Сталина и его беззакония будут судить всенародным **открытым** судом, спешить мне некуда, я вечен и дам свидетельские показания из гроба и со страниц своих воспоминаний крикну правду. Поэтому немедленно принял меры к тому, чтобы в чужие руки мои записки не попали.

Но без критических замечаний автор обойтись не может, и я допустил исключение: стал давать все мои рукописи на прочтение партсекретарям и комсомольским вожакам во ВНИИМИ, а также узкому кругу заслуживающих доверия сотрудников, в основном членов партии. Я писал с гражданских, советских, партийных и патриотических позиций, и мои немногочисленные читатели так меня и поняли. Первым из читавших партсекретарей был уже упомянутый выше толстый умный одессит, сын крещёного в православие еврея, очень осторожный и большой «себе на уме».

– Вы отнимаете у меня ночи... Не могу оторваться... Ночью читаю, днём обдумываю и внутренне спорю с собой... Прекрасно! Как это сильно написано! Как это нужно! – шептал он в тёмном углу, пожимая мне руки.

Вторым из читавших партсекретарей был большой умница, честный и прямой человек, тоже полковник медицинской службы в отставке. Его уволили за пьянство. Он только крепко тряс руку и повторял:

– Благодарю за бессонные ночи. Вы научили меня читать по целой книге за ночь! Спасибо!

Третьим партсекретарем была пожилая женщина, молчаливая и осторожная. Она шептала, возвращая очередную книгу:

– Прочла с интересом. Полезное чтение. Продолжайте.

А комсомолки, блестя глазами и краснея от волнения, только молча жали руку: их чувства были написаны на их лицах.

Ну как же автор в таких условиях может не чувствовать гордости и уверенности в себе, убеждения в том, что делает доброе и нужное дело?

«Надо спешить!» – повторяю я себе.

Первая книга воспоминаний, рассказывающая о допросах и суде, при всей моей восторженной доверчивости всё же мне самому показалась слишком резкой для данного времени, и я решил сначала дать редакциям менее острое блюдо – книги вторую, третью и десятую («Превращение», «Пучина» и «Человечность»). Но так как опыта у меня не было, а наступление – лучший способ обороны, то я отнёс их в Отдел литературы и идеологии ЦК КПСС. Оба новеньких тома приняли под расписку, держали меня очень долго без ответа, а 3 декабря 1962 года бывший работник редакции одного из московских журналов, некий товарищ Галанов, позвонил мне домой и сахарным голосом сообщил, что обе рукописи были прочтены с благодарностью и оставлены в архиве ЦК, а моя просьба сообщить, можно ли их отдать в редакцию журналов, не имеет под собой основания, ибо в СССР полная свобода печати, и решить, захотят ли редакции поместить мои воспоминания или нет, ЦК не может, так как это внутреннее дело самих редакций.

Тогда я не знал ещё, что в СССР есть только одна редакция – ЦК КПСС, а все остальные – технические инстанции, механически выполняющие одно и то же указание, и что цвет обложек, название издательств, книг и журналов не имеет ни малейшего значения. Мои рукописи обошли все редакции, были прочитаны и возвращены с понимающей улыбкой, с шёпотом:

– Теперь не время. Спасибо.

И с дружеским пожатием руки.

Потом изменилось время, и вырос я сам – понял что к чему. Но единодушный отказ я воспринимал не как удар: воспоминания о злодеяниях сталинского времени – это не роман об Африке. Я должен их написать не ради известности или денег, а из чувства долга. «Если нельзя печатать теперь – не беда, придёт время, и такие материалы понадобятся советскому народу, – повторял я себе. – Мне спешить некуда».

Когда-нибудь обстоятельства не только позволят, но и заставят приняться за обсуждение наболевших вопросов

нашей жизни и истории. Тогда неведомые мне руки снимут с полки пожелтевшие страницы, и я, давно умерший, оживу и, как прежде, вступлю в бой за благо своей страны и народа.

Обязательно, как борец и патриот. Может быть, и как Толстой.

Гипертоническая болезнь приняла у Анечки более тяжёлые, чем у меня, формы. Но старая закалка всегда даёт себя знать: едва устроив наш домашний быт, Анечка отправилась в Исполком и попросила для себя бесплатную общественную работу. Её направили на два тяжёлых участка – в собес и детскую комнату милиции, тяжёлые потому, что инвалиды и хулиганы у нас склонны к нарушению порядка из-за уверенности в своей безнаказанности. Вот о ней стоит попутно сказать несколько слов.

Это было в начале шестидесятых годов, в эпоху махрового цветения хрущёвщины: были опубликованы речи, призывавшие советских людей перевоспитывать хулиганов, пьяниц, негодяев и воров, после суда брать их на поруки и готовить к вступлению в коммунизм, который должен был наступить очень скоро, поскольку мы обгоняем Америку и материальная база у нас крепкая и крепнет дальше.

Фантастические посулы и лживая статистика должны были создать восторженный фанатизм, как в чернейшие годы средневековья, когда церковные проповедники готовили народ ко второму сошествию на землю Христа и началу царства Божия. Если выяснялось, что двадцать тысяч тонн заготовленного лука по расхлябанности властей сгнило на московских складах, то Хрущёв объявил о решении ЦК окружить Москву широким поясом теплиц и огородов и буквально круглый год заваливать народ аппетитнейшей зеленью. На нехватку мяса и молока следовал ответ: ЦК обсудил цифры заготовок и установил, что Советский Союз уже обогнал Америку по молоку и к осени догонит по мясу. И так далее в том же роде, причём все посулы всегда сопровождались делом, то есть разрушением налаженного аппарата и созданием нового, ещё более громоздкого и неработоспособного. Так были разрушены с трудом и по крохам собранные МТС и дефицитная техника, кое-как обслуживающая район дефицитными специалистами, была распылена по колхозам.

Слаженный опытом многих лет работы партийный аппарат, руководивший сельскохозяйственным и промышленным

производством, был развален перестройкой. Колхозы, в которых неподготовленные кадры не могли практически охватить все стороны дела, были укрупнены, и этим руководство ещё более ослаблено. Приступая к очередному разрушению, Хрущёв всегда сначала заявлял: «Нужно посоветоваться с народом!» – а потом самовольно действовал и уничтожал народное добро. Это была вакханалия разрушения, и сейчас перечислять все сокрушительные удары, которые Хрущёв нанёс стране, излишне – газеты сохранились, будущему исследователю они явят собой удивительную картину не только дикого диктаторского сумасбродства, но и молчаливого рабского послушания и, хуже того, всемерного восхваления в печати всех бессмыслиц.

Увидев значение кукурузы в Америке, властелин не понял, что её плодородные влажные поля лежат на широте юга Италии и тянутся до тропиков, – он принялся искоренять привычные нашему земледельцу корма, корнеплоды, травосеяние, методы пахоты – всё переворачивалось сверху дном, даже в тех наших районах, которые некогда славились высокой отдачей на вложенный в землю труд, например, в Прибалтике.

Опьянённый общей безропотностью и своей безнаказанностью, неуч на троне обратился к науке и культуре и стал сыпать **руководящие указания** писателям, поэтам, художникам, теоретикам всех областей науки, практикам всех областей техники. Года два страна пребывала в состоянии одурения и оцепенения. Но всему бывает конец.

Один учёный рассказывал мне, что его брат, председатель колхоза на севере Томской области, получил распоряжение своего райкома немедленно убирать хлеб потому, что в это время Хрущёв, находясь на юге Кубани, **посоветовал** всем поспешить с уборкой! Сначала уничтожали народное добро против воли, с отвращением. А потом привыкли и стали уничтожать с расчётом: не кто иной, как сам Хрущёв, сообщил кошмарные данные о том, как перед его приездом власти приказали валить неубранный хлеб рельсой, которую волочили по колосившимся полям. А партийные органы? А советская власть?! Прокурор?! КГБ! Армия?! Все молчали. Все помогали. Это была расплата за рабство. Коронованный буйан, будучи дураком, сам предал огласке то, о чём ему следовало бы молчать: он дал аттестацию себе, своей партии и стране.

Но не коммунизму – потому что хрущёвщина и коммунизм несовместимы. Вопрос о будущем коммунизма остался открытым.

Это явилось началом второй катастрофы. Первой было неумелое, скороспелое, непродуманное и неподготовленное разоблачение ужасов сталинщины. Вместо того чтобы тихонько выпустить невинных страдальцев и хорошенько их устроить под гром литавр и криков, что партия и Советская власть никогда не ошибаются, Хрущёв сделал обратное – приоткрыл кровавый занавес, не найдя силы сорвать его целиком и раз и навсегда очистить наш государственный дом, и захлебнулся в жалкой болтовне.

Люди растерялись. Недоумевали. Русские люди, кого столько лет считали дураками только потому, что они молчали, теперь вдруг заговорили.

И заговорили матом.

Хрущёв, охаяв прошлое своей партии и режима, воочию и убедительно показал, чего стоит смена одного самодержца другим. Своей деятельностью он охаял и наше настоящее и будущее.

Как-то утром я пошёл купить рыбу. На крыльцо магазина выполз пьяный рабочий, ухватился за дверь, чтобы не упасть, и начал орать:

– Коммунисты? Кто это такие? Гады! Кровососы! Коммунистов надо стрелять, как гитлеровцев!!!

Два офицера КГБ стояли и курили, ожидая своих жён, очевидно, покупавших рыбу. Повернули голову на крик, прислушались и стали разговаривать дальше.

В метро старушка-пенсионерка, судя по одежде, выговору и подбору слов, из рабочих, пустилась громогласно рассуждать о политике. Все слушали, улыбались, молчали. Офицер КГБ сначала слушал тоже, опустив книгу.

– Каждый из наших хозяев, чтоб отнять сладкий пирог у того, который его кусал раньше, должен сначала того обоср...ть! Ленин о...л царя, Сталин – Ленина, Никита – Сталина, а следующий обоср...т Никиту! Так-то! Так легче держать чужой пирог в своих руках! Это уж их техника, я вижу!

– Ты помолчала бы, бабушка, а то с такими словами можно и попасть кой-куда! – сказал кэзэбист.

– А ты чем меня стращаешь, сынок? – взвизгнула старушка. – Лагерем? Так я уже в ем сижу: получаю пенсию на баланду и хлеб, мой лагерь уже тут и есть, в нашей самой Москве!

Кэгэбист встал и вышел на остановке под общие злорадные улыбки.

Вот в такой обстановке и начала общественную работу Анечка! Придя дома, рассказывала чудеса: непротивленец злу Никита посеял злые семена, и из них взошёл урожай непротивленцев в суде и в милиции: хулиган в кино оскорбит человека – его не трогают, ударит – приведут в милицию и после сонного бормотания о том, что мы одной ногой вступаем в коммунизм, отпустят; зарежет на виду у всех – дадут маленький срок и отпустят через год или сдадут кому-нибудь на поруки.

В это время организовались товарищеские суды. Не задумываясь, я предложил парторганизации дома свои услуги и с тех пор по сей день работаю председателем. Работаю много, хлопотно и утомительно вечерами после дневной нагрузки и всё-таки не жалею об этом: я живу с людьми и хочу побольше знать о них, живу в стране, которую люблю и о которой тоже должен иметь ясное представление. Товарищеский суд позволил мне заглянуть, как Хромому Чёрту у Лесажа, в запертые комнаты дома, где со мной вместе живёт около восьми тысяч человек.

Я увидел отвратительную картину разложения, порождённого непротивлением злу, упорным стремлением властей быть гуманными только к преступникам и только за счёт честных граждан, я увидел беспомощность мирных людей, наглость нарушителей и угнетателей и политику власти, которая насаждает безобразия своим упорным невмешательством.

Я спросил у начальника милиции, сидя у него в кабинете, без свидетелей:

– Милиция и суд в параличе. Они косвенно помогают всякой сволочи своим потворством. Скажите, товарищ начальник, в чём дело? Вы получаете сверху указания помогать нарушителям? Или боитесь хулиганов? Или берёте взятки? Или, наконец, просто спите и желаете получать деньги, не работая?

Капитан опустил голову и ничего не ответил. На груди у него пестрели ленточки фронтовых орденов.

Потом я узнал, что все отделения милиции и все районы города соревнуются между собой – у кого меньше задержаний, протоколов и наказаний: это должно показать, что в Советском Союзе вступающий в коммунизм человек уже переделан новыми формами жизни в противоположность Америке, где количество преступлений растёт. Если при

Сталине существование советского человека становилось нестерпимым вследствие соревнования властей в жестокости, то оно при Хрущёве стало нестерпимым вследствие соревнования в пассивности, в невмешательстве. Каждый милиционер, задержавший нарушителя, оказывался врагом своему начальнику и товарищам: ведь он завывает отчётом и снижает премии!

Это были удивительные годы...

Но общественные явления всегда динамичны. Меняются и общественные настроения. Первые годы правления Хрущёва население молчало, оглушённое речами, обещаниями и подкупленное добродушным видом мужика в украинской рубахе, как говорится, – человека из народа, своего в доску. Потом слышались ругательства. И, наконец, наступила третья форма реакции – насмешки. Песенка Хрущёва была спета, когда в глазах народа он превратился в коронованного шута, или, как говорилось в очередном анекдоте, виднейшего представителя юмористического направления в руководстве КПСС.

Народ, наклеив наследнику Сталина ярлык Кукурузника, насмешками не позволил ему развить и утвердить культ своей личности, подняв на смех кинокартину «Наш дорогой Никита Сергеевич». Народ в кино поднимал шум при появлении на экране Фурцевой и не позволил Кукурузнику возвести на трон Екатерину Третью. Народ, бросавший в Никиту гнилые помидоры, не позволил ему остаться государственным человеком: в сотнях анекдотов его высмеяли как неуча, нахала и самодура.

Любопытно было наблюдать ступени, по которым спускались к нулевой отметке престиж и доброе имя Генерального секретаря ЦК КПСС.

Вначале его мероприятия считались ошибочными и вызвали критику; анекдоты этого периода показывают весёлое удивление населения. Убедившись в бессмысленности хрущёвских перестроек и вздорности обещаний, народ стал анекдотами выражать диктатору своё раздражение и недоверие, и, наконец, его престиж упал настолько, что в анекдотах он стал выставляться как вредная народу и позорившая страну личность. В анекдоте этого периода задавали вопрос: «Знаете ли вы, что “Аврору” рабочие хотят отбуксировать из Невы в Москву-реку?» – «Нет. А зачем?» – «Чтобы она дела второй залп по временному правительству!»

Вопрос персональный превратился в вопрос государственный.

Раздражал невиданный ранее дворцовый фаворитизм, при котором на первый план выдвигались проверенные ничтожества – Лысенко, Заглада и прочие очковтиратели, сытно питавшиеся в мутной воде около трона. Рядовые коммунисты волновались, что зять Хрущёва Аджубей с его ведома своевольничает и оттирает на задний план министра иностранных дел и даже ЦК, беспартийных возмущало, что Хрущёв громогласно бахвалится посевами на целине и потихоньку снимает урожай в Канаде, и пр.

Страна была наводнена слухами один нелепее и обиднее другого. Были ли эти слухи правдой – политически неважно, важно то, что слухи кочевали в народе и делали своё подрывное дело.

Никогда раньше наши радиостанции с таким ожесточением не глушили передачи из-за рубежа, и никогда в этих последних советские люди не находили столько горьких крупиц очевидной правды. Например, «Правда» с гордостью напечатала отрывок статьи английского газетного магната лорда Томсона о его поездке с Хрущёвым по стране в личном вагоне диктатора: в статье описывалось, как Хрущёв в украинской рубашке запросто выходил на станциях к людям и беседовал с ними. А несколько дней спустя лорд Томсон в английской радиопередаче протестовал, что «Правда» перепечатала только часть его статьи, а главное выпустила – о том, как роскошен был вагон диктатора и его личная, невидимая народу жизнь – еда, питьё и пр., что вскрывало сущность хрущёвской простоты как показухи и обмана.

Говорили, что Советский Союз пал до уровня центральноамериканских и негритянских республик, управляемых всякими проходимцами и их семьями на правах частных лавочек: называли стоящих у власти людей, которые вместе с Никитой женаты на сестрах и вкупе с зятем Аджубеем и прочими родственниками и друзьями управляют страной на семейных началах. Как раз в то время, когда Никита стал уверять, что наше поколение войдёт в коммунизм и будет жить при коммунизме, поползли слухи о голодных беспорядках, об оскорблениях обкомовцев стоящими в очередях женщинами, об отказе одесских портовых рабочих грузить на иностранные суда хлеб для вывоза, о кровавых событиях в Ростове, где секретарь обкома распорядился стрелять в толпу.

Газеты доказывали, что мы обгоняем Америку, а московские бабы стали закупать в запас крупу и соль: «Правде» никто не верил, потому что все помнили, как на её страницах утверждалось противоположное правде или утверждалось, а затем опровергалось: если «Сталин – это Ленин сегодня», а «Никита Сергеевич – верный ленинец», то кто же такой Ленин и в чём ленинизм?!

Великий разрушитель Хрущёв уничтожил и доверие народа к партии. Он довёл скептицизм до роковой черты необратимого состояния. Были взяты под сомнение самые основы идеологии и морали. Комсомольцы мне со смехом говорили, что марксизм и ленинизм устарели, и никто вообще не знает, в чем они заключаются.

– Нельзя полстолетия жевать одно и то же. Маркс и Ленин были хороши для своего времени, но наша эпоха, столь непохожая на все другие вследствие изменения условий существования, требует и своей особой, совершенно новой теории. Цепляться за марксизм и ленинизм просто нерационально и все, кто им прикрывается, своими действиями его опровергают: Сталин просто расстрелял бы Маркса и Ленина, если бы они попытались стать на его дороге и попробовали бы мешать замене сталинизмом их устаревшей теории и практики, а Хрущёв довёл бы обоих классиков до инфаркта своими извращениями их идей: не Палач и Кукурुзник виноваты, а время! – разъяснил мне в парке МГУ какой-то случайно подсевший на скамеечку юнец с кипой учебников по физике.

– Маркс? Кто это? Не знаю такого. Мы не знакомы, – сумрачно надувшись и глядя в землю, ответил мне юнец с гитарой, бородой и волосами до плеч, видимо, тоже студент МГУ.

Каждая попытка подойти ближе к молодым вскрывала глубокую разницу в наших мироощущениях и воззрениях на жизнь: у меня было что-то, у них – ничего. Пустота.

– Извините, но ваш возраст выдают не морщины, а слова: вы безнадежно устарели с вашими идеями, – сказала молодая девушка, недавно окончившая вуз.

– Вы – представитель наших проигравшихся отцов: посадили нам на шею Сталина и Хрущёва, сами их ругаете, а нас призываете их слушаться. Не хотим! Довольно обмана! Или мы сами найдем себе новые идеалы, или сгорим в атомном огне, но вы, старики, нам не пример и не учителя. Об-

гадились до макушки и уходите! – кричали молодые художники старому партийцу на одной из выставок в Манеже.

Культурные молодые люди и девушки демонстративно пьянствовали, подчёркнуто болтали слова протеста и «на зло» нарушали порядок. Рабочая молодёжь злостовала. На товарищеском суде в нашем доме молокосос по фамилии Марочкин схватил Золотую Звезду на груди Героя Советского Союза полковника Карелина и шипел:

– За жестянку проданся, а? Жиреешь на наши деньги и ещё нам лекции читаешь, как надо жить? Свои законы нам устанавливаешь? Не выйдет! Всех вас надо поскорее гнать в шею!

Боевой полковник побледнел как смерть и... и смолчал. Такое настало время. Старых бойцов осталось мало, а их, марочкиных, – сотни вокруг.

Пьяные студенты МГУ свалили дружинника нашего дома, полковника Лукина, в грязь, и один из них под общий смех стал коленом ему на грудь.

Милиция покрыла хулиганов, жена полковника отдала пиджак в чистку, и все успокоилось.

Успокоилось ли?

Нет.

Этот же процесс развала, порождённый Хрущёвым, давал иные всходы. На фоне недостатка продуктов питания и промышленных товаров и в условиях хрущёвской безнаказанности грандиозно выросли взяточничество, продажа из-под полы, спекуляция и обман. «Работа налево» и «торговля налево» прочно вросли в быт среднего советского человека, моральное разложение пропитало все поры общественной жизни. Когда торговку перед нашей станцией метро поймали на обвешивании, она, улыбаясь, стала кричать толпе взволнованных покупателей:

– Товарищи, а кто теперь не ворует?! Все воруют – и я, и все вы! Каждый тянет, что может! Вот мой муж, к примеру, работает на заводе, они машины строят величиной с дом – так и он ворует. Каждый вечер тянет с завода то гвозди, то молоток. Теперь без этого никто не живёт, и обижаться тут нечего, товарищи мои милые!

Отсюда вырос антипод мрачному, грязному, бородатому юнцу – представительница советской торговли, жирная баба с некультурной намазанной харей, одетая в парчу дикого цвета и импортные сапожки, самодовольное животное, клоп, напившийся советской народной крови, обладательница

богатой отдельной квартиры и мужа-инженера, автомобиля и молодого любовника, денег, растыканных на несколько сберкнижек, и партбилета, позволяющего в случае провала в одном ларьке безболезненно переключиться в другой.

Пьяный юнец и наглая баба-торговка – это порождение хрущёвщины и созданной в стране обстановки безыдейности и безнаказанности. Пусть милосердный бог меня простит, покаюсь: сотни раз я добрым словом вспомнил Сталина и его время вдохновенного труда и строгой дисциплины! Вспомнил и пожалел, что все отрицательные явления сталинизма можно легко вернуть, но положительные – никогда. Идеиное единство и энтузиазм потеряны безвозвратно.

Хрущев перед нашим народом и КПСС дважды виновен – за непродуманное разоблачение сталинщины и за хрущевщину.

Как известно, средний трудящийся человек на земле трудно переносит удар по своим убеждениям, еще труднее – по кошельку и совсем тяжело – по ежедневной кормёжке. Н.С. Хрущёв в начале своего правления принялся разрушать привычный образ мыслей советского обывателя, воспитанного на поклонении Сталину, от самодержавной воли которого якобы зависит его личное благосостояние.

Развенчание культа и образование идеологического вакуума в народном сознании объективно происходили в условиях заметного ухудшения международного положения; ослабление сталинского самодержавного нажима на братские страны социалистического лагеря немедленно привело в движение центробежные силы: первым отпал Китай, семисотмиллионное население которого являлось живой базой мощи антиимпериалистического содружества. То, что Мао Цзэдун является таким же выкорышлем Сталина и его ошибочной политики, как Чан Кайши, и оба изменника служат живым воплощением угрозы, которую Сталин создал для будущего российского многонационального государства, простой человек не понимал и связывал разрыв с Китаем не с именем Сталина, а с бахвальством, слабостью и грубостью Хрущёва. Но интеллигентные люди сразу поняли исторический смысл этого события как начала распада красной лоскутной империи на националистические государства одной народности: многие говорили, что в случае следующей неудачной или тяжёлой войны России уготовлено будущее Австро-Венгрии, то есть внутренний взрыв и распад на части, а в случае нарастания внутреннего напряжения –

судьба Великобритании, то есть постепенное отпадение окраин.

За Китаем из социалистического лагеря формально вышла Албания, а фактически Румыния. Уход последней из-под влияния Москвы резко усилил позиции Югославии, где Тито, мня себя главой государств «третьего мира», не мог не почувствовать, что при наличии глубокого недовольства в Чехословакии возникают объективные условия для создания Малой Антанты № 2, некоего объединения государств, которые, находясь между империалистами и коммунистами, смогут играть на противоречиях и успешно сосать двух маток.

Несмотря на молчание или наигранный оптимизм нашей печати, появление таких облаков на политическом горизонте ухудшило популярность Никиты, и его красноречие дома и за границей стало вызывать раздражение.

Крепко ударив обывателя по голове, Никита Сергеевич приступил к дальнейшим мероприятиям по раскачиванию своего трона: дважды он предпринял жесточайшее ограбление народа, причём особенно больно ударил по карману наиболее нуждавшихся, – сначала «по просьбе трудящихся» была отменена выплата денег по «добровольным» займам, а затем произведён обмен денег из расчёта десять старых рублей за один новый рубль. Когда обмен был закончен, началась безудержная инфляция, и рубль новый по своей покупательной стоимости упал ниже старого. Бабы в очередях рассвирепели.

Тогда начался третий акт хрущёвского лицедейства, начатого как скоморошья забава для народа и переросшего в народную трагедию: в результате бессмысленных перестроек и антинаучных экспериментов сельское хозяйство постепенно пришло в состояние хаоса, а потом – упадка. «Социализм – не колбаса», – провозгласил Кукурузник, и действительно, сначала со стола рабочего человека исчезла колбаса, а потом и кукуруза. Начались волнения, кое-где сопровождавшиеся демонстрациями возмущения голодных людей и ответными действиями правительства, пустившего в ход оружие.

Так как красная партийная книжечка помогала устраиваться, то молодёжь всё-таки шла в комсомол и в партию, однако не скрывая своего скептицизма, и видела ему подтверждение в отсутствии живой работы в комсомольских и партийных организациях: они окостенели, стали самообслужива-

ющимися организациями верующих начётчиков и равнодушных кормушечников.

Призыв Хрущёва поднять целину был с энтузиазмом подхвачен, но вскоре выяснилась экономическая бессмысленность этой героической эпопеи, и в морально-политическом отношении она принесла такой же вред, как и в хозяйственном.

Каждую осень, возвращаясь с Кавказа через всю страну, я видел пустые ларьки на вокзалах, отсутствие колхозниц с местными продуктами, очереди за хлебом, горы пшеницы, сваленной в грязь и мокнущей под дождём, нескошенные поля, брошенную на полях технику, а на первой странице газет – улыбающееся жирное лицо с заплывшими глазками.

Приближение грозы чувствовали все, кроме самого Никиты. Вся окружающая действительность являлась издевательством над простым здравым смыслом, каждый человек понимал, что долго так жить нельзя и страна идёт к пропасти. Трон Кукурузника начал покачиваться...

Глава 5

Мой район, мой дом, мои соседи

Для того чтобы показать условия, при которых пришлось выкарабкиваться на поверхность жизни бывшим сталинским контрикам, без всякой вины сброшенным на самое дно, приходится волей-неволей описывать мелочи, из которых складывается повседневный быт среднего советского интеллигента.

Наше общество усилиями Сталина и Хрущёва уже давно расслоилось на хорошо оформившиеся и отчётливо отгородившиеся друг от друга бюрократические и имущественные группы, и быт академика и колхозника, члена ЦК и рядового рабочего так же разнится, как быт отдельных классов в любой другой стране, только с поправкой на нашу бедность и бескультурие, а также на идеологические словесные упражнения, которые несколько затушёвывают общую картину. Если добавить к этим неприглядным, а иногда и зловонным мелочам описание достижений в науке и военном деле и

некоторые успехи в искусстве, то получилось бы объективное представление о советском образе жизни, которое можно было бы сравнивать, скажем, с картиной американского образа жизни. Но ходом моего повествования мне поставлена узкая, однобокая и неблагодарная задача – подача беглой хроники быта в моей квартире, доме и городском районе, и так как в нашей развивающейся стране быт тоже претерпевает непрерывные изменения, то я оговариваюсь, что описываю не советский быт вообще, а конкретные условия моего личного существования в Москве хрущёвского времени, когда мы обгоняли Америку и на четырёх ногах будто бы вползали в коммунизм.

Я возвращаюсь назад и расскажу кое-что о своей комнате и квартире, и начну эту историю с самого начала.

Основа существования человека – крыша над головой. Выше я рассказал о наших скитаниях и лишениях: в 1956 году после тревожной и голодной жизни в лагере у меня с Анечкой началась тревожная и полуголодная жизнь в Москве. Надо было во что бы то ни стало ускорить получение своей комнаты. Хлопоты взял на себя я. Пришлось ковылять по множеству учреждений, ибо в этом и суть советской административной системы, что много учреждений занимаются одним и тем же вопросом, все тянут, никто не берёт на себя ответственность, все увиливают от окончательного решения, а если и дают его, то отрицательное, но с указанием, что в других учреждениях можно сейчас же хлопотать дальше: это была система кормушек или громоздкое сочетание бюрократических ульев, где трудовые пчёлки прилежно жужжат с утра до вечера и в поте лица вырабатывают не мед, а бесполезные бумажки с номерами, печатями и резолюциями.

По вопросу о получении комнаты я «на всякий случай» одновременно состоял на учёте в Моссовете, в Городском отделе распределения жилплощади, в районном отделе и у полудесятка видных руководителей партии и правительства, которые имеют при себе штат секретарей и принимают и маринуют любые заявления, мороча голову миллионам людей и тем самым недурно обеспечивая видимость полезной работы. Приведу маленькие, но яркие примеры. После прибытия из-за границы в 1936 г. я получил две комнаты в избе на краю города, в Лихоборах, в переулке, где тогда строилась электростанция и поэтому всегда было грязно. Осенью я подал заявление, чтобы мне выдали во временное

пользование пару казённых сапог. Заявление прошло по инстанциям путь от тов. Воробейчика, старшины, заведовавшего каптёркой, до народного комиссара внутренних дел тов. Ягоды, из четвертушки бумаги превратилось в пухлую связку отношений с резолюциями, проделало обратный путь от наркома до каптёрки и было мне возвращено с резолюцией «Отказать». Это случилось через год, когда я уже жил в поселке Сокол в хорошей квартире нового дома и в сапогах не нуждался.

Второй пример. В начале шестидесятых годов в нашей ближайшей аптеке я увидел, как простой женщине, матери новорождённого ребёнка, выдают чужое лекарство (тёмную жидкость вместо белой) с равнодушными словами: «Ладно, и это хорошее». Анечка отругала меня, что я не вмешался. Потом мне самому выдали чужое лекарство – вместо горьковатого оранжевого рибофлавина какой-то белый безвкусный блестящий порошок, похожий на тальк. Равнодушно сунули жалобную книгу. В ней я нашёл вопли протеста и бурю ругательств, приписал от себя пару тёплых слов и послал книгу министру здравоохранения СССР.

В аптеке на похищение мною книги не обратили внимания. Министр СССР переслал её министру РСФСР, и тощая замусоленная книга, обрастая новенькими отношениями и резолюциями, поплыла по республиканским, областным, городским и районным аптечным управлениям, пока через полгода не проделала длинный путь обратно и не вернулась ко мне в виде толстой связки бумаг с нелепой резолюцией: «Случай грубого обращения с вами не подтвердился!»

Эта система обожает работу с огоньком, но на холостом ходу!

По поводу квартиры у меня осталось немало следов бюрократического творчества – расписок, копий, резолюций, номеров телефонов и прочее. Но я хочу описать две сценки, типичных для того времени. Мы жили на Ново-Басманной улице, а наше райжилуправление помещалось тогда позади Елоховской церкви, с той стороны, где на ночь становились троллейбусы. Дежурный водитель включал отопление и садился спать, положив на баранку руки и голову, а в салоне устраивались люди, желавшие утром попасть на приём к начальнику райжилотдела, полковнику в отставке и Герою Советского Союза, или к другим отставным полковникам, работавшим вместе с Героем в качестве инспекторов. Жаждавшие встречи были с вечера переписаны и на рассвете,

когда их выгоняли из троллейбуса, начинали перекличку по списку, шум и ссоры, а с приходом сотрудников вламывались в помещение и учиняли там потасовку, длившуюся до конца рабочего дня.

Я не знаю, как теперь ведётся приём граждан в райжилотделах Москвы, но в конце пятидесятых годов он напоминал рукопашный бой, где успех зависел в основном не столько от кулаков и горла, сколько от инициативы. Мне особенно запомнилась такая бытовая сценка: увешанный орденами безногий фронтовик, по-звериному рыча, костылём лупит Героя, тот осел под стол, прикрыв голову руками, и Золотая Звезда весело поблескивает из-под стола. А на столе – тощая женщина, истерически визжа, раскладывает выводок своих детей, младший из которых уже успел пустить струйку на служебные бумаги товарища начальника. Мне, больному и слабому, такие энергичные приёмы были не под силу, меня самого вытесняли из помещения вон, на улицу, и поэтому я старался нажимать на верхних этажах этого бюрократического сооружения: рядом с нашим двором находился райисполком, и я старался мёртвой хваткой схватить за горло самого председателя исполкома. Хе-хе! Схватить за горло... Это моими-то дрожащими руками! Пред исполкома был тогда товарищ Астафьев, мужчина необыкновенной толщины, с малиновой свиной мордой, которая, казалось, вот-вот лопнет от водки и сала. Чтобы попасть к нему на приём, нужно было становиться в очередь перед парадной дверью исполкома с одиннадцати вечера и зябнуть на ногах до утра. Утром это животное проползало мимо хвоста ожидающих и, ни на кого не глядя, вползало в здание, а за ним, давя друг друга, бежали уставшие и продрогшие просители.

Разговор был отменно вежливый, как повелось после смерти Сталина. Животное сидело и тяжело переводило дух, хорошенькая секретарша записывала указания, проситель стоял, дрожа от боязни упустить какую-нибудь мелочь.

- Что желаете, товарищ?
- Прошу комнату. У меня имеются такие основания...
- Аллочка, запиши: дать комнату. Какую хотите, товарищ?
- На втором этаже. Я парализован, а моя жена...
- Аллочка, запиши: на втором этаже.
- И на солнечной стороне, пожалуйста!
- Аллочка, – на солнечной.
- Если можно, то во дворе.

- Можно. Аллочка, напиши: во дворе. Всё?
- М-м-м... Чтоб дом был новый.
- Аллочка: дом новый. Всё?
- Гм... м-м-м...
- Всё, я вижу. Идите, товарищ. Следующий!
- А когда будет комната?
- Будет. Ждите. Аллочка, давайте следующего!

Животное было поймано на взяточничестве и воровстве, и поскольку оно находилось в списке номенклатурных партийных работников, его перевели в другое место для тех же целей – воровать, жрать и пить водку.

Позднее был пойман на спекуляции жилплощадью и упрям от глаз московской публики шеф райживотного некий товарищ Бобровников – мосживотное покрупнее, то есть председатель Моссовета, большой любитель говорить речи о коммунизме и новом советском человеке. Наконец, был на этом же пойман заместитель Хрущёва, госживотное-гигант, товарищ Козлов, сослан на восток и там сгинул от инфаркта.

И в довершение чудного пейзажа последний мазок: в конце царствия Хрущёва народ в своей молве в тех же грехах обвинил и его самого, как любителя за народный счёт строить дачи и квартиры для себя, своих родственников и прихлебателей. Конечно, Никита Сергеевич не воровал, он просто-напросто искренне считал государственное добро своим собственным, а человек, как известно, не может воровать у самого себя! Многим позднее выяснилась и причина самоотверженности храбрых полковников из райжилотдела: когда наш дом выстроился, то все они отхватили себе по многокомнатной отдельной квартире и живут припеваючи рядом с нашей комнатушкой. Мы – соседи, я встречаю полковников ежедневно, вспоминаю елоховские сражения и вздыхаю, что-то шепчу себе под нос, но шепчу тихо, и никто из проходящих мимо ничего не слышит.

Сейчас я живу в показательной юго-западной части Москвы, которая, по мысли Хрущёва, даёт представление о советском городе при коммунизме. Здесь заложены основы быта москвичей на следующее столетие, здесь обитают те, кто якобы ещё при своей жизни вступит в царство божье на земле. Поэтому стоит рассказать о стиле моей жизни в этом показательном уголке будущего, о советском образе жизни хрущевской эпохи. Я глубоко верю, что он изменится к луч-

шему, что люди, жаждущие не столько коммунизма, сколько элементарного порядка, когда-нибудь заживут спокойнее, и лет через пятьдесят эти строки будут читаться с удивлением и недоверием. Тем лучше! Тем полезнее кое-что записать теперь, чтобы не забылось или не оказалось бы нарочито забытым.

Наш Октябрьский район от начала до конца пересекается прямым и широким проспектом Ленина, от бывшей Калужской площади до строящегося Университета им. П. Лумумбы, длиной в несколько километров. На всём протяжении – одна общественная уборная, так что когда наш «царь Додон» встречал заграничных президентов и королей, то на проспект в рабочее время сгонялось до полумиллиона служащих (во что это обходится?!), и они часами при любой погоде переминались с ноги на ногу вдоль перекрытого для городского движения проспекта, и в прилежащих дворах образовывались жёлтые лужи, которые зачастую не высыхали до отъезда высоких гостей. Разговоры в стотысячной толпе, состоящей из кадровых рабочих производства и работников научно-исследовательских институтов, было бы полезно записать на магнитофонную ленту и сдать на хранение в Институт марксизма-ленинизма. Для поучения.

Культурным центром района является Московский Государственный Университет им. Ломоносова на Ленинских горах, наша достопримечательность для показа провинциалам и иностранцам. Это – нелепое по архитектуре и аляповатым украшениям здание с претензией на величие, очень неудобное для жильцов: в этом «храме науки» помещаются общежития для студентов и квартиры для профессоров, актовый зал, кухни, столовые и прочее. Характерны два факта: в нижних помещениях и коридорах забыли устроить надувную вентиляцию, но занавес в парадном зале обошелся народу в один миллион рублей!

Сначала студенты на заграничный манер комфортабельно жили в небольших комнатах, но Хрущёв обратил внимание на необычно высокий процент беременностей и набил людьми помещения так, чтобы отнять у студентов возможность отдавать время лирике.

Здание, парк и эспланаду строили заключённые, МГУ – это храм науки сталинской эпохи, и когда придёт время бережного отношения к старине и восстановления примет прошлого, то в парке выстроят вышку с чучелом стрелка и кусок

забора с ржавой колючей проволокой. Перед парадным подъездом хотели воздвигнуть монумент Корифею Науки, но после хрущёвских разоблачений площадка пустует, и Университет стоит задом к скромной статуе того, чьё имя носит. Я живу на проспекте Вернадского, из окна вижу здание утром в розовой дымке, а ночью – в огнях прожекторов, привык к нему, оно построено и на мои деньги, и это нелепое порождение сталинского времени я безусловно люблю, но странную любовь...

От Калужской (Октябрьской) площади до Калужской заставы здания приземистые и добротные, они выстроены до революции – здесь находятся загородные по тому времени больницы, монастырское подворье, старинный дворец, мелкие мастерские. При Сталине сюда начало вторгаться жилищное строительство, но по высоте и стилю малочисленные новые здания разнятся от старых только безвкусицей – нагромождением украшений всех стилей и эпох или полным их отсутствием и недоброкачеством постройки; новые в отличие от старых вечно стоят обшарпанные, с обвалившейся штукатуркой, постоянно небрежно ремонтируются и красятся и затем снова стоят обшарпанными.

От Калужской заставы до оврага близ улицы Кравченко ещё недавно простиралась свалка и пустошь, в которую вползали поля, огороды и свинарники колхоза села Семёновское. В 1957 году здесь стояли четыре новых здания – двенадцатизэтажный дом преподавателей МГУ с населением почти в 10 000 человек, школа, украшенная колоннами так, что в яркий летний день в комнатах горели электрические лампы, Красный дом с населением примерно в 8000 человек и наш, тоже предназначавшийся для обслуживающего персонала МГУ. Кругом – грязь и гадость, и было совершенно не понятно, зачем от окружной дороги по свалкам и оврагам потянули куда-то вдаль великолепное шоссе.

К нашему дому мы добирались на трамвае, стояли в очередях, дрались, висели на подножках и каждодневно рисковали умереть под колесами. И вдруг вдоль строившегося шоссе появился один огромный дом, потом второй... двадцатый. А в то же время под землей шло строительство метро, и через несколько лет наискосок от нашего дома выросла станция «Университетская». За 10 лет родился город с населением почти в полмиллиона человек!

Девятиэтажные дома ровной грядой протянулись вдоль проспекта Ленина и перпендикулярных улиц, а внутри, как

грибы, выросли сады, скверы и между ними пятиэтажные дома. На месте крайнего колхозного огорода появился благоустроенный крытый рынок, но из свинарника ещё долго слышалось счастливое хрюканье.

Потом на этом месте вознёсся к небу десятиэтажный Дворец моды, город пополз по холму выше и в конце концов на наших глазах съел село и колхоз. Когда он добрался до оврага, Хрущёв был объявлен склеротиком и лишён власти. Наступила новая, более разумная и прогрессивная эпоха, а с нею вместе и в архитектуру вошёл и более современный стиль: на нашем проспекте за оврагом поднялись двадцатичетырёхэтажные дома-башни, и город ещё быстрее зашагал дальше. Таким образом, проспект отражает четыре эпохи, я живу в средней части, в хрущёвской.

Наши дома одной высоты (девять этажей), одной длины (в квартал), одной формы (типа домиков на детских рисунках), одного цвета и одного оформления: они выстроены по одному проекту и являются ярким обвинительным материалом госархитектуре хрущёвского времени, связанной по рукам и ногам указаниями безграмотного своевольца. Пустых пространств не оставлено для удовлетворения будущих, пока ещё неизвестных нужд, не выделены участки и для постройки вспомогательных зданий, которые требуются уже теперь: дома стоят впритык, город может внутренне благоустраиваться и украшаться за счёт неизбежного в будущем сноса недавно выстроенных зданий: гаражи не предусмотрены, места автостоянок тоже, школ мало (дети учатся в две, а то и в три смены), они очень неудобные, несовременные, помещений для учреждений нет, они не предусмотрены.

Совершенно отсутствуют предприятия и учреждения, где можно было бы работать, – утром и вечером сотни тысяч человек загружают собой транспорт. Магазинов не хватает, они переполнены даже теперь, при остром недостатке продуктов и товаров. А что будет, если когда-нибудь снабжение в нашей стране улучшится? Если понадобятся помещения для нового вида торговли или обслуживания? Об этом никто не думал: под надзором некультурного хозяина в его вотчине планировали город безгласные рабы или равнодушные чиновники – они украли у нашего города его будущее!

Часть зданий и все первые этажи пойдут под слом, когда советский человек захочет жить современно, спокойно и культурно, как люди давным-давно живут в других странах.

Сегодня первые этажи заняты под квартиры: в окнах от хулиганов и воров вставлены решётки, ставни никогда не открываются из-за уличной пыли и чада, и здесь же, в редких магазинах, бесконечные очереди, ругань и фантастическая потеря драгоценного времени. Планировщиками будущего города оно не ценилось. Чтобы купить всё нужное к завтраку и обеду, я ежедневно утром выстаиваю десять очередей (к кассиршам и продавцам), это моя норма. А домохозяйки теряют времени и нервов ещё больше. Итак, первое, что следует отметить: в коммунизм мы обречены войти с хвостами.

Нумерация в нашем районе удивительно запутанная: девятиэтажные дома по проспекту имеют порядковые номера, а пятиэтажные, беспорядочно разбросанные между сквериками и садиками, имеют номера по близлежащему высокому дому и называются корпусами, поэтому два соседних корпуса могут иметь одинаковые номера, если только они числятся за разными домами. Отсюда несусветная путаница и большие неудобства: найти знакомого человека у нас нелегко, особенно гостю, который приехал из центра в такси или в автобусе, да ещё вечером.

Когда не видно жителей, наш показательный район действительно похож на город: недавно я приехал домой поздно ночью, вышел из метро, и при свете луны пустынные прямые улицы с высокими ровными рядами домов производили культурное впечатление Запада. Но солнце взойдёт, и зрелище бескультурья и бедности заслонит собой всё.

Днём улицы заполнены бабами в платках, на тротуарах – грязные колхозные спекулянтки продают из мешков семечки, вокруг них наплёвана шелуха, и когда девушка, одетая в импортное платье, шляпку и туфельки, получает в нейлоновую сумочку два стакана грязных семечек, то становится понятно, что Москва заселена недавними пришельцами из деревень и город пока окультурил их только внешне. Много пьяных, они видны на каждом шагу. Нельзя пройти по улице, чтобы краем уха не услышать похабную ругань от мирно беседующих студентов с портфелями или даже женщин со свёртками. В течение десяти дней я засекал количество встреч со сквернословьями: получилась расплывчатая цифра 1–10, в зависимости от маршрута моей прогулки. Но прогулка без неизбежности услышать похабщину у нас невозможна: и в самом деле, чему удивляться? Ведь все эти хамы даже не замечают, что сквернословят, иначе они вообще не

говорят, добавочные слова помогают им уложить скудные мысли в ещё более скудный набор слов.

В выходные дни и в религиозные православные и мусульманские праздники по улицам шатаются группы пьяных – мужчин и женщин – с гармошкой, визгом, притаптыванием: это те, кто **гуляет** и хочет по деревенскому обычаю показать другим, что у них есть деньги. Летом тут и там из раскрытых окон несётся пьяный рёв: там справляются семейные торжества.

Из окон своей комнаты я вижу цистерну с пивом и длинную очередь бедно одетых мужчин с помятыми лицами. В жару и холод они долго стоят в очереди за кружкой пива, из кармана вынимают пол-литра и доливают в пиво водку, пьют, тут же рядами мочатся в кусты и становятся в очередь снова: кружек мало, чтобы выпить три кружки, надо стоять час. Это – кадровые рабочие. Пьют, идя на работу, пьют после работы, еле держась на ногах от усталости. Пьют, курят и спорят о футболе.

На район, где живёт несколько сот тысяч человек, построен один (!) кинотеатр и ни одного общественного клуба с танцплощадкой (!!), ни одного спортивного зала (!!!) Причем главное в том, что и места для них не оставлены. Этот город коммунистического будущего некультурному Хрущёву мыслился только как огромная ночлежка для строителей коммунизма, для выполняющих план винтиков, но не для людей, имеющих культурные запросы. И он действительно выстроил фантастическую захудалую деревню с домами в девять этажей.

В выходной день здесь от тоски деться некуда, и молодёжь может только утром изнывать от безделья, пока к обеду не раздобудет водки. Пьянство катастрофическое, в каждом магазине со съестными продуктами вино продаётся стаканами, а водку продают без очереди, пьяницы покупают её в складчину и тут же, в магазине, оборотясь лицом к стене, по очереди распивают бутылку из горлышка. Отсюда порнографические рисунки в коридорах (иногда в сверхнатуральную величину), надписи, свастики. До последней побелки я насчитал в коридорах нашего дома 14 свастик! Это не от сочувствия Гитлеру, а от безысходной, мертвящей скуки.

В этой связи полезно упомянуть два случайно подслушанных разговора. В общественной уборной около станции метро с гордым названием «Университетская» в выходной день вижу двух пожилых рабочих, которые мирно распива-

ют водку из стаканов, украденных в автоматах, крикают и с аппетитом закусывают колбасой. Один из них говорит:

– Люблю пить водку в уборной! Здесь культурная обстановка, понял? Не то, что дома, – жена орёт, дети. Отдыха нету! А тут тебе умывальник и писсуары, и зеркало, и чистый воздух, а главное – спокойствие: отдыхай себе и наслаждайся жизнью!

И другой пример: в рабочий день вижу двух грязных рабочих, возвращающихся с завода (спецовок в нужном количестве у нас не дают, и рабочие ходят на завод в нестиранной рваной собственной одежде, пока она не истлеет). Плетутся в темноте, один, постарше, поучает того, кто помоложе:

– Неправильно делаешь, парень, некультурно: окончил работу и напился. Идёшь, шатаешься. А дома мать и жена поднимут вой. Разве так делают? О семье не заботишься, парень! Пить надо утром, перед работой: за день на работе хмель пройдёт, и вечером пойдёшь домой трезвый, в самом что ни на есть лучшем виде! Понял, в чём она находится, культура-то?

Каждый день утром я иду на станцию метро и вижу одну и ту же картину: на тротуарах топчутся давно и хорошо знакомые люди – похожий на обезьянку старый китаец продаёт самодельные раздвижные веера и шарики из ярко раскрашенной бумаги; вечно пьяный безногий старик предлагает самодельные кухонные мочалки из медной проволоки; колхозные бабы с семечками для показа товара усердно плюют направо и налево; старая матерщинница в латаных валенках и модной шляпке разложила ядовито окрашенные самодельные леденцы – петушки и человечки на палочках; несколько малиновых бабьих рож тонкими голосами из-под грязных платков, поверх которых «для гигиены» нашлепнуты белые накрахмаленные шапочки, соблазняют прохожих канцерогенными пирожками, тут же неопрятные девчонки из магазинов продают бесчисленные речи Кукурузника и туалетную бумагу, скверно изготовленные и очень дорогие вязаные вещи, французские, английские и итальянские партийные газеты и, наконец, бойко раскупаемый товар – мороженое: толстые мамы, пожимаясь от стужи, в тридцатиградусный мороз стоят в очереди и пичкают мороженым свой посиневший на ветру сопливый приплод. Это не город и не деревня. Это – Москва пятидесятих годов.

Во дворовых садиках на скамейках, на грязных пустых ящиках и на проволочных сетках для молочных бутылок си-

дят по-деревенски бабы в платках. Разговоры стандартные: «Вчера мой Митька вернулся пьяный в дым», «У соседей Степаных целную ночь лупил жену», «Наши татары вторые сутки гуляют, мы не спим ни минуты» и так далее. Каждый культурный и хорошо одетый человек, проходя мимо, видит их полные зависти и злобы глаза, слышит за спиной ядовитое шипенье.

– Вот скажи, – обратилась как-то к Анечке одна из таких баб, – это справедливо, что я сижу в старом ситцевом платье, а ты идёшь в новом, да ещё и в шелковом? Иде советская власть, а? Иде справедливость и коммунизм?

– Во-первых, не ты, а вы, – приятно улыбаясь, ответила Анечка, – ведь я не баба, сидящая с вами рядом у мусорного ящика. Во-вторых, это справедливо, потому что я – учёный специалист, а вы – тёмная деревенская татарка, я – полезный для государства человек, а вы – сбежавший из колхоза дезертир, то есть бесполезный мусор. В-третьих, скажите спасибо Советской власти – только при ней Москва может быть до такой степени замусорена вредными людьми, как вы сами, ваш спекулянт-муж, который сейчас стоит в очереди за нейлоновыми блузками, и пьяница сын – вон он орёт песни и ломает кусты. Если бы не Советская власть, в этом доме жили бы полезные люди, служащие и рабочие, а не человеческие подонки!

В нашем доме два детских сада. Это понятно – ведь здесь живёт около шестисот детей. Когда в весенний день они высыпают во двор – ни пройти, ни проехать, шум и крик оглушительно звучит меж высокими стенами. Дом расположен против парка, но безмозглые планировщики заняли двор деревьями и кустами, они всем мешают, дети теснятся на дорогах, где мешают автотранспорту, играют меж мусорными ящиками и грязными бочками, выбрасываемыми магазинами.

В центре двора, среди кустов, есть детская площадка с оборудованием для игр, и там действительно всегда много детей. Но тут же врыты два стола и скамьи, на них всегда режутся в домино и в карты отцы и дедушки этих детей, и от столов на весь двор плывет похабная матерщина. Она как зловонное облако, дети как бы купаются в волнах сквернословия. Никакие протесты не помогают.

– Все ругаются, – отвечают папы и дедушки. – И мамы, и бабушки тоже дома загибают как положено. И чего вы беспокоитесь? Все ругаются!

Гм... Не все, конечно. Сталин был хамом и матерщинником. Хрущёв – хам и матерщинник. Это – вожди, «ленинцы» и «марксисты». А что же спрашивать с рядовых рабочих? Нет, время для борьбы с пьянством и сквернословием в СССР ещё не созрело. Это дело далёкого будущего.

Отсюда второй вывод – мы плетёмся к коммунизму с водкой и матом...

А от пьянства прямая дорога к хулиганству, к бессмысленной порче государственного имущества: у нас в доме портят телефонные аппараты и будки, бьют стёкла, ломают деревья, топчут цветы. Однажды хулиганы молотками пробили на каждом этаже дыры в картонной обшивке стен, другой раз перерезали провода во многих местах, в третий – в подвале ломами разбили трубы с горячей водой и устроили под домом горячий потоп и тем вызвали расход в 50 000 рублей и т.д. А кто посмелее, тот идёт рвать сумочки у женщин – деньги-то на водку нужны?! И бояться нечего, потому что хрущёвская милиция бездействует, а Сталин выучил советских людей не оказывать никому помощи – моя хата с краю...

В огромном дворе играют сотни детей, но там нет уборной, и дети мочатся в лифтах и за лифтовыми клетками. А глядя на них, то же делают и пьяные, а кое-кто из них и не только мочится. На общих собраниях жильцов по вопросам о правилах социалистического общежития всегда выступает наша немая уборщица и предельно понятными жестами поясняет, что в лифтах скверно пахнет, что мочиться там можно, но вот по большому делу бегать туда нельзя, это некультурно!

Слушатели кивают головами, дружно поднимают руки и единогласно голосуют «за»...

Тут будущий мой читатель воскликнет:

– А в моём доме и в моей квартире всё было не так!

Возможно!

Я не пишу социологического исследования, а только даю для него черновой материал. Пишу о том, что лично видел и пережил, мои записки – свидетельские показания очевидца, и не больше. Описывается Москва в хрущёвское время, образцово-показательная юго-западная часть и величественный девятиэтажный дом-гигант на углу проспектов Ломоносова и Вернадского.

В Москве существуют две категории домов, где жизнь налажена лучше, и живут там другие люди. Это – ведомственные и кооперативные дома. В ведомственных домах публика культурнее и дома чище. У нас есть немало друзей, которые живут в ведомственных домах, мы с Анечкой бывали у них в гостях, и я спешу подтвердить, что порядки и стиль жизни в нашем доме хуже, чем там.

Но я живу с Анечкой в моём жэковском доме, и если говорить правду, то даже рад этому: это обычный московский дом, и я описываю обычную московскую жизнь своего времени. Но и в ведомственных домах беспокойно, и там многие мучаются, потому что для того, чтобы люди жили, как им хочется, нужно, чтобы они занимали самостоятельную квартиру под замком. Это элементарно и естественно. Но вот этого-то у нас пока нет! И дальше: выйдя на улицу, счастливый обладатель отдельной трёхкомнатной квартиры (больших у нас не строят) сразу же попадает в обычную неустроенную советскую жизнь – в магазине, на транспорте, на работе и во время отдыха он видит расхлябанность и дезорганизацию сверху и царство анти-НОТа.

Ах, да что там! Куда уж говорить о научной организации нашей жизни, нам хотя бы милиционер не спал бы на посту и кассирша не грубила! А улучшить жизнь на одном её участке нельзя, надо поднимать культуру вообще, широким фронтом, это комплексное мероприятие, начинающееся в семье и в детдоме, продолжающееся в школе, заканчивающееся на работе и на отдыхе и охватывающее все слои общества и все области человеческой деятельности. Рабочие у нас говорят, что сам Хрущев, его родня и придворные сановники уже давно вступили в коммунизм, но двухсотмиллионному населению страны от этого не легче.

Дома-казармы на Ленинском проспекте являются вещественным доказательством некомпетентности партийного руководства и приниженности специалистов, обязанных делать то, что они считали плохим и вредным.

После устранения Хрущёва в производство было пущено большое количество новых типовых проектов, и, хотя строительство жилых домов по уникальным проектам у нас пока отсутствует, внешний вид домов всё же стал разнообразнее, а внутренняя их планировка – более удобной. Ушёл только один человек – и изменились целые улицы города!

Стали ли новые дома более дорогими?

Нет, они обходятся дешевле. Но чуть-чуть приоткрылась дорога инициативе, специалистов стали больше слушать, смолкла лживая присказка своевольца «Надо посоветоваться с народом!» – и результаты не замедлили сказаться: там, где кончается хрущёвская часть нашего проспекта, этого архаического военного поселения, там начинается самый обыкновенный современный город с разнообразными по архитектуре и цвету домами.

Я приведу ещё два простых, маленьких и характерных примера.

За последние одиннадцать лет в стране были выстроены тысячи больниц. Одна на наших глазах выросла на месте свалки вблизи свинарника села Семёновское. Это – новенькая, «с иголочки», больница нашего показательного района.

Мы с Анечкой случайно побывали в ещё более показательной больнице для членов правительства и иностранцев. Обе – увеличенный вариант русских больниц прошлого века, слегка изменился только внешний вид: наша больница не имеет тошнотворных ампириных колонн и облицована стандартным кафелем, а не оштукатурена. Но ни одной попытки осуществить современные достижения в больничном строительстве сделано не было: с момента ввода в действие оба эти учреждения – брак, удостоверение в отсталости и потере денег, материала, земельного участка, труда и, главное, времени. Эти несовременные больницы не только обладают малой пропускной способностью (как гостиницы сталинско-хрущёвской постройки), но и внутренне не приспособлены для установления новейшего, с каждым годом усложняющегося оборудования. А уж об обеспечении удобств больным и обслуживающему персоналу, об обеспечении снижения эксплуатационных расходов за счёт постоянного совершенствования труда и говорить нечего. Так как место занято и так как нужды города и науки растут и их давление делается всё настойчивее, то придёт время, когда эти новые здания придётся ломать и перестраивать.

В маленькой Швеции как раз в это время нашли оптимальный вариант больничного здания – в двадцать этажей и больше, со сквозными шахтами, по которым движутся с этажа на этаж аптека и картотека, телевизионные камеры наблюдают в палатах за каждым движением больных, а в уборных, коридорах и на рабочих местах – за каждым движением служащих, с перфокартами вместо истории болезни, электрокарами вместо носилок, диктофонами в карма-

не халата врача, обходящего больных, с пневматической почтой между этажами, с раздвижными стенами из пластмассы, электронно-вычислительной машиной, помогающей ставить диагноз и указывающей лучший метод лечения каждого больного и к вечеру подсчитывающей, оправдал ли себя или нет каждый работник, – такие больницы у нас невозможны, потому что они рациональны, а рационализация связана с сокращением количества рабочей силы, такое сокращение в масштабе страны неизбежно вызовет возникновение безработицы, которая при социализме якобы невозможна, чёрт побери, ведь «людей надо кормить!» Да и кто согласится интенсивно работать за нищенский оклад?

Мне рассказали, как на некоторых заводах сначала устанавливают современные линии связанных между собой производственных автоматов, бегут в парторганизацию, получают строжайшее запрещение кого-нибудь увольнять и, наконец, переходят к старому ритму работы, при котором или автоматы работают с полной нагрузкой, а ненужные рабочие без дела слоняются по заводу, или автоматы стоят, а рабочие, обливаясь потом, работают дедовскими способами.

А вот ещё пример – наши комбинаты бытового обслуживания.

Все они выстроены при Хрущёве. Основное слово, слышащееся в толпе возбуждённых заказчиков, всегда одно: «Безобразия!». Потому что велик процент ручного труда, машины несовременные, работают медленно и плохо, материалы для починки – отходы с фабрик и заводов, а мастера – пьяницы, инвалиды, воры или случайные люди, не способные устроиться получше, потому что зарплата здесь столь низкая и настоящий, знающий своё дело мастер в такой комбинат на работу не пойдёт. Но даже и эти горе-специалисты выполняют заказ хорошо, если сунешь им в карман деньги и не потребуешь квитанции: работа «налево» – это стимул, тогда каждый начинает думать и шевелиться!

Нужно сказать ещё несколько слов об артелях и кустарях нашего района. Они до Хрущёва были и выполняли чрезвычайно нужную населению функцию, дополняя казенные предприятия, – чинили обувь, часы и другие домашние вещи, шили кепки нестандартного размера или покроя и прочее. Брали дороже, чем государственные, но и работали качественнее, а сырьём им служил товар, украденный и перепроданный рабочими с госпроизводства. Хрущёв, не обеспечив замены, этих ремесленников прикрыл – социализм в

эпоху перехода к коммунизму не совместим с артелями ремесленников, тем более в такой высокоразвитой стране, как СССР. И получилось, что я, например, не могу сейчас заказать себе весеннюю серую кепку, да, обыкновенную весеннюю серую кепку, потому что у меня большая голова, а в магазине для великанов продаются зимние чёрные кепки из шубного сукна!

В городе с семимиллионным населением, в Столице Мира, как любит выражаться наша потрепанная событиями и целованием стольких сапог «Правда», купить серую лёгкую кепку на мою голову нельзя, и я хожу поэтому с непокрытой головой, как студент.

Но ведь не в моей кепке дело. Метод – сначала душить, а потом не спеша начинать бесконечные разговоры о замене – разве это не тот же приём, которым была проведена коллективизация сельского хозяйства в начале тридцатых годов? Она обошлась в миллионы человеческих жизней и отбросила нашу аграрную экономику назад так далеко, что и сейчас, спустя тридцать пять лет, страна не может залечить эту рану, и всё же такой явно неудачный, я бы сказал, противоречащий здравому смыслу, метод и по сей день воспевается на все лады как эпохальный скачок, большой скачок вперёд и насильственно навязывается населению в позднее завоёванных землях – Западной Украине и Прибалтике.

В самом начале своего царствования Хрущёв оповестил население, что коммунизм недалеко и входит в него наши люди уже вполне готовы, потому что советский человек – это **новый** человек, обладающий всеми нужными качествами. Этому новому человеку противостоит житель Америки, где все разлагаются заживо. При любом антиобщественном поступке хулигана и вора надо перевоспитывать, и для этого следует не наказывать, а брать на поруки.

Лакейская печать запестрела сообщениями о том, как пойманных с поличным мерзавцев вместо того, чтобы в порядке существующего законодательства судить в народном суде, стали судить в коллективе по месту работы, стыдить, указывая, что мы одной ногой уже в коммунизме и, вымучив из виновника ленивое обещание исправиться, брать его на поруки, а затем забывать, оставляя поступок безнаказанным: раз десять или двадцать пьяный муж изобьёт детей и жену, тогда раскачается **общественность**, ему прочтут лекцию и отпустят с миром – до следующих нарушений и следующего обязательства исправиться.

Потом стали прощать не проступки, а преступления. Функции суда первой в стране незаконно присвоила себе КПСС, а потом с её лёгкой руки все другие организации, и суд как единое государственное учреждение для разбора дел потерял значение. Приведу два примера.

Муж одной из дочерей моей соседки на заводе украл для продажи миниатюрный электромотор с дорогого импортного станка. Его поймали, «судили» в цехе, указали на близкий приход коммунизма и оставили безнаказанной порчу ценного государственного имущества.

В нашем институте комсомольцы сгружали бумагу для институтской типографии, и один сделал другому замечание по поводу нечестной работы. Комсомолка, «дружившая» с лентяем, заманила в выходной день честного работягу за город, где он и был зверски избит приятелями лентяя. Потом комсомольская организация «судила» виновного, вынесла ему порицание и оставила дело без последствий, так что теперь и потерпевший, и хулиганы продолжают оставаться в одной организации, величают друг друга товарищами и вместе идут к коммунизму.

Милиция и ОБХСС с восторгом ухватились за новое направление – оно освобождало органы поддержания порядка от всякой работы и заботы: каждый милиционер, составивший акт о нарушении, становился врагом своему начальнику и товарищу потому, что все отделения милиции в пределах района, и все районы в пределах города, и все города в пределах страны соревновались друг с другом в том, у кого **меньше** замечено нарушений – ведь число преступлений растёт только в Америке, а у нас оно резко снижается, поскольку страна заселена **новыми** людьми, а премиальные начисляются, исходя из результатов соревнования!

Когда Анечка работала в милиции, то наслушалась там разговоров о ещё одной причине бездействия органов порядка. «Вот вызвали, обвиняют в злоупотреблениях в магазине, – объясняла ей какая-то труженица советской торговли, – а я не беспокоюсь: чего мне? Суну десятку, и всё!»

А раз по дороге на Кавказ попутчица, заведующая большим ларьком, добродушно и доверчиво нам объясняла технику организации фиктивных взломов и ограблений по предварительному сговору с милицией.

Затем стало перестраиваться и правосознание населения за счёт его горластого и бессовестного большинства, которое делает погоду на всех собраниях коллективов: каж-

дый хулиган, особенно несовершеннолетний, может рассчитывать у нас на яростную защиту со стороны других действительных или возможных правонарушителей громогласными ссылками на гуманность и коммунизм, а настоящие советские люди бессильно молчат. Поэтому, естественно, на улице и в общественных местах наступила власть хулиганья, распоясавшегося при двойной поддержке партии и милиции.

Только к самому концу этого удивительного времени в ЦК и правительство посыпались протесты, и хрущёвская пресса разрешила себе первые робкие проявления несогласия с толстовским и христианским непотворением злу. В «Крокодиле» появилась карикатура: пьяный хулиган идёт по улице, все разбегаются и прячутся кто куда, а он орёт: «Граждане, куда ж вы?! Берите меня на поруки!» В театре, с эстрады, я слышал диалог:

– Вчера вечером на улице вижу, пьяный хулиган избивает старушку. Подскакивает милиционер. Хулиган бросается и на него. Милиционер, к счастью, не растерялся: раскрывает кобуру и...

– Выхватывает пистолет и стреляет в хулигана?!

– Ну, что вы... Вынимает карандаш, чтобы...

– Составить акт?!

– Да нет же, как можно! Чтобы подчеркнуть в газете подходящее место в одной недавней речи!

Таков быт улицы и нашего двора. Право, поставленное на защиту нарушителей против потерпевших. Организованная дезорганизация. Хрущёвщина в чистом виде.

Наискосок от моего дома – кинотеатр и обувной магазин.

Если хвост в кассу кинотеатра вьётся змеей в три кольца – значит фильм западный. Если хвост небольшой – фильм наш.

В магазине все полки заполнены отечественной продукцией, но покупателей мало – все только бегает и ищет. Но в одном углу толкучка, ссоры, шум. Там **дают** импортную обувь. Западную – французскую, итальянскую, английскую – сапожки, стоящие месячный оклад тех девушек, что рвутся к стойке.

А как жить потом? Откуда и как они добывают деньги?

В троллейбусе тихо, я слушаю разговор сидящих впереди меня молодых женщин.

– Ты чего такая сонная?

– У меня сосед инвалид, получает большую пенсию. Вчера дочь с мужем всю ночь били его головой об стену, выко-

лачивали деньги. Только задремлю, опять в стенку бух-бух-бух... Не дали спать. Совести у людей нет, а ещё студенты!

В нашем доме сын-подросток выбил матери зуб, выкопачивал деньги на «личную жизнь». Все были за то, чтобы взять его на поруки и перевоспитать. Я хотел передать дело в Народный суд, мне не позволили, и в виде протеста месяца на два я ушёл из товарищеского суда.

И опять тот же вопрос: выводы?

Наши огромные дома – брошенное ничейное имущество: их может портить всякий, кто хочет. И деревья, и цветы – всё ничейное. Всё прозябает без хозяина: заступиться некому. Всё, что я вижу вокруг – никому не нужно. Придёт в негодность это – сделают или построят другое. «На улице не останемся, – говорят мне во дворе. – На то и Советская власть».

Эта варварская или иждивенческая мыслишка – основа поведения людей на улице и в доме. Она считается завоеванием революции. Пожилые бабки на скамейках, их пьяные сыновья и распущенные дети – все за неё. Спорить, доказывать, останавливать – бесполезно. Защищать нечем – закон и сила за нарушителей. Наказывать – опасно, невозможно, бесполезно.

Да и зачем? В обстановке, в которой мы живём, спокойные и честные люди – тоже беззащитные и ничейные.

И я тоже – ничейный.

Однако пора с фешенебельных проспектов, по которым тащатся плохо одетые малокультурные люди, вчерашние обыватели захудалых деревень, войти в огромный, облицованный светлым камнем дом, который внушительно высится на углу двух проспектов, наискось от станции метро с обязывающим названием «Университетская».

Это моё жилище, моя крепость, как говорят англичане: в этой крепости я и живу, осаждённый татарами.

В доме помещаются четыре магазина. При других порядках, не выходя из дома, можно было бы спокойно жить месяцами, такой дом сделал бы честь любой столице. Но не дом делает быт, а люди, и порядки у нас хрущёвские.

Вот от них-то и все наши беды.

Дом девятиэтажный, с тридцатью подъездами. Население достигает восьми с половиной тысяч человек, а количество квартир – семисот. Перед домом парк, внутри дома – свой сад.

Постройка дома солидная, квартиры оборудованы комфортабельно – есть газ, горячая вода круглые сутки, лифт, мусоропровод. В санузлах – финское оборудование, на полу – финский паркет. Всё чудесное, высокого качества. Но оборудование пригнано непрочно, стоит косо, всюду дыры, наляпан цемент. На первый взгляд трёхкомнатная квартира кажется хорошей, а чуть приглядишься – и со всех сторон выпирают все недоделки, вся небрежность и неумение строителей. Нет, это не западная современность, это пока наш переходный период и первые шаги к современности.

Дом был выстроен для преподавателей МГУ, но вместо них вселили работников райжилотдела, военных, иностранцев и реабилитированных; все вместе они составляют около половины населения. Вторая половина – рваньё и отбросы из подвалов и лачуг, давно брошенных старыми москвичами, кадровыми рабочими, и самотеком заселёнными пьяницами, воруём и случайными проходимцами, хлынувшими в Москву на поиски более лёгкой жизни. Достаточно сказать, что десять процентов населения величественного дома – татары из захолустных деревень, неграмотные, алкоголики и агрессивные наглецы. Часть их устроилась при доме дворниками – их в ЖЭКе 120 человек (спасибо социализму, при нём безработицы никогда не будет!). Тут играет роль то обстоятельство, что в милиции много татар, через которых и даются взятки начальству.

Множество полезных и нужных людей в Москве безнадёжно бьётся в тисках невероятной жилищной нужды: одна наша сотрудница, кандидат наук, вернувшись из Лондона после курса специализации, нашла, что её муж живёт с другой женщиной и ей отгорожен узкий проход в три метра длиной и один метр шириной: прямо из двери она на коленях вползает на нары, где живёт и работает – пишет докторскую диссертацию, и не имеет надежды стать на очередь, ибо у неё уже полная московская норма жилплощади – 3 м²! А мои соседи и подобный им человеческий мусор живут в новых домах и в условиях комфорта, который им не нужен.

Ну вот, теперь пора рассказать о соседях.

Татарское нашествие больно коснулось меня с Анечкой: мы получили комнату в 13 м² в трёхкомнатной квартире, где две другие комнаты в 18 и 20 м² занимает татарская семья. Глава семьи – конюх на складе, умер от пьянства и туберкулеза. Его вторая жена, Фатиха, – психически неполноцен-

ная: три года она просидела в 1-м классе сельской школы и была исключена как непригодная для учения (может только подписываться). Это маленького роста безобразная старуха; за воровство её в деревне жестоко били, и следы побоев остались на лице. Фатиха – злая, завистливая и хитрая тварь. В квартире она подворовывала, что может, и грызет Анечку из злобы, зависти и по расчету, думая, что если мы не выдержим и уйдем, то они захватят нашу комнату.

Сморщенная и зловонная, она приходила в ярость, когда Анечка появлялась в кухне с подрисованными губами или в новом платье:

– Намазалась! Мы, если намажемся и оденемся, будем ещё лучше!

И так было каждый день. Я уходил на работу утром, приходил вечером. Целый день оставшуюся одну Анечку соседи грызут насмерть и фактически беспричинно. Когда в неделю дежурства старой Фатихи наша финская чудесная уборная приходит в состояние клоаки и я, указывая себе на нос, протестую, то Фатиха решительно отвечает:

– Уборный не роза, нюхать не надо!

Вначале Фатиха с помощью соседей-татар писала на нас доносы в домком. Убедившись, что это не помогает, она пустилась на провокации: исцарапает себе лицо в кровь, выбежит на лестницу и зовёт своих татар на помощь, крича, что Анечка её избивает. Но на её беду такие провокации тоже не принесли пользу. Так и живёт она за картонной стеной как притаившийся враг.

Старшая дочь умерла в сумасшедшем доме, вторая, Ханифа, – нервно-психическая больная, умеренная алкоголичка, член КПСС, фабричная работница. Под влиянием алкоголя впадала в ярость, что тоже не способствует спокойствию Анечки и успеху лечения гипертонии. Она не менее опасна, чем Фатиха. Однажды она вызвала свидетелей, чтобы они удостоверили, что ночью мы пытались взломать их замок в целях ограбления квартиры. А дело было проще: младшая дочь, Рахмиля, привела с улицы неизвестного мужчину, потому что мать уехала в гости ночевать и койка была свободна, но не могла открыть дверь, так как пьяная сестра не слышала стука. Поднялись мы и увидели, как Рахмиля старается открыть дверь всем, что попадает под руку. Кстати, о Рахмиле.

Желая найти с нею общий язык, Анечка помогла ей прилично одеться. Помню, Рахмиля вышла на кухню в шляпке, с сумочкой, на высоких каблуках.

– Ну, как? Хороша?

– Да, – ответила Анечка. – Но ты, Рахмиля, никогда не подмываешься и от тебя пахнет, как от кобылы летом. Надо мыться!

И она объяснила, как это делается. Минут через десять я зашёл в умывальную вымыть руки. В ванной, финской, могущей быть белоснежной и блестящей, стояла на четвереньках Рахмиля так, как была, – в шляпке, в туфлях на высоких каблуках и с модной сумочкой в одной руке, а другой подмывалась.

Установить контакт с Рахмилей так и не удалось: она стала приводить мужчин в кухню и делать любовь на нашем кухонном столике. Меня это не устраивало: получить сифилис от случайной хорошенькой женщины плохо, но подхватить его от собственного кухонного стола – ещё хуже. Я пожаловался в домком, и с Рахмилей мы окончательно поссорились. Как раз в это время с большим трудом я добился приёма у генерала милиции и рассказал ему о нашем житье-бытье. Генерал подумал, почесал затылок и посоветовал нам поскорее бежать, пока татары не сговорились и не сделали нам срок.

Таковы дочери. Теперь о сыновьях. У старшего, Энвера, – опухоль мозга. Он – сапожник, ворует кожу в госмастерской и дома шьёт ботинки, бьёт жену и заявляет, что будет жить с собственной дочерью, когда та подрастёт: раздвигает ребёнку ножки, осматривает и приговаривает: «Эх, растёт для меня цветочек!»

Жена не спит ночами, стережёт дочь, днём бегаёт к Анечке плакаться, но не прочь попутно перехватить водки у Ханифы. Второй сын, Шамиль, смог служить в армии, женился и ушёл из дома. У него русская чистенькая жена и сын, страдающий судорожными припадками. Третий сын, Равиль, сидит в психоизоляторе, это немой идиот с ухватками гориллы. Четвёртый, Алим, живёт с нами: это восемнадцатилетний полунемой микроцефал, злая тварь, которая, когда разозлится, норовит укунить мать. Работает в мастерской для душевнобольных, клеит там коробочки. Мать в восторге от его ума и красоты, обращается к нему на «вы» и называет его только «комиссаром» или «директором». Когда сын провинится, мать кричит:

– Директор, Вы не хотите по голым жопам мокрым тряпкам?

Не умея приучить сына к человеческой речи, мать научилась говорить с ним на его зверином языке, она теперь хорошо мяукает и рычит, и они бегло объясняются друг с другом: когда в нашей квартире нет скандала, рёва или мата, то слышится ласковое звериное урчанье.

С Ханифой живёт муж, русский, приبلудившийся солдат, потомственный алкоголик – у него отец и брат шизофреники. Это вор, он принимает товар в ресторанах, снабжает семью, кормится сам, продаёт ворованные продукты из-под полы, а свой оклад пускает на водку. Обращение в ОБХСС и в милицию бесполезно, жалобы по месту работы – тоже: там живут со взяткой, воры в торговле нужны прежде всего самим директорам, и Борис Васильевич на наших глазах благоденствует вот уже который год. Правда, в ОБХСС выставили ему карточку «Вор», а в милиции «Хулиган», но на этом и успокоились.

Но когда он в пьяном виде замахнулся на Анечку стамеской, да ещё при свидетеле, члене партии, заведующем столярной мастерской, то мне удалось устроить ему привод, карточку хулигана, штраф и предупреждение. Сейчас с ним установилось состояние вооружённого нейтралитета. В трезвом виде Борис Васильевич неплохой человек с претензиями на культуру, например, любит кино. Когда у нас собираются гости, почтенные старушки, учёные с именами, из-за картонной стены слышится зычный и сочный мат и перемат, и я потом заявляю соседу энергичный протест, то он только недоумённо разводит руками и обиженно говорит:

– Так я же не ругался! Просто рассказывал Наташке и Аньке (меньшой дочери и жене) про кино!

Так длилось пять лет, во время которых мы усиленно ухаживали за соседями, желая подарками, угощениями и мягкостью найти путь к миру: давали подработать Фатихе, кормили вареньем идиотов, подносили бокальчик Борису. Это было ослепление, какое-то странное наитие, мы точно забыли наш лагерный опыт. Потом обрезали материальную помощь и подачки, за каждый скандал стали платить усилением нажима. И тут всё пошло на лад! Хамы поджали хвосты, стали тише. Но моя крепость сделана из картона и втиснута в клетку со зверьём. Мы живём всегда начеку.

Англичане говорят: «Мой дом – моя крепость!» Мы с Анечкой повторяем: «Наш дом – опасный обезьянник!»

Конечно, можно было бы обменяться комнатой, но в чем гарантия, что будущие соседи окажутся лучше теперешних? Татары – простые люди, в какой-то мере они меня боятся; а если соседкой будет советская генеральша? Мой приятель по Парижу, отставной полковник КГБ, живёт в квартире, где соседка наотрез отказалась принимать участие в уборке: «Чистота меня не интересует. Если она вам нужна – убирайте сами!» И всё. Жена полковника чистюля. Она нервничает и страдает, моет и убирает за соседей, он ругается и ищет новую квартиру, а мы наблюдаем и пока присмирели в своей комнатухе. Таких примеров много. Купить отдельную квартиру через кооператив боимся: вдруг по жребии получим 20-й этаж? Там люди клянут свое житьё из-за неполадок с лифтами, и все стараются куда-нибудь сбежать. У нас лифты тоже часто стоят, и поэтому какой музыкой звучат для нас слова от разъярённых ожидающих:

– Каждому гаду дают комнату на втором этаже, а тут вот стой после работы и жди!

Анечка говорит, что надо бежать прежде, чем мы одряхлеем. А сама недавно спаслась от мозгового удара тем, что у нее вовремя пошла горлом кровь. Куда же бежать? Ведь Фатиха в ожидании рубля хоть подаст кружку воды или сообщит в домком... Нет, пока надо сидеть на месте...

Чувствуя себя дома как в осаждённой крепости, я вынужден был пойти на работу в товарищеский суд при нашем доме, чтобы найти хоть какую-нибудь опору в партийной организации, домкоме и милиции.

Я много и утомительно тружусь в институте, всё свободное время пишу для себя, а часы вечернего отдыха отдаю общественной работе.

И не жалею.

Я живу среди людей, и товарищеский суд даёт мне возможность взглянуть на жизнь в сотнях комнат дома. Я люблю жизнь и хочу её знать.

Прежде чем в своем рассказе я выйду из квартиры, добавлю несколько слов о нашей личной жизни.

Благородством критики наших противников и высоким художественным мастерством отличаются работы коллектива художников, назвавшего себя смешным словом Кукрыныксы: их карикатуры делают нам честь в отличие от

бесчисленных и плодовитых некультурных мещан (Фомичев и другие), выплотившихся на поверхности сталинско-хрущёвской культуры и целящихся в противников, но метко попадающих в наше самолюбие: интеллигентному советскому человеку за их продукцию просто стыдно.

Я не понимаю технику работы Кукрыниксов и, уважая их, не могу последовать примеру, и, хотя единомышленников у меня много и немало людей, бывших в лагерях со мной рядом, я предпочитаю работать один: инстинктом чувствую, что творчество – одинокое дело. Я даже намеренно мало читаю, потому что боюсь, что бессознательно начну подражать понравившемуся мне писателю и потеряю свою индивидуальность, то есть начну видеть вещи чужими глазами. Я внимательно слушаю критику, но иду своим путём.

Так получилось у меня и с Анечкой. Она подсказала мне немало ценных сюжетиков для моих беглых зарисовок и кое-где указала на художественные промахи. И всё же писать свои воспоминания я хочу сам, хотя бы потому, что это не роман, то есть не стопроцентное художественное произведение.

Но предприимчивая Анечка деятельно участвует в моей работе – она обеспечила мне тыл, взяв на себя все хозяйственные и бытовые заботы.

Я ежедневно просыпаюсь в пять утра и лежу один час, обдумывая наступающий день и всё, что мне предстоит сделать и как именно. В шесть встаю, в семь заканчиваю завтрак и выхожу за покупками. В доме у нас три магазина, где можно купить всё необходимое. Иногда приходится забежать в другие магазины или на рынок, но и эти места расположены рядом или вблизи, и в девять часов я выкладываю рядом со спящей Анечкой всё необходимое. Когда вечером являюсь домой, то меня встречает то, что так желает уставший человек, – уют, чистота, комфорт, забота.

Моё дело – зарабатывать деньги, дело Анечки – их разумно тратить. Больших претензий у нас нет, и всё или почти всё, что нам хочется, мы имеем. «Здоровье и мир!» – вот наша ежевечерняя молитва судьбе. Пока что очередной войны нет и мы относительно здоровы, а потому не желаем ничего лучшего, чем то, что есть. Чтобы сохранять физическую бодрость, Анечка вопреки гипертонии стирает, моет пол, готовит пищу и делает множество других домашних работ – она в квартире маляр, электрик, плотник – словом, мастер на все руки.

Конечно, годы наложили свой отпечаток на её внешность – лицу дали морщины, фигуре – излишнюю полноту. Но они не могли украсть у неё то, что, на мой взгляд, ценнее всего, – отпечаток породы. Когда мы сидим за столом в обществе образованных и культурных людей, Анечка всегда выделяется правильностью черт лица, белизной кожи, хорошей осанкой, непринуждённой приветливостью. Не без зависти женщины говорят о её фотогеничности. Она уверена в себе и в обиду себя не даёт. Меня понимает с полуслова, и многие говорят, что мы даже физически похожи, выглядим как брат и сестра.

К нам приходят в гости только очень отобранные люди. Всех случайных знакомых мы незаметно отсеиваем, а кое-кого после ближайшего знакомства просто вычеркиваем. Но и отобранных так много, что за зимний сезон мы едва успеваем дважды побывать у каждого и дважды принять у себя. Другие вечера берут театр, кино и концерты, иногда лекции.

Но самыми приятными вечерами для нас остаются те, когда мы дома и одни. Каждый в отдельности мы чувствуем себя отрезанной половинкой, которой будто бы чего-то недостаёт. Но вдвоём мы одно. Я в сложенном виде, целое Я. Тогда на душе спокойно, и наступают внутреннее расслабление и отдых.

На шестьдесят восьмом году я ввёл в распорядок недели день отдыха – что поделаешь, старею, ничего не поделаешь. Мы ездим в большой парк и гуляем там по тихим дорожкам и всегда смеёмся над теми, кто покупает дачи и становится их рабами: ни **своя** клубника, ни **свои** грибы нас не устраивают, мы – интеллигенты, и ничто кулацкое, мелкособственническое нас не радует.

Не радует нас и семья Лины, и она сама. Все женщины по характеру распадаются на две группы – женщины холостячки – любовницы – ученые и женщины матери-самки с выводком щенят – любительницы и знатоки быта. Для Анечки главное – муж и специальность, для Лины – дети и цены на рынке. Поэтому Анечка удачно организовала свою жизнь, Лина – беспокойная неудачница, остро завидует матери, она вечно наседает на нее как голодный шакал и норовит урвать кусок из рук: ей кажется чудовищным, что бабушка обслуживает мужа, а не внуков, что может поехать к морю без внучки или внучка, может купить пару белья себе, не купив еще три пары – дочери, внучке или внучку. А между тем Лина, Зяма и Сережа хорошо зарабатывают, Лина купила

себе хорошую квартиру и хорошо ее обставила и решительно ни в чем не нуждается. Тут сказывается не только разница характеров, но и советский мещанский образ жизни.

СССР – это страна торжествующего мещанства, в которой налет нищенской материальной культуры сгладил внешние признаки рабочих и интеллигентов, и все население, от моего вождя Никиты Сергеевича с его родней до моего соседа Бориса Васильевича с его родней, подведено под один интеллектуальный уровень. Или вынуждено притворяться, что подведено.

Мы чувствуем себя на острове. Он отнюдь не необитаем. Рядом – настоящие интеллигентные люди и мой верный маленький, толстенный и – увы! – уже старенький Пятница.

Что ж, и это счастье! Пусть всё так длится хотя бы еще сто лет!

Но прежде чем рассказать о товарищеском суде, опишу своих соседей по коридору: это типичный набор случайных собранных вместе советских людей – если читатель представит себе их, то ему легко представить себе жизнь и в остальных ста двадцати семи коридорах дома.

Справа от наших дверей живут две семьи. Молодая чета – Дуня и Руслан, евреи, беспартийные, оба инженеры, оба милые и воспитанные. У них маленькая дочь. И русская семья – два сына, слесари-станочники, хорошо одетые и подтянутые, жена старшего брата тихая, милая и скромная закройщица и воспитанный мальчик-школьник, а также мать братьев – малюсенькая и хлопотливая старушка восьмидесяти четырёх лет, шустрая, всегда приветливая.

В следующей квартире жила пожилая культурная женщина, реабилитированная заключённая, мужа которой погубили в лагерях. Еврейка. Мать взрослой замужней дочери-врача. Жить бы ей и жить, но дочь не оставляла мать в покое ни на день – всё требовала денег и помощи, и довела её до инфаркта. В двух других комнатах проживает молодой слесарь-лекальщик Толя, вежливый, хорошо одетый, идеальный тип высококвалифицированного советского рабочего, его миловидная жена, заведующая отделом радиотехники большого универмага, и четырнадцатилетняя хорошо высколенная дочь.

После смерти реабилитированной в освободившуюся комнату вселили старушку Марию Васильевну, судомойку из ресторана, пьяницу и проститутку. До ухода на работу

Мария Васильевна успевала, как говорится, на скорую руку обслужить шоферов, подвозящих во двор товары нашим магазинам, – кого за бутылку кефира, кого за булку хлеба, кого за пакет картошки, в зависимости от магазина и груза.

Вечерами Мария Васильевна сдает свою комнату для пьянок и разврата: по квартире в одних рубашках мечутся пьяные девки, мужчины ревут песни, пьяная Мария Васильевна на кухне жарит мясо. Блевать все бегают без разбора, кто куда добежит – и в кухонный моечный резервуар, в унитаз, в умывальник и даже в ванную. Мат и рёв слышны с лестницы, сама Мария Васильевна фразы не свяжет без похабщины. Однажды я с Анечкой шёл в гости, вдруг из дверей выползла (на руках и коленях) Мария Васильевна, доползла до лестничной площадки, подумала, вернулась, открыла крышку помойного ведра, выблевала туда и уползла обратно в квартиру.

Другой раз мне повезло: вызванный Толей в качестве председателя товарищеского суда, я бежал на помощь и наткнулся на заместителя начальника милиции (он же помощник по политической части), толстого и чистенького старшего лейтенанта в форме, и на оперативника в штатском. Улизнуть обоим стражам порядка не удалось. Мы застали веселье в самом разгаре – и голых девок, и пьяных мужиков, и забившихся в угол миловидную Толину жену с дочкой, и, главное, перегарную вонь и блевотину в ванной. Сама хозяйка не могла стояла на ногах, не опираясь спиной о стену, и еле шевелила языком. Лейтенант стал называть эту старую потаскуху мамашей, а она его сыночком, он даже ради шутки украл из её кармана ключ и потом со смехом подарил ей на память. Но протокол составить отказался наотрез, рассказал пьяной гадине о коммунизме, козырнул мне и был таков! Он не хотел вредить своему начальнику милиции протоколом и тем подтвердил хрущёвский тезис, что только в Америке люди разлагаются заживо!

В следующей квартире живёт почтенная старушка, её пожилая дочь-парикмахер и маленький внучок Димочка. Семья тихая, скромная. Третью комнату занимает Катя, проститутка средних лет, когда-то попавшая под трамвай около «Метрополя» и потерявшая руку и ногу. Катя обслуживает всех инвалидов нашего дома, и когда туда врываются их жены и начинают колотить валяющихся в постели раздетых людей-обрубков, то не выбирают костылей из груды, а бьют кого попало и чем попало.

Катя не прочь и сдать комнату и под кратковременное использование: туда похаживает мой сосед Борис Васильевич, Ханифа уже выбила его оттуда костылём хозяйки в сопровождении такого мата, что все женщины и дети нашего коридора пришли в изумление. А пухлая розовая вдова с шестого этажа рассказывала Анне Михайловне, что Борис Васильевич, обнимая её на Катиной кровати, сумел украсть из кармана домашнего халатика два рубля.

Следующую квартиру занимает вдова крупного партийного работника, шизофреника, много лет отравлявшего ей жизнь попытками самоубийства и буйством. Она ухаживала за ним по ночам, а днём работала врачом-рентгенологом, была всегда занята, я бы сказал, наэлектризована энергией и выглядела худой и здоровой. Теперь он умер, она бросила работу, располнела, опустилась, взгляд потух: одиночество доконало её быстрее тревог.

В последней квартире коридора тоже живут две семьи. Мужа в одной семье Анечка помнит по авиационному заводу паренёком-комсомольцем; теперь он в летах, коммунист, работает всё там же по профсоюзной линии. Жена – дородная, администратор гостиницы, коммунистка. Дочь окончила вуз, педагог, комсомолка. Спокойная русская семья. Маленькую комнату занимают реабилитированные заключённые: седовласый инженер Миша и бывшая опереточная певица Софья Владимировна. Лагерь переломил им хребет, и после реабилитации они не смогли стать на ноги: инженер Миша целые дни ходит по дому с мокрым зловонным мешком через плечо, роется в помойных ведрах и мусорном ящике, а Софья Владимировна, пробежавшись по магазинам с самодельным лагерным костылём под мышкой, одетой и с костылём укладывается в грязную постель и валяется в ней целый день. Помоечник и симулянтка – две типичные лагерные фигуры, они живо напоминают нам минувшие годы, но бедным соседям не до сентиментальных рассуждений: куча зловонных объедков на кухонной газовой плите отравляет существование педантичной даме-администратору – готовить для себя и семьи вкусную еду среди грязи, заразы и зловония поистине невозможно.

Вот и все о нашем коридоре. Картина ясна. Почему мои соседи татары, Марья Васильевна и Катя живут в великолепном доме, построенном для преподавателей МГУ? Их место в лагерях или деревнях, откуда они сбежали.

Почему десять лет нельзя найти управу на проститутку и содержательницу дома свиданий? Из гуманности? А это гуманно, что дочь Толи и маленький Димочка растут среди такой нравственной грязи?!

Если это гуманность, то только хрущёвская!

Не могу не сказать несколько слов о влиянии такой жизни на окружающих.

Я помню Анечку в лагерях. Там было много скверного. И все мы поэтому возмущались, и Анечка, с её прямым и живым характером, – не менее других.

Раздумывая о прошлом и настоящем, я прихожу к выводу, что причиной нашего возмущения был всеобщий нравственный протест, исходивший из убеждения в безнравственности некоторых явлений нашей тогдашней жизни. Все тогда понимали, что эти нарушения, прежде всего, ненормальны, и потому осуждали их, инстинктивно требуя соблюдения нормы: возмущался потерпевший, возмущались свидетели, а нарушитель и покрывающее его начальство смущались, чувствовали себя неловко, не смотрели в глаза, делали вид, что ничего не видели. Этим они подтверждали ненормальность нарушения. Факт аморальности никем не отрицался, а сила протеста зависела от темперамента.

У Анечки он бывал всегда бурным. Когда мы поселились в монументальном доме-дворце показательного района нашей социалистической столицы, то реакция Анечки на все безобразия быта вначале была такая же, как когда-то в лагере, а потом начала сглаживаться все больше и больше, до полного исчезновения: на моих глазах Анечка **адаптировалась** к нашему быту, как к зловонию: он стал нормальной средой для неё, как заводской химик может не ощущать и не замечать запаха, скажем, сероводорода или карбида.

«Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение», – заметил Достоевский, описывая царскую каторгу. Пробыв столько лет в заключении, мы не могли к нему привыкнуть, но зато адаптировались к советскому быту в хрущёвское время. Вот два примера этого быта.

Молодая расфуфыренная девушка сходилась с троллейбуса – она, очевидно, спешила в гости. За ней стал сходить пожилой пьяный мужчина и сблевал ей на голову и плечи. Мы с Анечкой сошли раньше и обернулись на крик. Обгаженная девушка стояла в отчаянии, по её лицу струилась слюва и слёзы. Мимо проходили остальные пассажи-

ры – два офицера, женщина, студентка. Ни один мужчина не бросился задержать пьяного, не накомылял ему по шее; ни одна женщина не бросилась к потерпевшей и не помогла пройти в уборную – она у нас как раз напротив остановки. Пьяный медленно проковылял дальше, люди оглядывали потерпевшую и равнодушно шли дальше без тени возмущения на лицах – это были адаптированные граждане.

И, наконец, последнее наблюдение. В метро пьяный облевал спину и подол шинели милиционера, читавшего книгу. Тот огляделся, брезгливо смахнул с шинели блевотину, сделал шаг в сторону от лужи и снова уткнулся в книгу. Я, в ярости скрежеща зубами, подскочил и прорычал:

– Жаль, что мерзавец не сблевал вам за шиворот, товарищ милиционер! Очень жаль!

Молоденький милиционер ничего не понял. Между тем поезд остановился, пьяный вышел, и мы покатали дальше.

– А что же я мог сделать? – наконец спросил он.

Я взорвался:

– Схватить его! Притащить в милицию! Набить морду! Заставить вычистить шинель и сапоги! Составить протокол! Получить с него за убыток! Посадить и дать год за позорное поведение в метро – ведь кругом женщины и дети!

Милиционер с удивлением меня выслушал.

– Я, гражданин, сменился с поста, и так кричать на меня не следует: вы, конечно, по виду, может, и профессор, но и я окончил десять классов. Держитесь, как положено!

И уткнулся опять в книгу.

Ну, ясно теперь, что такое хрущёвщина и стиль жизни в царствовании Хрущёва?

Конечно, сначала была бессильная ярость. А потом понимание невозможности борьбы со злом, которое насаждается сверху.

А в результате – адаптация. Человек – существо, которое ко всему привыкает... Анализируя смену реакций Анечки, я думаю, что причина здесь в безвыходности положения, в сознании, что нарушения насаждаются сверху и потому **перестают быть нарушениями и становятся нормой**. А против норм протестовать нельзя. Поясню мою мысль ещё одним примером.

На восьмом этаже нашего дома живёт большая татарская семья – муж-дворник, жена-мусорщица и выродки дети. Лет пять тому назад проходящей по тротуару Анечке дети сбросили на голову пакет с глицерином и марганцовкой –

от удара пакет с треском взорвался у неё на голове. Шляпка была старая, глаза и лицо остались целыми, и Анечка не очень испугалась. Но ярость её была велика. Прошли годы состояния бесправия, приниженности и бессилия.

Недели две тому назад мы возвращались с концерта. Сейчас весна. На Анечке была новая модная шляпка в виде светлого мужского цилиндра – она ей шла, и Анечка очень гордилась ею. На лестнице те же шалуны, которые подросли в безнаказанности и стали злостными хулиганами, подстерегали идущих и мочились на них в пролёте между лестницами. Новая шляпка была изгажена мочой. И что же? Пять лет обучения смирению не прошли даром: Анечка спокойно помыла шляпку и стала носить её дальше. Денег на новую у нас нет, да и не к чему её покупать – ведь мы во власти хулиганья.

Мне показалась примечательной именно вялость реакции: выработалась **привычка к унижению**. Разве я мог думать, выполняя в спецлагере два рисунка на тему унижения женщин – с молодой искалеченной лагерницей и вольнонаемной начальницей медсанчасти, – что настанет время, и я буду обдумывать третий рисунок об унижении женщины – и на этот уже раз с Анечки, своей жены, москвички, вольной гражданки Советского Союза?!

Вчера на лестнице лежал в собственной блевотине, моче и кале мертвецки пьяный жилец 3-го этажа, молодой человек. Был праздничный день. Нарядно одетые девочки спокойно шагали через него, стараясь не обмазаться и весело щебеча о предстоящем празднике в школе. Я наблюдал за выражением детских лиц: весёлое до пьяного, несколько озабоченное при перешагивании и снова весёлое. Но ни тени гадливости и возмущения. Это были адаптированные дети, и Анечка теперь тоже адаптирована.

Ну, теперь пора рассказать и о товарищеском суде: это тоже кусочек моего существования и картина общественной жизни города и эпохи, и, говоря о ней, я не выхожу из рамок темы.

В доме свыше семисот квартир, из них триста **конфликтуют**, то есть за молчаливыми коридорными дверями в них кипят ожесточённые свалки. Почти каждую неделю по вторникам в 7 часов вечера в помещении «Красного уголка» собираются судьи, стороны, свидетели и слушатели (весь состав суда – реабилитированные контрики). Я прихожу из

института или Ленинской библиотеки усталый, по дороге кляня на свете всё, кроме Анечки, дивана и пачки газет. Но захожу в зал, занимаю место председательствующего за столом, покрытым зелёным сукном, и усталость вдруг уходит: я люблю эту работу и люблю этих людей – ведь они мои современники, волей-неволей я связан с ними узами жизни: и чистенький, вежливый, подтянутый лекальщик Толя всем телом прижат ко мне так же, как и мерзкая курва Марья Васильевна: все мы – соседи, все волей-неволей досконально знаем друг друга.

В товарищеском суде разбираются дела разные – и сложнее, и попроще. Расскажу о тех и о других.

В квартире две семьи без детей. Муж – доктор наук, жена – кандидат и их деревенские малограмотные старички, и второй муж – доктор наук с женой-кандидатом и набором деревенских стариков. Все четыре ученых – физики, работают под руководством знаменитого академика Капицы в сугубо передовом научно-исследовательском институте. Все четверо – члены партии, первый муж – член партийного бюро института, второй – секретарь парторганизации отдела. Все четверо родились после революции. При заселении дома ими было куплено мусорное ведро для кухни, однако без крышки. Потом заказали крышку. Она обошлась в один рубль, но при расчёте доли каждой семьи вспыхнула сора, дальше – больше, неприязнь перешла во вражду, вражда – в ненависть, ненависть – в драки. Начинают бой всегда кандидаты – одна другой всаживает удар между ног остроконечным носком модной туфли и вцепляется в модную причёску противницы. На крики, на бегу вооружаясь чем попало, включаются доктора, оба молодые и по-деревенски жилистые; последними подтягиваются на передовые линии старики – к этому времени сражение переходит в коридор и жилые комнаты, старики на кухне дерутся сковородками и кастрюлями. Мы сначала их штрафовали, но они все получают такие мощные оклады, что наши штрафы их не пугали. Тогда мы послали академику и парторганизации института описание всех их подвигов. Академик заявил, что поседет и сойдёт с ума, и умыл руки, а парторганизация сначала вlepила мужьям по «строгачу», а потом поставила вопрос об исключении. И что же? Страсти немедленно стихли, потом одна семья срочно выехала, и в квартире воцарились покой и порядок.

Пример второй. В трёхкомнатной квартире, помимо одной посторонней семьи, в двух комнатах живут: бабушка с

десятком икон у изголовья кровати, беленькая внучка с «мужем»-негром из Университета им. П. Лумумбы и маленьким ребёнком-мулатом, а в другой комнате – старшая дочь с мужем, её бывший муж с новой женой и старшая дочь. Негр прекрасно усвоил русскую матерщину и бьёт старуху, а в другой комнате пьяница бывший муж бьёт непьющего настоящего мужа, а в коридоре богомольная бабушка кастрюлей проломила голову соседке. При посещении квартиры пройти негде – всюду вещи, кровати, люди, мат и драки: чёрт его знает – ничего не разберёшь! Мы тронули негра – он было начал обкладывать и меня, но я по-английски зарычал: «Вон, чёрная собака, знай своё место!» – и открыл дверь, и ганец мгновенно присмирел и убрался. Старшую дочь выселили к мужу. Бывшему мужу с орденоносной женой-фронтоничкой через суд и прокурора нашли комнату и выселили. Старуху оштрафовали на половину пенсии. И сразу в квартире тоже стало тихо.

Мелкие дела мы щёлкаем как орехи: сначала уговариваем, потом угрожаем, наконец штрафует. Пять рублей штрафа вносят порядок и мир: советские труженики – люди небогатые. Но иногда натываемся на непреодолимые препятствия. Вот два примера.

В нашем подъезде девочка с тринадцати лет занимается проституцией – она работает под памятником Марксу и в садике рядом, где обычно московские проститутки, среди которых много малолеток, ловят приезжих и командированных: их за это называют **марксистками**.

С высоты памятника великий Карл смотрит вниз и молчит от стыда, но ещё хуже то, что помалкивает и бездействует милиция, потому что великий Никита удалил из уголовного кодекса статью о проституции: ведь в социалистической стране проституции быть не может (на этом же основании «Медгиз» выпустил из печати мой перевод книжечки о гигиене для девушек без раздела о лобковых вшах, потому что при социализме их нет!). Словом, пошумели, поболтали и отпустили девушку заниматься проституцией дальше – это не возбраняется законом.

Второй пример. Вдовец средних лет сожительствует со своей родной дочерью-школьницей. Доказательства косвенные, он проговорился в пьяном виде, она тоже прямо не отрицает, а кое-что соседи видели. Но закон требует установления прямого факта, а под их постелью никто из нас не лежал. Участковый уполномоченный милиции и я вызвали

отца на собеседование. Участковый (младший лейтенант из солдат) говорит грозно:

– Ты – преступник: делаешь из девочки несчастную женщину. Вот я смотрел её школьный дневник – одни единицы, к которым она сама приставила крючок, чтобы получилась четвёрка!

– А как ты достал дневник?

– Она сама мне дала. Дома, в вашей комнате.

– Так вот, лейтенант, прежде чем ты мне сделаешь срок, я сделаю его тебе: ты шерудил у меня в комнате без разрешения прокурора на обыск.

Встал и ушёл. На формальном допросе папа и дочь отрицали вину. Тем дело и кончилось.

Выводы? Вот они.

Люди набиваются в комнаты, как сельди в бочке. Они живут в недостойных человека условиях. Общий культурный уровень крайне низок – не бедность виновата прежде всего, а именно бескультурье. У немцев такая бедность выглядела бы иначе, лучше, чище. Деревенского парня можно обучить физике, и он станет квалифицированным специалистом, но культурным человеком его сделать нельзя. Культурными люди вырастают в культурных семьях. Культура внутренняя – это богатство, основание для которого получается почти всегда по наследству. Был ли внутренне культурен сумасброд, пьяница и лентяй генерал Васька Сталин? Вряд ли! И описанные выше физики не были русскими интеллигентами, они были советскими специалистами и только.

Норма в Москве – 3 квадратных метра жилплощади. При такой норме культуры ждать не приходится. Мы бахвалимся дешёвизной наших квартир и указываем, что американец тратит на оплату квартиры чуть ли не треть заработка. Но он живёт в квартире из нескольких комнат, а у нас под квартирой понимается одна перенаселённая комната, точнее – место для спанья, ночлежка. А в ночлежке ссоры и разврат неизбежны, как неизбежно и разрушение человеческих душ. А уж о детях в этих условиях и говорить не приходится.

Было бы ошибочно думать, что работа в товарищеском суде все эти годы протекала гладко, без сучка и задоринки. Суд подчинен ЖЭКу и находится под надзором участкового народного судьи, а вместе они получают инструкции от своих партийных организаций, а те – от райкома, горкома и ЦК.

Я гнул линию на строгое применение положения и после предупреждения сразу же переходил к штрафу и обращению к администрации на производстве. Но жесткая линия не соответствовала линии Хрущёва на уговаривание и перевоспитание, она находилась в логическом противоречии с неподлежавшей обсуждению предпосылкой, что советский человек – это **новый**, по существу безгрешный человек, готовый живьём и с потрохами войти в близкое царство небесное на земле. Доведённый до бешенства, я не раз уходил из состава суда, но сменялся особенно беззубый руководитель ЖЭКа или нашей парторганизации, и меня возвращали снова.

Должность судьи – выборная, но у нас, слава богу, не ложная буржуазная демократия, и за все эти годы меня население дома **ни разу** не выбирало. Я – такой же избранник народа, как Сталин и Хрущёв! Да и не могло бы население дома выбрать меня, потому что нарушители и горлохваты не допустили бы этого и при поддержке их закутанного в платки бабья на общих собраниях жильцов меня прокатили бы на воронных. Я горжусь этим. Меня не устраивает одобрение собрания на нашей лестничной площадке. Порядочные люди на собрание не придут, а голоса Фатихи, Кати, Ханифы, Марьи Васильевны и Рахмили мне не нужны. Я их не ценю.

Тяжёлый удар поддержанию порядка Хрущёв нанёс не только передачей функций государственного суда в руки различных производственных коллективов, но и передачей функции милиции общественным дружинникам. С тех пор при виде скандала постовой милиционер бегом нёсся за угол и отсиживался там, пока студенты-дружинники подставляют свои груди и головы под удары хулиганов. На последних страницах газет появлялись заметки о посмертных наградах убитым дружинникам, сдобренные соответствующей болтовней о коммунизме и сахарными слюнями восторга перед новым советским человеком. Постепенно, однако, студенты поумнели и вышли из **добровольных** дружин – туда стали по наряду назначаться рабочие с производства, зачастую такие же нарушители и пьяницы, как и те, которых они должны задерживать и перевоспитывать на ходу. Наконец, это надоело всем, и в последнее время патрули дружинников в Москве – явление редкое. Подгоняемый страхом перед Борисом Васильевичем, я кое-как лавировал и держался в суде, уповая на то, что мой сосед – первокласс-

ный балбес и не понимает всей моей трагической безоружности: когда Борис Васильевич видит меня, разгуливающего под руку с участковым, он вопреки опыту и разуму поддаётся гипнозу блестящих пуговиц и погон.

Примерно также развивались дела и у Анечки.

Чуть сбивши давление, она стала искать общественную работу. Прежде всего, стала старшей по квартире. Фатиха и её выводок дегенератов привезли с собой уйму клопов в дряхлой грязной мебели. Ясно, что клопы ринулись и к нам.

– Клопам и человекам живут вместе, – солидно объясняла Фатиха. – Где будет человекам, там будет и клопам!

Дело не только в разном уровне культуры, в деревенской привычке к грязи и насекомым – дело ещё и в том, что все эти пьяницы и выродки физически слабы и очень устают на нетяжёлой работе. Конечно, им, придя домой, не хочется опять и опять всё переворачивать вверх ногами. Поэтому надо воздать должное упорству Анечки, её самоотверженности: она, прежде всего, работала сама и своим примером заставляла татар кое-как следовать за нею.

Теперь клопов у нас не стало, хотя ревизии и повторные обработки квартиры антиклопином производятся периодически.

Кстати: поддаваясь общему критическому отношению к власти, Фатиха недовольна жизнью из-за частого отсутствия апельсинов и бананов, о которых совсем недавно она даже не слыхала, а старший сын ругает качество советских изделий – он недавно выпил целую бутылку антиклопина и даже не опьянел!

Пока мы воевали с клопами, грязнули в хлебном и молочном магазинах развели тараканов. С ними бороться трудно, потому что мы живём на втором этаже, прямо над местами их массового выплода и сытной кормёжки, а наши картонные стены – как решето, трубы заделаны так небрежно, что когда в недалёком будущем размножатся мыши, а потом и крысы, то и для них пути продвижения уже готовы.

Затем Анечка перенесла свою деятельность в райсобес, поддавшись уговорам сотрудниц помогать им и газетным статьям о том, что работа даёт пожилому человеку хороший жизненный тонус. Однако скоро Анечка заметила, что как только инвалиды-общественники являются помогать, то штатные работники встают, уступают им места и работу, а сами уходят бродить по магазинам или стоять в очередях. Так прошло несколько лет. Наконец, обнаглев окончательно

но, райсобесницы стали нагружать инвалидов работой для себя лично – сшить платье, связать свитер и тому подобное, Анечка взбунтовалась:

– Это как в лагере! Не хочу! Я – не заключённая!

И ушла из собеса в милицию. Со свойственным ей напором она начала работать в детской комнате. Её стали хвалить. Обещали выдать билет оперативника. И опять всё лопнуло.

– Не могу видеть эту безрукость, эту готовность ничего не делать, чтобы создавать видимость благополучия у нас на фоне американского разложения! Я не желаю думать об Америке, я хочу, чтобы у нас в районе было тихо и хорошо! – волновалась Анечка. – Но как раз этого добиться нельзя: милиция – это говорильня. Приведут нарушителя, потреплют языком и отпустят.

Когда я предложила штрафовать родителей или отдавать под суд, то работники милиции пришли в ужас: это **непедагогично!** Надо воспитывать и родителей! Всё! Ухожу! Я не желаю играть роль идиотки – им за эту роль хоть платят, а мне она зачем?

И ушла.

А я работаю в товарищеском суде по-прежнему и с интересом наблюдаю дальнейшее развитие тенденций нашей общественной жизни.

Я пережил Сталина, переживу Хрущёва! Я уповаю не на разум нашего руководства, а на его инстинкт самосохранения...

Я рассказал о своём доме и о людях, с которыми я живу. Хочу подвести итоги.

Планировка района плохая, но лучшего, пожалуй, и ожидать было нельзя: страна изолирована от мировой культуры системой выездных виз. Самый тяжёлый грех планировщиков – плотная застройка без места, оставленного в запас на будущее. С ростом материальной культуры придётся сносить хорошие дома под школы, магазины, гаражи... Пока уже люди выселяются из нижних этажей, но их не хватит, и очередь дойдёт до целых домов.

Уровень материальной культуры далеко опередил рост духовного развития. Метро, автобусные и троллейбусные линии, тридцатиэтажные дома, подземные переходы и эстакады – всё это растёт быстро, изменяя лик Москвы чуть ли не из месяца в месяц.

Но замызганный и затурканный советский человек, безмерно перегруженный заботами и устающий от бессмысленной траты сил больше, чем от полезной работы, он духовно растёт только на страницах газет: его рост тормозится неустроенностью жизни, грандиозным беспорядком, прилежно и настойчиво насаждаемым сверху самым высоким руководством страной.

У нас мало настоящих закоренелых преступников, среди восьми тысяч жителей нашего дома – ни одного. Но мелких нарушителей, мешающих честным труженикам спокойно жизнь, – уйма. Жить, работать и творить в таких условиях необыкновенно тяжело и, главное, неплодотворно. Слишком много в нашей общественной жизни тратится сил на преодоление внутреннего трения.

Нет порядка в доме, городе, стране!

Сладкие обещания не выполняются, благородные призывы оказываются обманом, люди устали от несоответствия между тем, что пишется, и тем, что делается вокруг.

Советские славные труженики хотят так мало – здравого смысла, честности и порядка. Хотят уважения к себе.

Дождутся ли они их?

Глава 6

Единоборство двух правд

В конце бурного и тягостного правления Н.С. Хрущёва, после его катастрофического провала с разоблачением культа личности Сталина, неудачной попытки создать свой собственный культ, грандиозного тупика в экономической политике и вынужденного и поэтому резкого поворота назад, к сталинизму, из уст в уста пошёл примечательный анекдот: Сталин якобы оставил своему наследнику два запечатанных конверта на случай своей смерти с надписями: «Вскрыть, если станет трудно» и «Вскрыть, если станет совсем плохо».

Столкновения с другими претендентами на трон заставили Хрущёва вскрыть первый пакет. Там на листе бумаги была написана фраза: «Вали всё на меня». Наследник так и сделал, но трудности, естественно, только возросли: он взял-

ся за дело, к которому был неспособен. Не видя выхода, он вскрыл второй пакет и прочёл: «Делай, как делал я». Наследник опять послушался совета, внося только некоторую поправку на недоверчивое время и свой слабый авторитет. Поэтому быстро, как солнечный зайчик, скользнул по поверхности советской жизни коротенький период политической весны начала шестидесятых годов.

Осень шестьдесят четвёртого года – это большая осень заката хрущёвщины, когда отшумели скандалы с оппозиционными поэтами и художниками-формалистами на выставке в Манеже. Как разъярённый кабан, на удивление и возмущение зрителям, Хрущёв выставил клыки и бросился на инакомыслящих, никого не поражая насмерть и покрывая себя позором. В это весьма не подходящее для идеологических диспутов время в Литературной консультации Союза писателей СССР в Москве вспыхнул спор из-за моих записок: это было типично – ведь в эпоху закручивания гаек произведения искусств всегда и везде являются горячим материалом, и вокруг, казалось бы, самых невинных книг разгораются ожесточённые прения, при которых все спорящие прекрасно понимают, о чём именно ведётся спор, и сквозь словесную ширму казённых формулировок говорят то, что действительно думают, – это единственно возможная форма спора при диктатуре: так было в России не раз и не два, это термометр, показывающий лихорадочное состояние страны.

Итак, поводом для спора явилась десятая книга моих записок «Человечность», самая благонамеренная из всех. Один из споривших, старший консультант В. Боборыкин, судил о ней с моих позиций, то есть как о десятой и не последней книге воспоминаний о действительных событиях и лицах. Он высказывался в общем положительно. Другой критик, заведующий литературной консультацией И. Сеньков, намеренно искажая мою позицию и принимая отдельный кусок общего как самостоятельное литературное произведение, как повесть с выдуманными ситуациями и персонажами, разгромил её по всем правилам советской недобросовестной критики.

Спорщики потребовали общественного суда. Судьёй выступил юрисконсульт правления Союза писателей СССР, бывший чекист и бывший сталинский заключённый А. Орёв, конечно, поддержавший И. Сенькова. Решение: выслушать мнение ещё одного рецензента. Им оказался друг и

единомышленник И. Сенькова, «старый зубр» сталинских времён П. Чагин. В этом споре выявились и методы спора, и его предвзятость, хорошо видимая из манеры критиковать с ложных, произвольно приписываемых автору позиций. Во всём блеске бросается в глаза манера считаться не с фактами, как они есть в жизни, а с выдуманными ситуациями, какие хотелось бы, чтобы они были согласно канонам социалистического реализма.

Я привожу полностью все четыре рецензии как яркий образец положения на литературном фронте в заключительную эпоху хрущёвщины.

Д.А. Быстролётов **«Человечность». Повесть**

Дмитрий Александрович Быстролётов, арестованный в 1938 году по необоснованному обвинению в шпионаже, без малого 18 лет провёл в заключении. На основе воспоминаний об этих годах и написана его повесть «Человечность».

Надо сказать, что в отличие от многих других таких же воспоминаний, поступающих время от времени в Литконсультацию, «Человечность» обладает несомненными литературными достоинствами. Вымышленных фактов и вымышленных персонажей, как утверждает сам автор, в повести нет. Но, изображая душевное состояние героев, раскрывая их мысли, чувства, взаимоотношения, Быстролётов широко пользовался правом художника на творческий домысел. И это позволило ему создать произведение полнокровное, захватывающее и весьма глубокое по своему содержанию.

Среди персонажей повести наиболее интересна, по-моему, фигура начальника лагпункта Сидоренко. Человек труда, бывший будёновец, затем чекист, Сидоренко и на лагерной службе не растерял своих лучших человеческих качеств. Он твердо убеждён, что все политические, находящиеся в лагере, – настоящие враги народа, справедливо осуждённые советским судом. И он искренне верит, что лагерь не случайно называется исправительно-трудовым и что каждого зека можно вернуть на путь праведный, заставляя его честно трудиться, а главное, пробуждая в нём, как сам он выражается, человеческое.

Нарушителям лагерных порядков и особенно лагерной демократии, разумеется, весьма и весьма относительной, «придуркам», которые пытаются поживиться за счёт това-

рищей по заключению, Сидоренко не даёт спуска. И эта его справедливость, пожалуй, больше, чем все воспитательные усилия его, порою чрезвычайно жестокие, оказывает на заключённых известное воздействие.

В конце концов простодушный и чересчур прямолинейный, чтобы устоять в борьбе с сиблаговскими политиканами, Сидоренко сам оказывается в заключении. И это испытание, возможно, сломало бы его, если бы в трудную минуту на помощь ему не пришло то самое «человеческое», которое он так старательно воспитывал в заключённых, будучи ещё начальником лагпункта.

Очень интересен, на мой взгляд, и образ Татьяны Сениной, девушки, осуждённой по несправедливому обвинению в проституции и, быть может, скатившейся бы в настоящую уголовщину, если бы не суровая забота Сидоренко и нескольких политических. Запоминается и начальник медчасти Анечка, которая подчёркнутой грубостью пытается скрыть страшное духовное смятение, и образ опера Долинского – интригана и карьериста очень типичного для времён культа.

Да, собственно, и все эпизодические персонажи, за небольшим исключением, нарисованы Быстролётовым с подлинной художественной выразительностью. Можно привести в качестве примеров немало эпизодов, сцен, диалогов, портретных характеристик, убеждающих в безусловной литературной одарённости Быстролётова. Но главную ценность повести составляют, по-моему, не столько её довольно высокие художественные качества, сколько то оптимистическое настроение, которым она пронизана, и та в высшей степени благотворная идея, которой подчинено всё повествование.

Чтобы не сломаться в любых, даже совершенно невыносимых условиях, чтобы пройти сквозь самые трудные испытания, надо прежде всего быть человеческим, не забывать за своими страданиями о людях – такова основная мысль повести.

Среди действующих лиц «Человечности» есть люди, которым абсолютно чужда эта истина. Таковы, к примеру, цыган Иван, отбывающий срок за воровство, и его жена цыганка Саша. Таков и интеллигент Скушинский, осуждённый по политическим мотивам. И в ряде сцен, отнюдь не иллюстративного свойства, очень убедительно показано, насколько опустошены эти люди, как задушено в них чисто животными побуждениями всё истинно человеческое. Даже в люб-

ви Ивана и Саши, внешне очень романтической, преобладает самое заурядное скотство.

В то же время человечность, вновь обретенная после того, как человек, сломленный своим несчастьем, либо озлобился, либо замкнулся в себе, неизменно возвращает ему всё утраченное было духовное богатство, а случается, несмотря на лагерные условия, делает его ещё более красивым, чем он был до заключения. Это относится и к Татьяне Сениной, и в известной мере к главному персонажу повести – герою-рассказчику.

Бывший разведчик, много лет работавший за границей, доктор медицинских наук и доктор юридических наук, оказавшись в лагере и пережив весь ужас своего нового положения, рассказчик постепенно выработал в себе некое защитное, охранительное пренебрежение ко всему и вся. Но однажды ему довелось выслушать по этому поводу целую лекцию Сидоренко, которого он считал простаком и невеждой и не стал поддерживать в одном из очередных воспитательных мероприятий. Разумеется, сама по себе эта лекция не вызвала у него никаких чувств. Но некоторые сидоренковские слова заставили его задуматься.

«Ты без утешения работаешь», «...у тебя здесь свободный выбор: хочешь – будь человеком, хочешь – зверюгой», «Хочешь выйти живым из лагеря – будь человеком!», «Потеряешь в себе человека – выйдешь мертвецом!»

Ничего нового для рассказчика в этих сентенциях, конечно, не было. Но, может быть, именно то, что они были произнесены «простаком» Сидоренко, вызвало в его душе сложную борьбу чувств. А несколько позже он убедился, что в лагере есть люди, которые не теряют своего «человечества» даже тогда, когда это грозит им смертельными бедами. В конце концов он «оттаивает». И это оказывается очень своевременным, так как вскоре ему приходится пережить целую полосу таких испытаний, которых человеку опустошённому или внутренне одинокому не одолеть.

Под влиянием рассказчика, в ходе бесед с ним изменяется и Сидоренко. Он начинает понимать, что и массовые репрессии и процветание долинских – явления не случайные, что существует целая категория людей – от Долинского до Сталина, у которых выработалось иное отношение к ближним, к коллективу, к своим нравственным обязанностям в нём, отношение, ничего общего не имеющее с сидоренковским «человечеством».

Будучи одной из жертв произвола и видя неисчислимое множество других таких же жертв, он всё более убеждается, что никаким авторитетом Сталина этого нельзя оправдать. Но в итоге своей сложной и драматичной внутренней борьбы он ещё прочнее утверждает на позициях человечности и обретает крепчайшую духовную закалку. Когда ему предлагают амнистию, он отказывается от неё. Ему нужна только полная реабилитация. Он бросает вызов всему «незримому царству» долинских, возглавляемых не тем, кого он привык считать вождём народа, а больным и подозрительным человеком Иосифом Джугашвили. И хотя отлично сознаёшь, что это явное донкихотство, что было бы разумнее вырваться на свободу и там, на воле доказать народу, партии, всем честным людям и свою невиновность и невиновность своих товарищей, тем не менее не можешь не испытывать глубокого уважения к этому прямому и честному будёновскому рубаке.

Впрочем, Сидоренко, а вместе с ним и читатель не могут не понимать, что и на воле его борьба против беззаконий оказалась бы таким же безнадёжным донкихотством.

Повесть Д.А. Быстролётова не лишена известных недостатков. Довольно односторонни, а часто и ошибочны его рассуждения о системе долинских, о «Незримом царстве». Все рассуждения на сугубо политические темы (а они в общем довольно редки) требуют большей чёткости, зрелости и глубины. Нравственная эволюция героя-рассказчика и некоторые его поступки показаны не всегда достаточно убедительно. Есть в повести и стилистические огрехи. Но в целом она, на мой взгляд, очень интересна. Думаю, что её можно предложить какой-либо редакции, прежде всего для того, чтобы выяснить, возможно ли в принципе опубликование этой вещи. Если вопрос этот будет решён положительно, Д.А. Быстролётов, который очень внимателен ко всякой критике, охотно доработает повесть и, несомненно, внесёт в рукопись все необходимые поправки. Если же будет сочтено более правильным вернуть рукопись автору, то нужно, по-моему, в наших критических замечаниях и советах исходить из того, как повесть задумана автором, и не навязывать ему каких-либо иных сюжетных решений и замыслов.

Ст. редактор Литконсультации Союза писателей СССР

В. Боборыкин.

24 декабря 1964 г.

Краткое заключение

по рукописи Д. Быстролётова «Человечность»

Автор рукописи – человек с бесспорными литературными возможностями. Это нетрудно заметить по тому, как он ведёт повествование, – легко владея словом, диалогом, красками для ряда живых зарисовок.

И всё же попытка Д. Быстролётова написать повесть на материале лагерной жизни сороковых – начала пятидесятих годов не может быть названа удачной. Причиной тому, как мне представляется, два обстоятельства: во-первых, недостаточная продуманность авторского замысла в целом, неубедительность его, так сказать, идейной концепции и, как следствие, неглубокое осмысление серьёзной и чрезвычайно сложной темы; во-вторых, отсутствие литературного умения, способности не только подметить отдельные факты, детали, но и установить их закономерность, взаимосвязанность, увидеть за всем этим явления большого масштаба, общегосударственной значимости.

Если говорить об основных авторских просчётах, то следует, прежде всего, отметить нечёткость, а порой и неправомочность ряда его утверждений, касающихся общественно-политической жизни тех лет. Здесь автору явно изменяет чувство времени, и он склонен чувства и мысли образца 1964 года выдавать за «прозрение» своих героев в начале сороковых годов!.. И когда, к примеру, «невинная проститутка» Сенина в 1943 году сама по себе, демонстративно, шесть раз подряд выходит с написанным на полотенце призывом: «Долой Сталина!», а начальник лагеря, старый коммунист, всячески её покрывает; или когда героиня-рассказчица, пользуясь сегодняшними понятиями и определениями, «разъясняет» начальнику лагеря (опять-таки в годы войны!) трагедию «культы» – всерьёз такое принять трудно...

Не совмещаются в сознании при чтении рукописи, с одной стороны – пространные рассуждения о «Новом порядке», о «Незримом царстве», о «Системе» (всё это, впрочем, в рукописи должным образом не расшифровано, так сказать, «висит в воздухе» и воспринимается лишь как удобная формула для придания рукописи мнимой многозначительности и затуманивания истинных проблем!), с другой – множество достаточно сильных «деталей» лагерного быта (молоко для заключённых-рожениц, «Дал бы по морде... но не положено, сам знаешь», сцена с Сидоренко в каптёрке, частые концерты культбригады из Мариинска и многое другое),

говорящие о том, что лагерь-то советский и что дело не только в Сидоренко, а что кроме него есть и государство, есть и партия, есть и большие идеи. На этом фоне бесконечные разглагольствования о человечности (в каком-то абстрактном, «общечеловеческом» плане) звучат как некая мистификация!..

Очередной авторской сентенцией выглядят слова о лагере как о «...мирке, который только в уменьшенном виде отражал всё окружающее... как маленькая капля воды отражает огромное солнце...». Только ничего подобного в рукописи не найти! Идёт война с фашизмом, страна переживает страшное время, весь народ живёт одной мыслью, одним чувством, одним стремлением, а в лагере, судя по рукописи, никто об этом и не думает, и не говорит... (несколько проходных фраз в авторском тексте: «всенародное бедствие», «время тяжёлое, военное», «в условиях военного времени» положения, разумеется, не меняют: органически война в повествование никак не вошла).

Политических заключённых, коммунистов, оказавшихся в лагере по недоразумению, повесть не показывает, действие развёртывается главным образом на взаимоотношения героя-рассказчика с начальником лагеря. Остальные персонажи повести (Сенина, Студент, Скушинский) – фигуры в общем-то случайные, замыслу не соответствующие.

Повесть «Человечность» охватывает достаточно большой отрезок времени: начало Великой Отечественной войны – первые годы после XX съезда КПСС. Рисует жизнь одного из пересыльных лагерей в Сибири. Повествование ведётся от первого лица. Герой-рассказчик – бывший советский разведчик, доктор права и доктор медицинских наук, многие годы успешно работавший по заданию Родины в ряде иностранных держав, а затем оболганный, обвинённый в шпионаже и оказавшийся в числе заключённых.

В лагере он попадает на привилегированное положение и работает там врачом на медпункте. Таким образом, перед героем повести открывались широкие возможности, и он, при определённых обстоятельствах, опытный, умный человек, казалось бы, мог оказать большую не только моральную, но и практическую поддержку множеству своих товарищей, так же как и он, лишь по известной нелепости оказавшихся за колючей проволокой. Но опять-таки ничего подобного в повести не происходит. Герой-рассказчик, в сущности, никаких товарищей-единомышленников вокруг не

видит и чувствует себя мучительно одиноким. Он добросовестно – но не более! – выполняет свои обязанности, и центральная линия повествования строится на его взаимоотношениях с начальником лагеря Сидоренко. Все остальные персонажи выглядят, повторяю, не более как фигуры эпизодические и (кроме, пожалуй, Долинского, Рубинштейна) случайные.

Образ Сидоренко хотя и задуман интересно, но выписан крайне неумело. В первой половине повести автор нарочито оглушает этого опытного чекиста, бывшего бойца Первой конной, законно гордящегося, что ещё тогда Родина отметила его орденом боевого Красного Знамени. Делать из человека такой биографии и судьбы этакого разудалого, тёмного («мы академиев не кончали!») мужичка вряд ли имело смысл, поверить в такое трудно: ведь одно дело – первые годы революции, иное – годы сороковые... Тем более, что во второй половине повести по мановению авторской палочки Сидоренко из тупицы и кретина вдруг превращается в мыслителя и, прямо скажем, человека недюжинных возможностей. Достаточно хотя бы вспомнить его отповедь прохвосту Долинскому. Такое ведь не каждому под силу: запросто, экспромтом «выдать» бывшему оперуполномоченному убийственную тираду в форме развернутого художественного образа (червяк в орехе)! Кстати сказать, одна лишь фраза в авторском тексте о «выгнанном с работы Долинском» слишком мало, а точнее, совсем ничего не обозначает. И здесь, как на протяжении всего повествования, у автора не оказалось ни анализа, ни мотивировок, ни раздумий. А жаль...

Совершенно сознательно не буду касаться здесь ни композиционных неуклюжестей, ни нарушений логики образов, характеров, ни стилистической, языковой стороны дела. Убеждён, что многочисленные огрехи автора по этим линиям он устранил легко и самостоятельно, стоит лишь указать ему на них.

Д. Быстролётов – человек чрезвычайно интересной и сложной судьбы. Богатейший круг жизненных впечатлений, высокая культура, литературные возможности – всё это не может не заинтересовать Литературную консультацию. Своим советом, рекомендацией, каждодневной поддержкой Литературная консультация может и должна помочь автору осуществить свой замысел. Что же касается рукописи «Человечность», то сегодня её можно рассматривать лишь как

первую, черновую наметку книги о недавнем прошлом, нуждающуюся в серьёзном и глубоком доосмыслении как в плане идейном, так и в художественном.

Зав. Литконсультацией Союза писателей СССР

И. Сеньков.

28 декабря 1964 г.

О рукописи Д. Быстролётова «Человечность»

Доктор права и доктор медицины, художник и разведчик, прошедший много лет за рубежом, ставший затем жертвой произвола и противозаконно лишённый свободы почти на два десятилетия; человек широких знаний и большого жизненного опыта – вот кто рассказывает об увиденном и пережитом «там», за решёткой, за колючей проволокой, под тяжестью ложных обвинений.

В рукописи непрерывно ощущается автобиографичность повествования; личность автора неотступно следует за читающим, становится одной из основных частей восприятия и оценки.

Когда к **такой** теме прикасается **такой** человек – результат, больше чем в любом другом случае, зависит не только от предмета наблюдения, но и от угла зрения, от масштабов измерений.

Я сознательно не останавливаюсь на чисто литературных свойствах рукописи. Скажу лишь, что, по моему впечатлению, автору вполне доступно осуществление его замысла. Мне же хотелось бы поразмышлять над одним, на мой взгляд, основным аспектом рукописи. В связи с этим восстановлю некоторые детали повести.

Герой «Человечности» – Доктор, отбывает длительный срок заключения. Подавленный несправедливостью расправы, учинённой с ним, он замкнулся в себе, отгородился от окружающего в своём внутреннем одиночестве. Добросовестно, но чисто механически, он выполняет обязанности лагерного врача.

Начальник лагерного пункта Сидоренко – человек некультурный, малограмотный, вроде бы примитивно мыслящий. Он твердо верит в то, что доктор и ему подобные – враги народа, разоблачённые и по заслугам наказанные. Однако столь же твёрдо убеждён Сидоренко в том, что заключённые – люди, прежде всего люди, которых должно исправлять. Точно известен ему и метод исправления – труд. Си-

доренко честен, прям, по-своему глубоко человечен. Он и Доктора наставляет: «Всё должно быть по человечности», – понуждая этого, погруженного в себя человека видеть: вокруг – люди, их трудная жизнь, их судьбы (образ Сидоренко, пожалуй, наибольшая удача автора).

Ему противостоит оперативный уполномоченный лагпункта Долинский – бывший опереточный актёр, как-то очутившийся на работе в системе лагерных чекистских органов. Садист, негодяй, прохаживающийся по лагерю с томиком Франса под мышкой, полирующей ногти в моменты издевательств над заключёнными и в то же время цинично говорящий о «строгой законности» – таким рисуется этот антипод Сидоренко (к слову, Долинский в рукописи очень уж перегружен всяческими «элегантными» деталями – этакой «вамп» в окантованных штанах; как правило, долинские были попроще, да и пострашнее).

Учинив грубую провокацию, Долинский добивается ареста и осуждения Сидоренко, и тот снова оказывается рядом с доктором, но уже в качестве заключённого. Общение их продолжается в новых условиях: Сидоренко постигает на себе, что честный человек тоже может быть осуждён, несправедливость возможна. Растерянный, утративший привычное прямолинейное представление о вещах, Сидоренко ищет моральной поддержки у доктора, который становится его ментором, – теперь он преподаёт своему бывшему учителю человечности свои взгляды на происходящее. Результаты этого качественно нового общения сказываются вполне предметно.

Спустя какое-то время Сидоренко амнистируют. Амнистия не простая, она подготовлена Долинским – к тому времени уже крупным лагерным «чином». Долинский публично объявляет Сидоренко, что тот по ходатайству администрации лагеря амнистирован – и даёт команду освободить Сидоренко.

Отмечу на ходу, что Долинскому снова приписывается неестественная утончённость. Он добился своего – Сидоренко выброшен на свалку, а после этого он – с единственной целью: показать тому же Сидоренко своё всеилие – весьма сложным и труднодоступным путём организует амнистирование осуждённого. Конструкция излишне замысловатая, не жизненная.

Однако центр тяжести эпизода – в другом: Сидоренко решил, что амнистируют только виновных, принятие амнис-

тии будет означать признание им вины – и он отказывается выйти на свободу.

Проходит ещё время. Неожиданно Доктора отправляют по этапу в Москву и доставляют в здание на площади Дзержинского, где с ним беседует некий генерал. Доктору – опытному разведчику – предлагается свобода при условии возобновления им разведывательной работы. Это внешне очень сильная сцена. Генерал подводит Доктора к окну кабинета и показывает ему оживлённую людную площадь. Человек, десять лет не видевший ничего, кроме тюрем, этапа, лагерей, живший эти тяжёлые годы во мраке, этот человек видит Жизнь, из которой его некогда вырвали. И вот она вновь предлагается ему – да ведь как предлагается! «Через полчаса можете быть там, у метро, через месяц – в Париже. Сегодня же – обедать в “Метрополь”, а через две недели в “Ритце”!»

Доктор лихорадочно размышляет:

«Выпустят меня с клеймом на лбу, чтобы сначала попробовать снова использовать в этой **системе**, а потом, когда это перестанет быть нужным, вернуть обратно, но уже без права заявлять о своей невиновности. Амнистия – это формальная расписка в преступлении. Нет, я мог быть **слепым исполнителем**, но процветающим рабом я быть не должен. Я отвергаю свободу, покупаемую у кривды, и да здравствует свобода, даруемая советскому человеку правдой» (разрядка автора. – А.О.).

И он отверг предложение.

Нет нужды доказывать взаимосвязь этого решения Доктора с предшествовавшим поступком Сидоренко, который, несомненно, действовал под влиянием своего наставника.

Попробуем проникнуть во внутреннюю структуру этих двух эпизодов. Начинать приходится с установления очевидного несоответствия. «Амнистия надлежит только виновным», – рассуждает Сидоренко. «Амнистия – это расписка в преступлении», – утверждает Доктор.

Такой ход мыслей мог быть правильным, если бы Сидоренко и Доктор сами просили о помиловании, признавая свою вину. Но вспомним: об амнистировании Сидоренко ходатайствовала администрация лагеря без всякого участия заключённого. При этом было известно, что Сидоренко виновным себя не признавал, но несмотря на это его амнистировали. И Доктора никто даже не спросил, признаёт ли он свою виновность (ибо собеседникам было известно: не

признаёт). Тем не менее ему было сказано: «Хотите на свободу? Соглашайтесь возобновить работу и – вот она, свобода!»

Как Доктор, так и Сидоренко **знали**, что они не признавали себя виновными; **знали, что несмотря на это** им всё же предлагается свобода. Значит, в обстоятельствах, описываемых в повести, они **не могли** рассуждать так, как заставил их автор.

Это – несоответствие фактическое. А как обстоит дело с психологией?

Вот Сидоренко, безосновательно осуждённый, потрясённый происшедшим, – к чему он стремится? Естественно, к реабилитации, к восстановлению своего доброго имени. Может ли он не понимать, что, оказавшись на свободе, он обретёт несравненно большие возможности для борьбы за правду, чем оставаясь в лагере? Нет, он не может не понимать этого. Ко всему в это время тяжко больна его жена – родной, любимый, близкий человек, и выход на свободу – это единственная возможность свидеться с нею.

Мог ли Сидоренко отказаться от выхода на свободу в этих условиях? Нет, конечно, не мог, это – противоестественно.

А Доктор? Впервые за много лет он оказался перед людьми, достаточно полномочными, чтобы он мог сказать им: «Я не виновен, прошу вас, разберитесь в этом, снимите с меня незаслуженное пятно – и я с вами!» Он знает, что в нём заинтересованы (ведь везли за тридевять земель!), он ничем не рискует (ведь всё равно отказывается от заманчивого предложения), он не может не стремиться к реабилитации.

Мог ли он не сказать эти слова, не ухватиться пусть за самую малейшую, эфемерную – но всё же надежду? Нет, не мог, это было бы противоестественным.

Видимо, автор чувствовал это – и Доктор отвечает генералу: «Мои преступления вымышлены, они ничем не доказаны. Я подозреваемый, которого нельзя амнистировать». Как естественно, жизненно началась эта фраза – и как неестественно, надуманно закончилась! Сказав о своей невиновности, Доктор не пытается доказывать её, не просит о проверке – он просто отвергает предложение.

Автор явно **заставляет** своих героев отказаться от свободы. Для этого он снабжает их мыслями и чувствами, которых у них не могло быть, и отнимает у них слова, которых они не могли не сказать. Это очевидно, неоспоримо. В чём

же объяснение? Не в том ли, что по замыслу автора два его главных героя **должны** отказаться от свободы, **должны** предпочесть неволю – и замысел этот настолько овладел автором, что заставил его отступить от логики, от жизненной правды, пренебречь собственным описанием событий?!

Вопрос, **почему** автор повёл своих героев таким путём – центральный вопрос, возникающий при чтении повести. По моему убеждению, эпизоды отказа Доктора и Сидоренко от освобождения – это кульминационные пункты «Человечности», в них сфокусировано мироощущение доктора, в них раскрывается его отношение к происходящему.

Ранее было сказано: Доктор наглухо замкнулся, отгородился от всего, что вне его: он наблюдает, видит, фиксирует, порой даже внешне участвует в чём-то, но всё скользит по поверхности его сознания. Будь то трагическая полоса в жизни Татьяны Сениной или несложные утехи цыганки Саши; низменный поступок Студента или драгоценная крикливая доброта вольнонаемной начальницы санчасти – всё равно он лишь наблюдатель и бесстрастный рассказчик. Даже там, где в рукописи ему приданы проявления заинтересованности чем-либо, – эти проявления остаются чисто внешними.

Это относится не только к внутрилагерным событиям. Две трети физического объёма рукописи отведены военному периоду. Страна охвачена огнём, залита кровью, идёт смертный бой – но в «Человечности» мы читаем: «Время было тяжёлое, военное, страна требовала мяса и зерна», да ещё пару таких же скользких фраз – и это всё, что сказано о войне. Доктора война не потрясала. Да и в лагере среди заключённых разве только Татьяна, Иван, Саша, Студент, разве только они были в поле зрения доктора? Ведь в любом лагере среди массы невинно осуждённых были люди, по-настоящему значительные и в изоляции не утратившие ни партийности, ни гражданственности, ни органической заинтересованности жизнью своей страны. В любом лагере, в любых условиях были они, эти люди, и в немалом числе! Пусть с поправкой на уродливость лагерного быта, но в людях сохранялась внутренняя связь с жизнью страны. Это – факт огромного общественного значения, свидетельство силы идей, владеющих народом и не испаряющихся в испытаниях любого накала.

А Доктор пару раз накоротке отводит немного места старому большевику Рубинштейну; мельком упоминает «старенького хлебореза Ланского» – соратника Федора Расколь-

никова по Октябрьским боям; отмечает, что «опытные кон-трики», видя, как Долинский стряпает липовое следственное дело, сказали: «Ага!» – и ни одной живой фигуры человека, существующего не только своей бедой, не только лагерным ассортиментом ощущений. Ни одного такого человека!

(Кстати, о Рубинштейне. С его фамилией связана досадная неточность в рукописи. Говорится о сестре Рубинштейна, которая была замужем за эсером Блюмкиным, «убившим немецкого генерала Эйхгорна». Не знаю, на ком был женат член ЦК левых эсеров Блюмкин, но убил он не генерала Эйхгорна, а германского посла Леопольда фон Мирбаха.)

Доктора ощущаешь как человека, на котором надеты не только шоры, но и специальные очки локального видения. Это сказывается на всём.

Вот Доктор – нет, не он, а автор – вспоминает о лагерях: «Вся страна с запада до востока была тогда покрыта этими не известными населению государствами, вместе составляющими одно Незримое царство в границах нашей великой страны».

Да, было так, что по стране распространились уродливо разросшиеся лагеря. Было. Но «Незримое царство»? Полноте!

У скольких людей отцы, матери, мужья, жены, братья, сестры, друзья находились за сторожевыми вышками! Сколько сердец тревожно и больно билось «здесь» от непрерывных горьких мыслей о тех, кто «там»; сколько судеб было списано в лом с бирками: «Связь с врагами народа», «утрата бдительности»!.. Какие уж там «не известные населению»! Увы, очень известные.

Доктор, конечно, очевидно прав. Но в то же время как органично корреспондирует эта неточная формула «Незримого царства» с отрешённым от всего внутренним состоянием доктора!

«Я мог быть слепым исполнителем», – размышляет Доктор. Значит, годы прошлого осознанного самоотверженного служения Родине на острейшем участке превратились для Доктора в воспоминание о «слепом исполнительстве»? Как же далеко зашла его духовная трансформация!

Но ведь окружающий мир всё-таки существует, и доктор не в силах полностью заслониться от него. Наступают моменты, когда он вынужден разговаривать о том, что происходит за «огневыми дорожками». Что же он видит там?

Знаменательный разговор происходит между Доктором и Сидоренко, когда они «ищут виновника».

«Виноват не вождь Сталин, а человек по фамилии Джугашвили, – говорит Доктор. – Поняли разницу? Сталин это – твердость в проведении генеральной линии партии, а Джугашвили – больной пастух, подозрительный, злой, не верящий ни овчаркам, ни стаду. (Заметили, кстати, как Доктор предвосхитил оценку культа личности, данную партией на XX съезде? – А.О.)... Он требует рычания, он ищет псов из породы долинских. Поняли? Уважать советских людей надо, они герои, а Сталин нас и за людей не считает, мы для него – материал».

Пусть не обидится автор, но эта тирада Доктора заставляет вспомнить поговорку насчёт бузины в огороде и дядьки в Киеве. Эту вот смесь крепости задним умом и псевдополитического «анализа» изрекает Доктор – человек широкого кругозора и глубокого ума? Невероятно!

В том же разговоре, однако, есть и деталь, весьма примечательная.

«– Долинский виноват? – спрашивает Сидоренко.

– Нет.

– Сталин?

– Нет.

– Советская власть?

– Нет.

– Так кто ж виноват, скажи, доктор! Кто?

– А я уже сказал: система. Спянная воедино организация, где Сталин нужен Долинскому, а Долинский нужен Сталину как источник власти, они не могут существовать один без другого».

«Система»... Вот оно, это слово, прочитанное нами среди размышлений Доктора в генеральском кабинете. Вот она – подлинная причина отказа Доктора от выхода на волю!

Так неожиданно обнажается разительная неверность измерений, какими пользуется автор. Его Доктор видит «за зоной» лишь страну, задавленную «системой», видит в этой стране только арестовываемых и арестовывающих, «содержащихся» и «содержащих». Поэтому для него не звучит открытием людоедское изречение собеседника-генерала: «Видите этих людей на площади? Это рядовые граждане, обыкновенные люди. Все они – подозреваемые и поэтому пока что находятся там».

Что ж, изувера-временщика, убеждённого в своём всевластии, в своей безнаказанности, можно написать таким, каким он был. Но вот заражать Доктора уверенностью в том, что этот негодяй прав, делать цинизм душегуба основой мироощущения положительного героя повести – это решительно невозможно, это – глубокая ошибка автора, его основной просчёт.

Теперь понятно: Доктор не хочет свободы в «этой системе».

«Эта система»... А святая вера народа в то, что Сталин – великий продолжатель дела Ленина, мудрый кормчий во главе Партии, ведущий страну ленинским путём, – этого Доктор не видел, не знал? А вдохновение и неисчерпаемая мощь, с какими народ в неизъяснимых трудностях свершал пятилетки, создал гигантский экономический потенциал, распрявился после ужасающих военных ударов, разгромил гитлеровскую Германию, заново отстроил полстраны, – эта система доктору не была известна?

Да, жертвы были страшные, утраты – невозполнимые. Но именно тяжесть утрат обязывает пишущего об этом к предельной точности. А уж какая там точность, если Доктор видит лишь симбиоз «человека» по фамилии Джугашвили с долинскими.

Нет, далеко, слишком далеко завела Доктора его губительная самоизоляция!

Вот почему я вижу в отказе Доктора и Сидоренко от выхода на свободу – в этой кульминации повести – отражение глубокой ошибки автора, ошибки, пронизывающей всё произведение. Автор обеднил доктора, обобрал своего яркого героя.

Оговорюсь: отчётливо понимаю, что, атакуя «кредо» Доктора, я оказываюсь лицом к лицу с автором и именно ему адресую слова осуждения. Надеюсь, автор поймет, что я движим глубокой заинтересованностью в судьбе его Доктора, что мне трудно равнодушно наблюдать деформирующее влияние автора на своего героя.

Снова и снова задумываюсь: в чём причина? Искренность автора – вне сомнений, а Доктор – если я правильно представляю его себе – не мог быть таким, каков он в рукописи.

Может быть, сыграло роль то, что автор непроизвольно уступил соблазну посмотреть на вчерашние события сегодняшними глазами. Кое-где в рукописи встречаются оценки позднейшим числом – могло сдаться, что это в соединении

с давностью событий породило искажение образа Доктора. Во всяком случае, читая «Человечность», невозможно отделаться от ощущения диспропорции: крупномасштабный человек мыслит мелкими категориями; умные, многознающие глаза видят частности, не охватывая общего; гибкий, тренированный мозг фиксирует события с очевидной неточностью. Словом, налицо то, о чём сказано в начале отзыва: угол зрения, масштабы, измерения оказались неверными.

Весь мой отзыв только о Докторе. Не только потому, что он – рассказчик, фигура постоянно действующая, но и в силу его центрального положения в повести. Его глазами должен смотреть читатель, его словам верить. А не смотрится, не верится.

Не веря в Доктора, нарисованного в «Человечности», я, читатель, хотел бы увидеть этого человека таким, каким он не мог не быть – «подверженным порывам и тревогам», но сильным разумом и духом; не затворником, пугливо отвращающим взор от «тщеты всего мирского», а бойцом – пусть скованным, но не изверившимся, не опустошённым.

А тот Доктор, который сегодня в рукописи, он – не положительный герой. Я не советовал бы знакомить с ним, таким, читателя. И Доктора жаль, и читателю не к радости, и автору не к украшению.

Я посоветовал бы автору вспомнить подлинного Доктора, воссоздать его с теми главными чертами, ради которых единственно стоит писать о нём. А уж вместе с этим, настоящим Доктором возродится жизненная правда и скажутся те самые слова, которые из песни не выкинешь.

В том, что автор способен сделать это, я не сомневаюсь.

А. Орьеv.

17 февраля 1965 г.

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Такие люди, как Вы, почти два десятка лет проработавши на разведывательной работе в интересах Родины и вслед за этим противозаконно осуждённые по недоказанному обвинению в шпионаже и пробывши тоже почти два десятка лет за колючей проволокой, в исправительно-трудовом лагере, могут и должны многое вспомнить и рассказать о «нашем недавнем прошлом».

Прошлое это – наши тридцатые и сороковые годы, – мысля исторически и говоря ретроспективно, как бы оно ни было омрачено культом личности Сталина, освещалось могу-

чим прожектором идей марксизма-ленинизма, и самый культ этот паразитически черпал свою энергию от того же прожектора.

В воспоминаниях, в рассказах о чем-либо важен прежде всего отбор фактов, жизненных явлений, людей, человеческих взаимоотношений, конфликтов. Посмотрим вместе с Вами, как это происходит у Вас, в Ваших «автобиографических записках», в их второй и девятой книгах, которые Вы представили в Литературную консультацию Союза писателей СССР и которые я по её поручению прочитал.

Во второй книге, озаглавленной «Превращения», Вы говорите о том, что хотите «показать жизнь человека в заключении в сталинское время», пытаетесь дать психологическую канву «таинств», «мистерий», которыми сопровождаются превращения человека в лагерных условиях «из строителя и борца в оглушённого человека», дальше «из страдающего человека в тупое животное», затем – «в непокорного зверя», в человека, «давно вывернутого наизнанку», и наконец, четвёртое превращение – снова в человека, из «доходяги» в работягу через «таинство трудового дня», то есть посредством труда.

Иллюстрируете Вы это романтическим приключением героя-рассказчика с эвенкой Сашей-Машей, изображением тюремного быта и животных утех, того, что называется нижними этажами человеческой природы, историей побегов бандита Пашки Гурина и сибирского учителя Владимира Александровича, последним побегом Владимира Александровича в ничто, мысленным, несостоявшимся побегом героя-рассказчика за границу.

С досадой читаешь все эти истории, всё время чувствуешь, что не то Вы отбираете из сокровищницы Ваших переживаний и воспоминаний, что не на то тратите Ваш несомненный литературный талант.

Конечно, и описание конца Павла Гурина, мечтающего об американском размахе бандитизма, и метания Владимира Александровича, и самого героя-рассказчика сделаны у Вас мастерски. Но уж больно замыкаетесь Вы с Вашим героем-рассказчиком в тесном и затхлом кругу общений с уголовниками и бытовиками. О «контриках», о политических, таких как, например, Павлов – в прошлом командир дивизии военно-воздушных сил, – упоминаете мимоходом, не углубляясь в их внутренний мир.

И – скажу прямо без обиняков, не посетуйте на меня! – роман героя-рассказчика с эвенкой Сашей-Машей вызывает внутренний протест. Подумали ли Вы, как воспримет описание этого романа читательская аудитория, среди которой наверняка окажутся многие тысячи матерей, жён, вдов и других бывших узников, многие тысячи людей, которые слезами исходили и чудовищно много переболели за своих невинно осуждённых «страдальцев»? Они-то, родные и близкие заключённых, отказывая себе в самом насущном, посылали в лагеря шерстяные чулки и консервы, а оказывается, всё это уходило на всяческих Саш-Маш. И нужно ли кичиться тем, что лагерный роман и брак героя-рассказчика с Сашей-Машей совершился чуть ли не в небесах, на сиреневом снегу, а не «где-нибудь в бочке из-под солонины?»

Заслуженный интерес у работников Литературной консультации встретила другая книга Ваших «автобиографических записок» – «Человечность».

Здесь Вы очень рельефно рисуете образы двух лагерных начальников – Сидоренко, начальника лагпункта, в прошлом будёновского конника, из породы таких людей, кого в былое время называли «слуга царю, отец солдатам», и оперуполномоченного – дотошного законника, рафинированного сноба и циника Долинского.

В их взаимоотношениях дело доходит до конфликта. Но уж больно причудливо, неестественно разыгрывается у Вас этот конфликт. Сидоренко «вытащил со склада лагерного обмундирования свою дочь, студентку Надю, а вслед за этим приведённая им оперша выволокла оттуда за шиворот и своего супруга». (Кстати говоря, на Надю, хотя она и не действует в повествовании, но так, как она описана, это не похоже.) Казалось бы, Сидоренко получил козыри в руки против Долинского. Но не тут-то было. Долинский угробляет Сидоренко, сажает его в лагерь, а потом почему-то усиленно добивается его амнистирования. Это уж совсем по-семейному, по-домашнему.

И опять изворот: Сидоренко не принимает амнистии, требует реабилитации. Не верится в такой изворот. В этой связи вспоминается, что даже в царское время амнистия не воспринималась как что-то зазорное, кладущее пятно на честь и совесть освобождаемого. Презрение обычно вызывали «помилованцы» – те, которые выходили на свободу по прошению о помиловании.

Чрезмерным увлечением тем, что происходит на нижних этажах человеческой природы, и пристрастием к внешним эффектам отдаёт у Вас изображение несусветной любви цыганки Маши к цыгану Ивану. Всё с себя скинула, продала за наволочку махорки, голая распинает себя на печке, чтобы согреться, перед тем как пуститься ползком по огневой дорожке, где стреляют со сторожевой вышки без предупреждения, – лишь бы доползти до штрафного барака, где сидит Иван, и передать ему махорку.

И такая любовь приводит в умиление Вашего героя-рассказчика, и на этом примере, можно сказать, воспитывает он Татьяну Сенину, осуждённую по несправедливому обвинению в проституции, и тем самым толкает её в объятия своего помощника Студента, охочего до срывания «цветов удовольствия».

Излишними представляются мне эти эпизоды в Ваших автобиографических записках. Хорошо говорил на этот счёт А.М. Горький в одном из своих писем к поэту Дм. Семёновскому: «Любая чрезмерность – верный признак упадка стиля: будь то чрезмерность украшений или чрезмерность наготы».

Неладам с чувством меры сопутствуют у Вас нелады с чувством историзма. Со слов таких многолетних «сидельцев», тоже со стажем почти в двадцать лет (Тодорский, Лазуркина, Матуниевская), знаю, как глубоко культ личности проникал и за колючую проволоку, как заключённые и в майские и в октябрьские дни выкрикивали в окна лозунги и вывешивали плакаты в честь культа. А вот Татьяна Сенина у Вас пятикратно – и это в 1943 году, когда по всем фронтам гремело: «За Родину, за Сталина!» – выходит с написанным на полотенце призывом: «Долой Сталина!», и тот же Сидоренко из побуждений аморфного человеколюбия всячески вызволяет её.

Неправдоподобно всё это выглядит, так же как и задушевные беседы в условиях того времени героя-рассказчика с Сидоренко о «новом порядке», о «незримом царстве», о «системе Сталина-Долинского» в противопоставлении его «вождю Сталину».

Не вдаваясь в излишние сетоования по этому вопросу, сознавая, что наше, старшее, поколение большевиков совершило крупную историческую ошибку (имею в виду, что оно недостаточно учло завещание Ленина – его письмо от 25 декабря 1922 г., в котором шла речь о недостатках Сталина, о том, что, сосредоточив в своих руках необъятную

власть, он может злоупотребить ею), скажу только, что жестокостями и оголтелостями, мерзопакостями произвола периода культа личности далеко не исчерпывается содержание «нашего недавнего прошлого», тридцатых и сороковых годов нашего века, исполненных трудового энтузиазма предвоенных лет, насыщенного беспримерным героизмом лихолетья Великой Отечественной и сопряжённых с неимоверными восстановительными трудностями послевоенных лет.

Право, вместо того, что Вы вспомнили, что порассказали и что я советовал бы Вам устранить из рукописи, Вы могли бы вспомнить и порассказать другое. Неужели смысл Вашего повествования – описание лагерного быта уголовников и бытовиков? Вы пишете, что «герой его (Вашего повествования. – П. Ч.) – масса», но почему за пределами этой массы оставляете живших с Вами рядом «старых товарищей из Норильска и Мариинска... земляков по Парижу, Лондону и Нью-Йорку, учёных, писателей, художников, военных»?

Не могу пройти мимо таких неловких мест в Вашем повествовании, как:

«Наступили дни туманов, но не чужих, хорошо мне знакомых и никогда не забываемых чёрно-жёлтых туманов Лондона, а прозрачных, серо-розовых, сибирских – нашенских и родных, как эти таблички, и ржавая проволока, и вышки».

Колючая проволока, таблички на сторожевых вышках с надписью: «Огневая зона. Часовой стреляет без предупреждения», – и это нашенское, родное! Помилуйте, неужели больше не с чем ассоциировать сибирские туманы, чтобы сделать их родными, нашенскими, как с этими аксессуарами?

Или: «Это была в миниатюре вся наша страна». И такое – об исправительно-трудовом лагере со всеми его описанными Вами мерзостями! Выходит, что если он, этот лагерь – микрокосмос, то вся наша страна – макрокосмос, огромный сплошной исправительно-трудовой лагерь. Из контекста и по всему ходу повествования видно, что этого вы не хотели сказать, но фраза обронена неловко, неосторожно.

Развивая дальше в «Человечности» мысль о лагере как о «мирке, который только в уменьшенном виде отражал всё окружающее, как маленькая капля воды отражает огромное солнце», Вы, однако, не показываете, как в этой капле была отражена такая громадина нашей истории, как Великая Отечественная война. И к чему в довершение ко всем чрезмерностям наготы такое эпатирование «читающей публики».

«В это утро я делал вливание больным сифилисом. Они выстроились гуськом со спущенными штанами и по очереди подставляли болтающиеся сзади пустые мешочки, в которые я втыкал длинную и толстую иглу, снимал с неё шприц и минуту ждал, не покажется ли кровь, если всё было в порядке, то вводил в мышцу густую оранжевую жидкость. Больных было около двадцати человек, и дело продвигалось небыстро».

Буду рад, если мои замечания помогут Вам самокритично посмотреть ещё раз на свои рукописи и изъять из них то, что дисгармонирует с их лучшими фрагментами. А чем их дополнить из Вашей богатейшей сокровищницы переживаний и воспоминаний, думается, Вы сами сообразите лучше меня и кого-либо другого.

Уважающий Вас П. Чагин.
12 марта 1965 г.

Полагаю, что пропорция три к одному точно отражает соотношение сил в редакциях: дух сталинизма, желание «тащить и не пущать» и поклонение не подлежащему обсуждению положению, что писатель должен описывать не то, что есть, а то, что должно быть согласно официальной точке зрения, – всё это создаёт из литературных издательств мелкоячеистые сети, отсеивающие «крамолу» и пропускающие в печать не то, что полезно, талантливо или интересно, а то, что политически выгодно сталинистам, их режиму и их партии.

В этой критике меня больше всего поражает недобросовестность. И чем более критик сталинист, тем более он недобросовестен. Он готов на самую бесстыдную клевету и не стесняется этого! Чего стоит, скажем, такое утверждение:

«Любовь (цыганки Сашки к цыгану Ивану. – Д.Б.) приводит в умиление Вашего героя-рассказчика, и на этом примере он воспитывает Татьяну Сенину и тем самым толкает её в объятия своего помощника Студента, охочего до срывания «цветов удовольствия»».

А у меня сказано:

«– Доктор, любить могут все живые природные существа?
– Нет, Таня. Живых существ разного пола в природе влечёт друг к другу всего лишь инстинкт, то есть бессознательная потребность. А люди наделены сознанием, и только им одним в природе дано высокое счастье любить.»

– А Иван и Сашка?

Я сделал отмечающий жест.

– Ах, эти двое... В их любви много бессознательного влечения. Животные также способны на самопожертвование, и все же они остаются только животными. Любящий человек ради махорки не вовлечёт близкую ему женщину в смертельную опасность. Это гадко, это зло, а человеческая любовь, Таня, прекрасна, она всегда добро».

Ну, не подлец ли старый сталинский чиновник от литературы? Где же здесь умиление, если я отметил эту любовь? Где же здесь желание ставить такую любовь в образец, если я приравниваю её к животному чувству и ставлю в пример другую любовь – человеческую, прекрасную и добрую?

А ведь подобное бесстыдное передёргивание – это метод, это обязательный приём, это сознательная ложь во имя защиты своей точки зрения, то есть места у кормушки.

Сталинист, прочтя мои записки, с возмущением воскликнул: «Вы замкнулись в узком кругу наших исторических неудач и осложнений и потеряли перспективу! Да, потери, конечно, были! Но ведь не только ими заполнен период времени, когда И.В. Сталин руководил нашей партией и страной! А начало индустриализации?! А победоносная война?! Разве это не громадные достижения?»

«Да, громадные, – ответил бы я. – Но не Сталина и не сталинистов. Эти достижения принадлежат советскому народу, они в поте и крови им добыты без Сталина или вопреки Сталину! Всё, что сделано положительного, народ мог получить с меньшими потерями жизней, труда и материальных средств или, при данном уровне наших затрат, мог бы получить вдвое или втрое большие результаты».

Критикуя Сталина и сталинщину, даже неосталинский ЦК при Хрущёве вынужден был признать, что на определённом этапе насильственной перестройки ленинской партии в сталинскую она из двигающей силы превратилась в тормоз нашего национального развития. Наши достижения поистине грандиозны, но вам-то, господа неосталинисты, нечего к ним пристраиваться!

Я читал критические замечания П. Чагина по поводу одного из томов моих записок с искренним удивлением.

«А где же, мол, такая громадина, как война?! Вы её не заметили?!» – пишет он. Я на это мысленно ответил: «Нет, я заметил и точно отразил в моих записках: за период с весны по осень сорок второго года на Суловском лагпункте Мариинского отделения Сиблага умерла тысяча человек из

тысячи списочного состава. Лагерь поголовно вымер от голода – это ли не ответ заключённых на войну?! Но подходили новые этапы, и голодные, оборванные и больные лагерники лагпункта поставляли фронту сотни тонн свинины и тысячи тонн картофеля и пшеницы! Это ли не ответ?!

А в это время из других лагерей в народное хозяйство текла мощная река руды, разных металлов, золота, леса и даже вооружения. Лагеря в полную меру вместе со всем народом участвовали в патриотической войне, это ясно из моих записок, и именно в этом смысле я и писал, что каждый лагпункт отражал всю страну, как маленькая капля отражает большое солнце. Но, чтобы спорить со мной, П. Чагину нужно было прочесть другие тома записок, и это выявило бы мою правоту. Однако неосталинисту правда не нужна, ему нужна ложь, оберегающая его спокойствие!

Чёрт подери, фамилия генерала, начальника следственного отдела, – Леонов; это был рыжий, лысоватый мужчина среднего роста, с брюшком: он не «некий генерал», а живой человек. И разговор невыдуманный: за отказ от освобождения я отсидел три года в Сухановке! И отказ был разумным: не хотелось из-за своего освобождения стать провокатором и предателем, и с юридической точки зрения моя линия вполне правильна. И пересмотра я потребовал, говоря о том, что моя виновность не доказана, что я – только подозреваемый.

Всё это было именно так, как я написал, потому что я пишу не роман, а воспоминания.

Так в чём же дело?!

Значит, только в том, что нельзя писать правду?!

Каждый бывший лагерник подтвердит, что в советских исправительно-трудовых лагерях женщины до войны жили с мужчинами вместе и начальство строило при лагерях ясли и детдома для детей, рождённых от заключённых, и что в этом – великая гуманность нашего строя, этим мы должны гордиться. И всё же о сожительстве нельзя писать? Почему? В угоду фальшивым моралистам и фальсификаторам правды? Но ведь именно за проволокой я нашёл свою жену, своё счастье! Значит, и этого нельзя сказать в воспоминаниях о пережитом? Неужели в воспоминаниях я должен лгать, что с женой познакомился на ноябрьских торжествах в Москве?

Или вопрос о Павлове, бывшем комдиве, который говорил, что ему всё равно, где и как работать – командовать

дивизией или бить ломом вечную мерзлоту: ведь то и другое на пользу советской Родине! И рецензент-сталинист советует: о Павлове сказано мало и бегло, сделайте его главной фигурой повести, это – идеальный коммунист, пример для всех!

Почему?! Кто дал уголовным преступникам право уничтожать честных советских людей?! Надо возмущаться Сталиным и сталищиной, надо добиваться того, чтобы массовое истребление людей психопатами-садистами и безмозглыми держимордами больше не повторилось, и залог этому – воспитание в советском человеке не винтика, не покорного раба, а гордой личности, знающей себе цену и имеющей своё мнение.

Сознательность – это совсем не рабская покорность, которой так ждут от народа сталинисты. И как хорошо для нашей страны, что винтиков – Павловых – у нас мало: ведь не это ли доказывает факт, что Сталину и его клике понадобилось уничтожить миллионы людей для того, чтобы удержать в руках власть?

Вот тут-то и зарыта собака. Литературный идеологический спор прикрывает только борьбу за власть и кормушку: сталинисты, прилипшие к сытым местечкам, добровольно от них не оторвутся, они даже охотно выбросят Сталина из Мавзолея, но только для того, чтобы ещё прочнее стояла система, которая их кормит. Джугашвили умер, страшная кровавая сталищина давно кончилась, закрылись сотни лагерей, и миллионы мучеников вышли, чтобы пожить на свободе, а сталинизм, сталинская система мыслить и действовать живёт в сознании миллионов советских людей: пока сталинизм остаётся кормушкой, он будет жить!

Так население страны расколосось на две непримиримо враждебные части – три четверти идут за сталинской правдой, одна четверть – за ленинской. Это – неравная борьба двух идеологий. Единоборство двух правд.

Одна из них должна погибнуть...

Во время разбора спора по поводу моих произведений в комнате присутствовало человек десять-пятнадцать московских писателей, совершенно незнакомых мне людей. Когда судьи вышли, то стали расходиться и случайные слушатели. Наконец поднялся и я. Мне было тяжело... «Есть от чего махнуть рукой и бросить всю эту затею с воспоминаниями, – уныло думал я. – Самое страшное – попасться в сети гра-

фомании и мечтать о быстрой и дешёвой известности. Я – не писатель, а вот в Союзе писателей настоящие профессионалы мне говорят, что я пишу плохо. Скверно!»

Но когда все вышли, я в дверях столкнулся с молодым человеком, как видно, нарочно поджидавшим меня.

– Не верьте этим подлецам! Слышите? Не верьте!! – страстно зашептал он. – Это – враги нашей литературы, потому, что они враги нашей свободы! Паразиты! Не слушайте их! Пишите, обязательно пишите! Каждый день, каждый свободный час или минуту! Не теряйте времени и сил попусту! Всё в нашей жизни – пустяк, кроме этого! В этих воспоминаниях не ваше личное бессмертие, а бессмертие миллионов погибших людей! Не дайте мерзавцам уничтожить свидетелей, заткнуть им рты и потом сфальсифицировать эпоху! Это их специальность! Их хлеб! Пишите и складывайте рукописи в чемодан! История его найдёт и откроет! Верьте в это! Самое страшное, когда она откроет все чемоданы думающих людей нашей эпохи и они окажутся пустыми! Не слушайте этих холопов и держиморд – пишите!

Он перевёл дух. Зашептал снова:

– Не вздумайте пускать свои произведения в широкий оборот: их изловят и заткнут вам глотку! Напишите всё до конца – и сдайте все рукописи на вечное хранение. Куда? Сейчас дам адреса. Но главное – давайте кое-кому читать: старым партийцам и зелёной молодёжи! Поняли? Для проверки правильности направления! Держите два пальца на двух пульсах! Иначе оторвётесь от жизни, писать нужно под непрерывным контролем читателей! Найдите узкий круг и для проверки давайте написанное и вслушивайтесь в критические замечания! Это – важно! Иначе оторветесь от жизни! Собьётесь с пути! Вы поняли меня? Пишите – это раз, пишите под контролем читателей – это два!

Я вернулся обратно в зал, положил портфель на стол, вынул оттуда карандаш и бумагу.

– Так куда же сдать на хранение готовые рукописи? Вы обещали адреса?

Я повернулся к собеседнику.

Но в комнате никого не было: собеседник выскользнул в коридор и исчез.

Я долго сидел в пустой комнате, потом поднялся и бодро вышел вон, повторяя себе твёрдо, уверенно, почти весело: «Так оно и будет!»

— Так оно и вышло!

Литератор с большим и тонким вкусом мне написала: «Милый Дмитрий Александрович! Получила две книги и всё прочла. Начала читать в субботу после работы, оторвалась утром в понедельник. Ела кое-как, почти не спала, комнату не убрала. Сегодня после работы вернусь домой, отосплюсь, а с ночи начну читать снова. Это изуверство, это издевательство над собой, но иначе не могу — от Ваших страниц не оторваться!

Хожу в окружении героев Ваших романов, чувствую не летнюю жару, а мороз с ветром, вижу обессиленных, голодных людей, потерявших человеческий облик...

Всё производит столь сильное впечатление потому, что правдиво, честно и умно написано. Общественная ценность этой «энциклопедии русской жизни» на минувшем её этапе — безусловна! Вполне разделяю Ваши гражданские чувства и безусловно обоснованное желание оставить этот труд будущим поколениям для размышления. Это памятник невыжившим в неравной борьбе и одновременно памятник живым и не сдавшимся, не ставшим антисоветчиками, хотя к этому было приложено немало сил. Вы напрасно пишете, что Вы — не писатель: при чтении бросается в глаза именно художественная ценность Ваших воспоминаний. Безусловно интересна выбранная Вами форма! Пишите! Пишите скорее и больше: это **нужно!**»

Писательница с большим опытом, член КПСС, так выразила своё мнение: «Пишу под сильным впечатлением от Ваших рукописей. Я прочла довольно много ходящих по рукам в рукописях мемуарных романов аналогичного содержания. Все они потрясают. Но должна сказать прямо: Ваше повествование — одно из самых потрясающих, может быть, потому, что и участь Ваша оказалась одной из самых тяжёлых. Но для успешного воздействия на читателя этого недостаточно: помимо «материала», налицо совершенно недюжинное писательское мастерство.

У Вас замечательно чётко дана картина постепенного постижения героем того, что с ним случилось, своеобразная психологическая диалектика взаимоотношений с окружающими людьми. Но особенно сильное впечатление производит картина поединка со следователем. Вспоминаются самые гнусные персонажи Достоевского, солугубовский Передонов, но Ваш Соловьёв страшнее их потому, что он

элементарнее, огромна его власть над людьми и огромен его страх перед системой, которую он представляет. Вам удалось главное: Вы передали ощущение, что герой, несмотря на безнадёжность своего положения и свою безоружность, несмотря на то, что он вынужден к чудовищному “сотрудничеству” с Соловьёвым против самого себя, он всё же **сильнее** палача! Он внутренне свободен от него, он издевается над ним! Как это прекрасно! Если можно говорить об оптимизме по отношению к такому страшному повествованию, то надо сказать, что оно по самой своей сущности глубоко оптимистично!»

А вот мнение учёного историка, литературоведа и источниковеда, члена КПСС: «Думаю, что содержащиеся в воспоминаниях наблюдения имеют важное источниковедческое значение и представляют яркий человеческий документ».

От семьи, где отец и мать являются учёными с мировым именем, а дети – молодая талантливая смена родителям, я получил такое письмо: «Всё смешалось в доме Облонских из-за такой пошлятины, как лёгкая связь отца семейства с гувернанткой. Всё оказалось парализованным и в нашей семье – работа, еда, отдых, сон – из-за Ваших воспоминаний: в разных углах комнат мы сидели молча трое суток, уткнувшись в страшные чёрные книги. О впечатлениях писать нечего – удивление, возмущение, ужас, стыд, а вот общее мнение о книгах пока изложить не решаемся – потребуется немало раздумий, разговоров и споров, прежде чем откристаллизуются выводы. Изложение – мастерское, а содержание – настолько новый и неожиданный для нас мир, что мы попросту растерялись. Больно подумать, что это происходило в нашей стране, и мы в это время жили рядом, ни о чём подобном не подозревая.

Культурный советский человек обязан прочесть множество необходимых книг и между ними – Ваши воспоминания. И чем дальше будет уходить время, тем Ваши записки станут нужнее. А пока все четверо, в смятении и смущении, низко кланяемся и в четыре голоса от всего потрясённого сердца говорим Вам: Спасибо!»

Все четверо подписавшихся – члены КПСС.

Немолодые женщины, беспартийные, научные работники, прочтя мои записки, на просьбу дать письменный отзыв,

присели к столу и в течение нескольких минут набросали следующее: «Записки произвели на меня большое впечатление – они написаны сильно и талантливо. Выпуклы и точны образы как отрицательные (следователи, паханы), так и настоящих людей, которые даже в самых невыносимых условиях останутся людьми. Видимо, дело не в том, что они **советские**, а в том, что они – **люди**. В записках много спорных положений, но тем они и хороши, что будят множество мыслей и чувств. С точки зрения **большой литературы** записки тоже на высоте, как по языку, так и по техническим писательским приёмам (развитие сюжета и пр.). Записки оставляют такое впечатление, что их, прочтя, нельзя забыть».

И второй отзыв: «Записки доктора Быстролётова – повесть о необыкновенной судьбе необыкновенного человека. Особенность этой жизненной повести в том, что она написана им самим, человеком блестяще и разносторонне одарённым – он владеет более чем двадцатью языками, был разведчиком, является юристом, врачом, художником, писателем, человеком сильных страстей и железной воли и, наконец, просто красивым и обаятельным мужчиной. Записки задуманы как мемуары, но в этом смысле замысел автору не удался. Рамки мемуаров оказались для него тесны – их прорвал и вырвался на свободу талант писателя-художника, который ярко, образно и очень своеобразно описывает всё, что видит, а видеть ему довелось немало. Его искренность поражает читателя и покоряет до глубины души.

Известно, что только в острой ситуации открывается подлинный характер человека и выявляется его истинное лицо, а жизнь автора записок сложилась (и не случайно!) так, что почти целиком она прошла «в острой ситуации», и совсем не потому только, что живёт он в «жестокое и великолепное» время. Думается, что в самую мирную и безмятежную эпоху он нашёл бы для себя такую ситуацию бури!

Большая и разнообразная галерея людей (а автор записок – блестящий портретист!), каждый из которых раскрывается перед читателем «в острой ситуации», показана с живой искренностью, правдивостью и мастерством, каждый беглый портрет поражает точностью и свежестью красок.

Язык персонажей настолько характерен, что в этом смысле автора можно сравнить с немногими нашими писателями. Читателя поражает и специфичность темы: вряд ли в русской литературе можно найти такие картины жизни уголовного мира. Для автора-человека жизнь среди уголовни-

ков явилась, конечно, несчастьем, а для автора-писателя – счастьем; он наблюдал дно жизни не со стороны, а потому что сам был отдан на растерзание уголовникам.

К счастью для читателей, он не только уцелел физически, но и нашёл в себе внутренние силы рассказать другим о своём жизненном опыте. То, что автор видел и перенёс, мрачная страница русской жизни, но его записки совсем не мрачны, они делают честь тому, кто, столько пережив тяжёлого, мог сохранить в себе бодрый оптимизм, веру в людей и любовь к родине».

Я мог бы собрать пузатый том таких отзывов, наподобие книги отзывов при входе в помещение большой и интересной выставки. Но это вряд ли нужно, и я заканчиваю свой намеренно краткий перечень последним отзывом, письмом и стихами.

Авторам, мужу и жене, за тридцать лет, он – научный редактор, историк, писатель и поэт, член КПСС, она – научный редактор-лингвист, беспартийная. Это тип молодых наших интеллигентов, для которых, собственно говоря, я и пишу свои записки.

«Дорогие друзья!

Я прочёл последнюю книгу, данную мне Д.А. и посвящённую А.М. И поскольку эта книга о Вас обоих, я адресую своё письмо Вашей дружной коллегии. Я не могу относиться к этой рукописи как рецензент, ибо это исповедь, а исповедь не нуждается в чьих бы то ни было мнениях.

Теперь о впечатлении в целом. Если бы можно было выразить его в одном слове, то это слово – потрясение. Я не знаю, прав ли был с медицинской точки зрения Ломброзо, но лишь прочитав эту книгу, я по-настоящему понял, убедившись на Вашем жизненном примере, гениальную суровость слов Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой». Эта книга наименее литературная в том смысле, что она менее всего, как мне кажется, осложнена приёмами писательского мастерства, а это, помимо всего прочего, есть одно из свидетельств большого таланта.

Но довольно о литературе. Мне по-человечески трудно было читать эти страницы и ещё труднее оторваться от них. Это как на большом пожаре – и жутко при виде стихии, пожирающей всё, и в то же время притягивающе волшебной, и

мучительно больно от сознания никчемности твоего сострадания, раз ты не можешь ничем помочь и уберечь людей от этой большой беды.

Как это ни странно на первый взгляд, эта книга не порождает уныния. Напротив, в ней такой **бешеный** заряд жизненной силы! И ясная мудрость: человек могуч и прекрасен, и богатство жизни лишь в нём самом.

От души поздравляю и благодарю».

К письму приложено следующее стихотворение.

Анне Михайловне – дружески и преклонено. Автор.

Умер культ. Все идолы развенчаны
И от постаментов нет следов,
Лишь одни нас любящие женщины
Ждут по праву гимнов и цветов!
Сколько раз мы были б обещены
И врагам спускали сколько раз,
Если бы не любящие женщины,
Гордостью тревожащие нас.
Сколько раз, убитых невезением,
Возвращали нас опять к бойцам.
Окрылив дерзаньем и терпением,
Их животворящие сердца.
Сколько раз и в горе мы, и в радости
Припадали к родникам их глаз –
Почерпнуть сладчайшей в мире сладости,
Верой в жизнь напиться про запас.
И всегда, от века и до вечности,
Мы в долгу перед любовью тех,
Кто щедрей нас в гордой человечности
И великодушней в доброте.
Культы нет. Все идолы развенчаны.
Постаментов стёрты все следы.
Только им, – нас любящим, – обещаны
Поколений светлые труды!

Я живу, как в угаре, как в одном ни на минуту не прекращающемся порыве вперёд – кое-как ем и мало отдыхаю, моя голова вечно занята мыслями о том, что надо сделать, расчётами, поисками удачных слов и фраз. Я непрерывно озабочен – боюсь что-нибудь забыть, боюсь, что не успею завершить задуманное, боюсь четвёртого нападения рака и третьего удара и, главное, боюсь потери времени, боюсь, что события обгонят меня. Ах, как я клянусь свою инвалидность и потерю нескольких лет после освобождения! Но де-

лать нечего, надо сильнее вонзать шпоры в собственные бока и яростнее рваться вперёд.

Иногда мелькает здоровая мысль: «А уж не родственник ли я Иосифу Виссарионовичу по паранойе? У меня та же болезнь, но в иной форме! Вспомни-ка прабабушку, которая умерла связанной чудаковатым дедом, и мать, которая всегда была необычной, странной и привлекательной, не похожей на всех? Я же – врач и должен сам понимать, что я – параноид, психопат-маньяк в состоянии постоянного душевного возбуждения, напряжения и эйфории!» Но сейчас же другая, ещё более здоровая мысль гонит меня: «А кому какое дело до моего психического состояния? Я занят **нужным** делом, мои записки **нужны**, так о чём же заботиться?! Меня скоро не будет, а они останутся, и в этом, только в этом и всё дело!»

Поэтому положительные отзывы дают мне силы. Я не один, я чувствую рядом локоть друзей. Значит – мой труд полезен, а сознание этого делает его радостным! Это не патологическая эйфория, это великая радость и счастье творчества, это – Шёлковая нить!

Мои записки – черновой материал для будущих социологов, политиков, историков. Эти люди живут рядом. Они ждут. Значит, ни одного дня отдыха, пока работа не закончена!

Вперёд!

Своё дело я сделаю, а остальное поручаю судьбе: книги, как и их авторы, имеют свою историю, и я, верящий в своё счастливое избрание, твёрдо убеждён в счастливом окончании чемоданного заключения своих рукописей!

Глава 7

Беседа за круглым столом

Наша комнатка похожа на корабельную каюту: справа и слева стоит крупная мебель – диван и сервант с одной стороны, платяной шкаф и шкаф с холодильником – с другой. Между ними втиснуты этажерки, а где осталось место, на стене подвешены книжные полки. Между отдельными предметами едва можно просунуть палец. Место перед окном

занимают стол и четыре стула. Свободного пространства так мало, что от двери к столу надо идти гуськом, а места на стульях занимать по очереди. Поэтому мы не можем принять больше двух гостей сразу.

Стол у нас четырёхугольный. Но когда приходят Степан Ипполитович Медведев, Борис Владимирович Майстрах и Семён Иосифович Шавцов и затевают за чаем серьёзный и долгий разговор на какую-нибудь общественную тему, то мы называем его модным сейчас термином – беседой за круглым столом.

Медведев отсидел в Норильске полтора десятка лет и вышел таким же, каким был, – бодрым, приземистым крепышом, горячим и искренним человеком. Майстрах после Суслово побывал во многих местах заключения и ссылки, в том числе и в Норильске, и тоже остался таким, каким был, – долговязым и тощим, пронизательным и информированным.

Степан восстановлен в партии, но он теперь не заместитель министра путей сообщения, а всего только скромный заместитель директора небольшого завода. Майстрах – не генерал, а полковник в отставке, работает в комиссии по истории советских вооружённых сил, беспартийный. Семён вообще не был репрессирован, он даже когда-то работал в Секретариате Бериин. Теперь это такой же убеждённый коммунист, каким он всегда был. По своему официальному положению – неосталинист, осторожный, в меру поддакивающий, но очень разумный и мыслящий. В институте дважды избирался секретарём партийной организации, однако остаться в стороне от внутренних сомнений и поисков не смог: «Голова мешает спокойно жить!» Так и доискался этот пучеглазый, дородный «Зеркальный Карп» до бесед за круглым столом. Особого рвения не проявлял, больше слушал, пыхтел и пил чай (в вечер до 20 стаканов), а если вставлял своё замечание – то всегда умное, дельное и интересное.

Была у собеседников одна беда – все яростно курили. А Анечка терпеть не может дыма. В вечера бесед она уходила к Лине, освобождая тем самым третье место за столом. Мы сервировали стол кое-как, подчёркивая тем самым, что собралась мужская компания. Час расставания был всегда один – ровно в десять. Когда все уходили, я поспешно раскрывал окно и дверь и убирал и проветривал комнату. Через полчаса являлась Анечка, нюхала воздух, искала пепел на скатерти и недовольно ложилась спать – она не любила непорядка.

Сели. Разлили чай. Все взяли по ломтику сухого печенья.
Пауза.

– Прекрасная нынче погода, – начинает Стёпа.

– М-м-м-да. Холодновато немного, – поддерживает Борис.

– Не ходите вокруг да около и не теряйте времени, – улыбается Семён. – С чего бы ни начали, всё равно кончите одним и тем же – почёсыванием ушибленного места. Переходите к любимой и неисчерпаемой теме: Сталин и его время.

Гости довольно улыбаются.

– Неисчерпаемой – да, но не любимой. К тому же мы расширили её, включив и наследника Сталина, – сказал я. – Давайте повторим термины, чтобы не путаться и совершенно точно понимать друг друга. Человек, в эпоху террора отвечающий за государство и партию, – Сталин; он жив и по сей день, его дух властвует в грандиозном Мавзолее, имя которому – СССР. Психопат, пробившийся в деспоты, – Джугашвили, его тело вынесли из Мавзолея и похоронили у Кремлевской стены. Борьба за власть путём истребления миллионов советских людей – сталищина, и люди, помогавшие Сталину в терроре, – сталинчики. Это трагическая полоса нашей истории. Выстроенная Сталиным на обломках ленинизма система чиновничьего бюрократического социализма и образ мышления чиновников, строящих сегодня государственный чиновничий социализм, называются сталинизмом. Неосталинисты – это обыкновенные советские люди, воспитанники чиновничьей системы.

Неосталинизм породил Хрущёва, как наследника Сталина, а Хрущёв, заменив трагическое комическим, создал хрущёвщину, диалектически противоположное и в то же время неразрывно единое историческое детище сталищины. Хрущёвец – это перекрашенный в весёлые цвета мрачный и скучный сталинчик. Все согласны с терминологией?

– Согласны, – сказали Степан, Борис и Семён.

– Гм... – вдруг насмешливо хмыкнул Борис. – А как же мы будем называть тех, кто придёт на смену нынешним неосталинистам после смерти или устранения Хрущёва?

– Никак, Борис! – ответил за меня Степан. – У наследников Сталина два пути: если персональной власти будущего диктатора не будет ничего угрожать, он, без сомнения, предпочтёт бескровный путь, а человек, который душит народ и мешает его свободному творчеству, цитируя при этом Маркса и Ленина, – этот всегда будет неосталинистом, как бы он ни маскировался. Но если для персональной власти воз-

никнет угроза, то диктатору придётся перейти на кровавый путь. Тогда мы, если выживем, будем называть его сталинщиком, ибо только так должен называться человек, который под пьяный мат стреляет в затылки советских людей.

– Ладно, согласны и с этим!

– Путаницы не будет? Ну, пойдём дальше. У вас есть что-нибудь новое для сегодняшнего обмена мнений за круглым столом?

– Есть! – кивнули три гостя.

– Тогда начинай ты, Борис!

Майстрах откладывает сигарету и не без удовольствия вынимает пачку потёртых листов – рукопись, отпечатанную на машинке. Это – самиздат, то есть циркулирующая по рукам подпольная литература, характернейшая примета последнего года хрущёвского режима, это позор, грозное предостережение и исторический приговор.

– На этой неделе мне дали почитать открытое письмо одного советского журналиста И.Г. Эренбургу. Я его зачитаю, а потом поговорим.

Все отхлебнули чай, долили чашечки, и Борис начал читать:

Илья Григорьевич!

Я принадлежу к тем, кто считает Вас одним из самых умных и передовых писателей нашей страны. Как и другие, я особенно ценю Вас за то, что в трудные времена Вы стремились не гнуть спину, когда другие молчали или лгали, вслух говорили правду.

Этим Вы завоевали себе место, которое у нас делят с Вами немногие, и этим прежде всего помянет Вас будущее. Каждый настоящий писатель или крупный публицист создаёт себе нерукотворный памятник, и Ваша задача в том, чтобы до конца не поддаваться неправде, даже в какой-то её части. Я всегда думал, что Вы это чувствуете лучше многих других.

Тем более странно и непонятно для меня было прочесть некоторые Ваши высказывания о Сталине в заключительной главе Ваших «Воспоминаний» в «Новом мире», номер четвертый.

Вы откровенно пишете, что не любили и боялись Сталина, хотя и добавляете, что долгое время в него верили. Вы не скрываете, не умаляете его «несправедливых, злых дел», его коварства, отмечаете, что при нём «мы не могли жить в

ладу со своей совестью». Сказать это с Вашей стороны естественно. Вы говорите правду, и иного никто от Вас не ждал. Но в то же время, когда вы подводите итог пережитому, в Ваших словах звучит нечто для меня неожиданное. Почти повсюду и, по-видимому, не случайно Вы переплетаете с мыслью о злых делах Сталина, другую мысль – об его величии. Я перечитал такие места, и мне стало ясно, что Вы делаете это сознательно.

Зачем, Илья Григорьевич?

«Я хочу ещё раз сказать читателям моей книги, – пишете Вы, – что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории.

При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство... разбил армию Гитлера, победившую всю Европу... стал по праву героем XX века. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой и одарённостью народа, как бы ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать».

Вот это сплетение «зла и добра» в отношении Сталина и бросается в глаза. Оно повторяется несколько раз. Выходит, что героизм советского народа как бы неотделим от несовместимых с совестью дел Сталина. Не он ли «своим злым, но государственным умом, своей редкостной волей» и побудил народ на героизм?! И Вы подчёркиваете эту не возникавшую в уме читателя мысль, говоря: «Я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбванным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского возрождения».

У Вас прямого вывода нет, но у многих он будет. Без Борджиа не было бы итальянского возрождения, без Сталина не было бы превращения отсталой России в великое и героическое государство. Одно неотделимо от другого.

Это – политический оправдательный приговор Сталину. И то, что выносите его Вы, Эренбург, трудно понять. Не Вам бы это делать, Илья Григорьевич.

Я знаю, Вы не политик и не историк. Вы художник. Вы говорите как чувствуете, – сказали Вы недавно на одном собрании в Центральном доме литератора. Но ведь Вы очень много думаете о политике, о современности, и сила Ваша, как писателя, именно в этом. Из художников слова Вы один из политически наиболее знающих, опытных и образованных. Вам известно очень многое о том, что было в действительности. Идти против совести Вы не хотите. Как же Вы,

именно Вы, можете оправдывать Сталина, превращая его в некоего Борджиа или Макиавелли?

Хотелось бы, чтобы Вы меня поняли правильно. Дело не в метафизическом споре о том, может ли «зло» быть прогрессивным фактором в истории. Нет, я имею в виду совсем другое.

Беру на себя смелость сказать, что Ваша оценка роли и ума Сталина именно как государственного деятеля, а не как моральной единицы, совершенно расходится с исторической действительностью, с фактами.

Не стану говорить о многом, что известно всем, а Вам, в частности, лучше, чем мне. Тысячи книг будут написаны об этом и изданы у нас же в нашем веке, может быть, даже скоро, скорее, чем думают. Я уверен в этом не только потому, что я оптимист, но и потому, что знаю по истории, как быстро и резко она, не всегда, но часто, восстанавливает истину и стирает ложь. Но пусть об этой внутрисоветской стороне сталинских государственных дел напишут другие. Я коснусь только одного того, что знакомо мне больше всего – «ума и воли» Сталина в области международных и связанных с этим дел, того, какую роль сыграл он политически в судьбе нашей страны за ту четверть века, о которой Вы говорите.

Выделяю только шесть вопросов, которые кажутся мне особенно важными.

Вы помните, Илья Григорьевич, все мы из старого поколения не можем забыть о том, как за несколько лет до войны с самым страшным врагом, который когда-либо противостоял России, было внезапно уничтожено или выведено из строя почти всё основное ядро высшего командного состава Красной Армии. По данным генерала Тодоровского было репрессировано:

- из 5 маршалов Советского Союза 3,
- из 2 армейских комиссаров I ранга 2,
- из 4 командиров I ранга 2,
- из 12 командиров II ранга 12,
- из 6 флагманов флота I ранга 6,
- из 15 армейских комиссаров II ранга 15,
- из 67 комкоров 60,
- из 28 корпусных командиров 25,
- из 199 комдивов 136,
- из 397 комбригов 221,
- из 36 бригадных комиссаров 34.

Это неполные данные. Общее число репрессированных командиров Красной Армии не поддаётся учёту.

Если считать только самый высший состав от маршала до комиссаров II ранга включительно, то оказывается, что из 46 человек выведено из строя 42. Если сосчитать всех вместе и вывести среднюю цифру, то из каждых трёх человек высшего командного состава Красной Армии жертвами стали двое. Никакое поражение никогда не ведёт к таким чудовищным потерям высшего командного состава. Только полная капитуляция страны после проигранной войны может иметь следствием такой разгром. И это как раз накануне решающей схватки с вермахтом, накануне величайшей из войн Красная Армия была обезглавлена. Это сделал Сталин. Ум или воля?

Глядим дальше. Советские вооружённые силы ослаблены как никогда, Гитлер знает об этом и ликует. Как теперь известно, он даже помог Сталину в этом деле, приказав главе гестапо Гейдриху подбросить в Москву ложные документы против так называемой группы Тухачевского, хотя подлинным инициатором подлога был Сталин, воспользовавшийся через Саблина услугами гестапо. Через два года после массового истребления советского генералитета Сталин заключает пакт с Гитлером.

Упоминая об этом, Вы пишете, что, по словам, сказанным Вам нашими дипломатами, пакт с Гитлером был необходим. Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза. Зная о том, что произошло впоследствии, это – спорно. Спорно хотя бы уже вот почему: если бы Гитлеру, восточный тыл которого был обеспечен благодаря пакту с нами, в 1940 году, сразу после разгрома французов и бегства англичан, удалось так или иначе покончить с Англией (а теперь ясно, что сразу же после Дюнкерка такой план у него действительно был) – если бы это произошло, то мы были бы обречены.

Вместо «коалиции Запада» нам противостоял бы единый гитлеровский запад, что несравненно хуже.

Америка в этом случае, потеряв английскую базу, окончательно бы отступила за океан, предоставив Гитлеру распоряжаться с нами. Изоляционистские и профашистские силы в США сразу возросли бы во сто крат, позиции Рузвельта пошатнулись бы, и даже германо-американская коалиция стала бы возможна против нас. Эффект, таким обра-

зом, был бы прямо противоположен тому, на что рассчитывал Сталин, заключая пакт с Гитлером. И дело было в том, что разгрома Франции и Англии он не предвидел. Он не разобрался в положении.

В результате в 1940 году мы висели на волоске, и только поразительный просчёт Гитлера – этого Макиавелли номер два, позволил нам выбраться из ловушки. Про всё это молчат по сей день. Мы играли ва-банк, и тогда уже могли проиграть в этом вопросе раз и навсегда в этом веке. Но оставим предположения в стороне, остановимся на почве того, что было фактически.

Допустим, как, очевидно, Вы верите сами, что пакт с Гитлером был необходим. Вы знаете, что уже после войны Сталин выдвинул новый, по его мнению, решающий аргумент в пользу пакта. По его указанию Вышинский написал в известной «Справке Совинформбюро» («Фальсификаторы истории»), что Советскому Союзу удалось использовать советско-немецкий пакт в целях укрепления своей обороны... и преградить путь беспрепятственного продвижения немецкой агрессии на Восток... Гитлеровским войскам пришлось начать своё наступление на Восток не с линии Нарва–Минск–Киев, а с линии, проходившей сотни километров западнее.

Да, так и было. Но было ли это хорошо для Советского Союза? Гениальным ли оказался этот сталинский военно-стратегический макиавеллизм?

Вы что-то знаете об этом, Илья Григорьевич? Однако пишете Вы, упоминая мимоходом о пакте с Гитлером: «Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны, об этом мне говорили и военные, и дипломаты». На этом Вы ставите точку.

Вот что произошло в действительности. Перейдя старую границу, заняв Западную Белоруссию и Западную Украину, советские войска, согласно той же «справке» Сталина, развернули там строительство обороны вдоль западной линии украинских и белорусских земель. По сути дела это неправда. Советские войска получили от Сталина приказ не форсировать строительство укреплений вдоль новых рубежей, дабы не провоцировать немцев. За исключением отдельных участков, где командующие всё же что-то делали, постоянных мощных вооружённых укреплений построено не было. Как всем известно, линия новой обороны в июне 1941 года была такова, что вермахт прорвался через неё без особых усилий и оттуда уже с огромным разгоном, скач-

ками бросился к старой советской линии Нарва–Минск–Киев. Что же он нашёл там теперь? Выражаясь литературным словом, мерзость запустения. Вам это, конечно, известно, Вы были военным корреспондентом. Известно, несомненно, и почему так случилось. По приказу Сталина старая линия обороны после германского пакта была ликвидирована. Говорят, что Шапошников протестовал. Вооружение и оборудование было демонтировано. Не успели только перепахать окопы. И, не найдя сильной укреплённой обороны, Гитлер покатился дальше к Москве, Харькову. Там, где его можно было бы действительно задержать или остановить на какой-то жизненно короткий срок, – тогда время считалось буквально на часы и минуты, – там укреплений уже не было.

Где же здесь «блистательная политика», Илья Григорьевич? Если принять такое определение, то блистательной она оказалась для Гитлера, для Советского Союза же катастрофической, губительной и, мягко выражаясь, дилетантской. По своему дилетантизму она живо напомнила нам злосчастную внешнюю и военную политику царских министров и генералов времени Николая II. Такое же незнание обстановки, незнание врага, такая же неподготовленность, такие же грубые просчёты «по наитию», и если говорить о самом Сталине, то в 30-х годах в военно-политической области он оказался столь же преступно некомпетентным, как и в 1920 году, когда именно по его вине (а не по вине Тухачевского и не из-за талантов Вейгана) было провалено блестящее наступление, начатое Красной Армией на Варшаву, – то наступление, успех которого мог бы изменить весь ход истории.

Разрешите ещё один взгляд на сцену событий в 30-х годах, но теперь совсем с другого фланга. Накануне войны Сталин резко ослабил силу Красной Армии, разгромив её командный состав и испортив её стратегические позиции. Укрепил ли он её положение, по крайней мере в тылу вермахта, в политическом отношении? Нет! Он испортил её позиции и тут, и об этом Вы также должны знать лучше других, Илья Григорьевич!

Гитлер пришёл к власти и удержался у власти прежде всего потому, что германский рабочий класс был расколот надвое. Это общеизвестно. Раскололи его реформисты, это тоже известно, но это – полправды. Другая половина правды заключалась в том, что расколоть рабочий класс в Германии и во всей Западной Европе помог реформистам непосредственно сам Сталин.

Я полагаю, Вы угадаете, что я имею в виду: знаменитую сталинскую теорию «о социал-фашизме». Кое-что в этой связи, мне кажется, Вы наблюдали во Франции и в Испании.

Сталин публично назвал социал-демократию «умеренным крылом фашизма».

Ещё в 1934 году он заявил: «Нужна не коалиция с демократами, а смертельный бой с ними, как с опорой нынешней фашистской власти». Вы, может быть, забыли эти слова, Ваша область – искусство. Я не забыл и не забыли миллионы старых коммунистов и социал-демократов на Западе. Но не Вам, Илья Григорьевич, не знать их и не помнить, что происходило среди рабочих на Западе в 30-х годах. Слова Сталина были таким же приказом Коминтерну, как его указания Красной Армии и НКВД. Они отделили рабочих друг от друга как бы баррикадой. Помните? Старые социал-демократы рабочие повсюду были не только оскорблены до глубины души, они были разъярены. Этого коммунистам не простили. А коммунисты, стиснув зубы, выполняли приказ о «смертном бое». Приказ есть приказ, партийная дисциплина – дисциплина. Везде, как будто спятив с ума, социал-демократы и коммунисты неистовствовали друг против друга на глазах у фашистов. Я хорошо это помню! Я жил в то время в Германии и никогда не забуду, как сжимали кулаки старые товарищи, видя, как всё идёт прахом, как радуются социал-демократические лидеры, как теория социал-фашизма месяц за месяцем прокладывает дорогу Гитлеру. Сжимали кулаки, подчиняясь «уму и воле», и шли навстречу смерти, уже поджидавшей их в эсэсовских застенках. Отказался Сталин от теории социал-фашизма только в 1935 году, когда уже было поздно. Гитлер смеялся тогда и над коммунистами, и над социал-демократами.

Когда в 1939 году Сталин заключил пакт с Гитлером и приказал всем компартиям мира тут же, моментально прекратить антифашистскую пропаганду и выступить за мирное соглашение с Гитлером, стало совсем скверно. Я не хочу останавливаться на этом. Вы это помните! Сталин в то время уже не ограничивался разобщением социал-демократов и коммунистов. Теперь он начал дискредитировать и разоружать самих коммунистов на Западе. Ещё два-три года – и компартии Запада были бы разрушены.

Да, «редкостная воля» была в наличии и тут. Она стояла нам одним свыше 20 миллионов жизней и едва не стояла всего – гибели страны и коммунизма.

Укрепив свой тыл в Германии и во всей Западной Европе и со злорадством наблюдая, как антифашисты грызли друг друга глотки, Гитлер мог начать войну, и он её начал. Его фронт и его тыл были усилены политикой советского Макиавелли. Вместо того чтобы накануне решающей исторической схватки объединять и собирать, Сталин разъединял, дробил, отпугивал. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому в мире Ленин не простил бы такой сумасшедшей политики, равносильной предательству. Предательства не было, но разительное политическое банкротство было. Что хуже – не знаю. Как видите, Илья Григорьевич, я опять говорю не о зле, я говорю как раз об «уме и воле».

И говорить об этом нужно во что бы то ни стало. Если даже Вы, неизвестно почему, вплетаете свои нити в клубок легенды о злом, но великом, то возражать нужно и Вам!

Я хочу довести эту цепь свидетельских показаний истории о предвоенных годах до конца, до июня 1941 года. Показаний сотни. Упомяну лишь об одном, менее известном – о случае с Шуленбургом.

Вы, как и все мы, знаете, что Сталин до конца, до последней минуты верил в слово Гитлера, данное в советско-германском пакте о ненападении. Вы пишете: «Сталин почему-то поверил в подпись Риббентропа» и, когда Германия напала, вначале растерялся. Да, Гитлеру и Риббентропу он верил. Не поверил Зорге, не поверил нашим другим разведчикам. Не поверил Черчиллю, предупреждавшему его через Майского и Крипса. И не поверил ещё более осведомлённому информатору.

Известно ли Вам, Илья Григорьевич, что за несколько недель до войны германский посол в СССР граф Шуленбург обратился к находившемуся тогда в Москве советскому послу в Германии Деканозову, другу Берия и доверенному человеку Сталина, и пригласил его к себе на обед для доверительной беседы. Беседа состоялась. Присутствовали четверо: Шуленбург, его ближайший сотрудник, советник германского посольства Хильгер (который впоследствии рассказал обо всём этом), Деканозов и переводчик Молотова и Сталина Павлов. В Берлине об этой встрече ничего не знали. Уже после войны Хильгер сообщил в своих воспоминаниях, что Шуленбург очень боялся пойти на этот «отчаянный шаг», считая, что дело может закончиться судом в Германии за государственную измену. Тем не менее он себя пересилил. Предчувствуя, что война на два фронта в конце

концов приведёт Германию к разгрому, опытный немецкий дипломат старой школы, консерватор и националист, но не фашист, решился на всё.

Он и Хильгер открыли глаза Деканозову. Он предложил ему передать Сталину, что Гитлер уже в ближайшее время может ударить по СССР. Это была, безусловно, государственная измена, и какая! Посол сообщает правительству, при котором он аккредитован, что его страна нападает вероломно на их страну. Шуленбургу грозили за это смерть и несмыываемый позор. Но как реагировали Деканозов и Сталин?

«Наши усилия, – пишет Хильгер, – закончились полным провалом!» Сталин не поверил Шуленбургу, как не поверил Зорге и Черчиллю. Он счёл, что сообщения германского посла – всего лишь хитрый ход со стороны Гитлера с целью выудить от него, Сталина, новые уступки немцам.

«Чем дальше шло время и чем больше я наблюдал за поведением русских, – пишет Хильгер о последних неделях перед войной, – тем больше убеждался, что Сталин не сознавал, как близко было угрожавшее ему германское нападение... По-видимому, он думал, что сможет вести переговоры с Гитлером о его требованиях, когда они будут предъявлены». Хильгер добавляет, что Сталин был готов к новым уступкам Германии.

Три года спустя Шуленбург был повешен на железном крюке в берлинской тюрьме Плотцензее за участие в заговоре генералов против Гитлера. Известно, что до этого он намеревался перебраться через фронт к нам, чтобы от имени заговорщиков договориться о прекращении войны.

Сталина и Гитлера нет. Деканозов расстрелян, но Павлов жив. Если не хотите верить Хильгеру, то спросите Павлова!

Сталин накануне войны ничего не понимал, он совершенно запутался, никого не слушал, никому не верил, только себе. И в решающий момент оказался полным банкротом! Оттого, как Вы пишете, он и «растерялся вначале». Выяснилось, что его рукой водил Гитлер. Несмотря на гигантский информационный и агентурный аппарат в его распоряжении, аппарат, прекрасно сработавший в этот момент, несмотря на то, что его осведомителем оказался сам германский посол – неслыханный случай в дипломатической истории, он был слеп, как крот. Почему? Ответ перед глазами. Сталин думал, что Гитлер ведёт с ним игру, которая была привычна ему самому, в которой он всегда видел подлинное содержание всей политики, игру в обман и шантажиро-

вание другого. Он хотел играть с Гитлером, как до этого играл со своими противниками в большевистской партии. А Гитлер уже двигал танки к советской границе. Для фюрера уже теперь речь шла не о том, чтобы обманывать и шантажировать, а о том, чтобы бить и бить.

Илья Григорьевич, не бросается ли Вам опять в глаза удивительное сходство Сталина со злосчастными царскими политиками нашего далёкого прошлого? Он был хитёр. Но не умён. Не был даже, как заметил Раскольников, по-настоящему образован.

Я не хочу и не могу поверить, что Вы испытываете почтение к хитрости, Илья Григорьевич. Хитры были и многие царские министры (умён был, пожалуй, один лишь прогнанный царём Витте). Мало что дала им хитрость. Ведь как раз хитрость мешает быть умным... Человек, который видит вокруг себя только то, что в нём самом, только хитрость, часто очень слеп, в результате туп, таким оказался Сталин накануне войны. Не Макиавелли, не Борджиа был он, а потерявший голову политик, хитрец, которого перехитрили, игрок, которого переиграли. У этого человека был невиданный репрессивный аппарат, в его абсолютном подчинении был 170-миллионный героический народ. Но Сталин был неспособен к настоящему глубокому политическому анализу, в этом отношении он был политиком второго сорта и в критический момент провалился.

К слову сказать, я не знаю, известно ли Вам, как оценивал Сталина Гитлер? Он ставил его очень высоко, но, прежде всего, как тирана. Один профессионал ценил другого. Об этом есть упоминание в стенографических записях бесед Гитлера с приближёнными в годы войны. В ночь на 6 января 1942 года он сказал: «Сталин хотел бы считаться глашатаем большевистской революции... В действительности он отождествлял себя с Россией царей. Большевизм для него только средство, прикрытие для германских и латинских народов». 9 августа того же года Гитлер говорил, что «для Сталина социальная сторона жизни совершенно безразлична. Что касается его, то народ может сгнить». Он называл Сталина «хитрым кавказцем». В том же, однако, что он Сталина перехитрил, Гитлер не сомневался ни минуты. Июнь 1941 года показал, что он был прав. Сталина спас только народ.

Это письмо выходит длиннее, чем я думал, и больше исторических свидетельств я приводить не буду. Но хочу подвести итог.

Вот, на мой взгляд, итог государственной мудрости Сталина к концу 30-х годов. Как сказано, я говорю только о его международной политике и о том, что имело к ней прямое отношение.

1. Разгром командного состава Красной Армии накануне войны.

2. Срыв антифашистского единства рабочего класса на Западе.

3. Предоставление Гитлеру шанса покончить с Францией, Англией и нейтрализовать Америку, прежде чем наброситься на Советский Союз.

4. Отказ от серьёзного укрепления советской обороны на путях предстоящего наступления Вермахта.

5. Дискредитация западных компартий приказом отказаться от антифашизма в 1939 году.

6. Предоставление Гитлеру возможности внезапного, ошеломляющего нападения на Советский Союз, несмотря на наличие ряда достовернейших предостережений.

Это только за четыре года: 1937–1941 гг.

Одного из шести перечисленных пунктов было бы достаточно для того, чтобы совершивший подобный просчёт политик, кто бы он ни был, где бы ни жил, навсегда потерял свою репутацию и с позором был изгнан со сцены, как непригодный к делу. Я вспоминаю ведущих капиталистических политиков того времени по сравнимым масштабам политического провала, мне приходит на ум только один. Это – Муссолини. И того Гитлер, который не был каким-нибудь Бисмарком и доказал это, бросив Германию в войну на два фронта, и того Гитлер обвёл вокруг пальца. Чемберлен провалился не потому, что был слеп, а, прежде всего, потому, что им руководила ослепляющая колоссальная ненависть к нам. У Сталина такого парадоксального «оправдания» нет. Но слово «государственный ум» в приложении к нему в то время звучит как издевательство.

Если же взять все шесть пунктов вместе, в сумме, в связи друг с другом, как это и было в жизни, то найти аналогию к такому счёту в нашу эпоху вообще сложно. Вряд ли в истории вообще было много прецедентов политического банкротства подобного масштаба. Сталина спас только народ.

Да, «перечеркнуть четверть века нашей истории», как Вы говорите, действительно нельзя. Но нельзя же и не видеть того, что было за эти четверть века на деле. Мне кажется,

Вы сами чувствуете, что в Вашей двойственной оценке Сталина что-то не ладится, что где-то она сама себя отрицает.

Вероятно, поэтому, говоря о победах и подвигах советских людей в эту эпоху, Вы замечаете: «может быть, правильнее сказать – “не благодаря Сталину”, а “несмотря на Сталина”». Да, вот с такой поправкой согласиться можно: «несмотря на Сталина» наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство. «Несмотря на Сталина» он разбил армию Гитлера. «Несмотря на Сталина» он учился, читал, духовно вырос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века.

Миллионы согласятся с таким выводом. Но где же тогда положительная половина Вашей оценки Сталина, Илья Григорьевич? Где же тогда её макиавеллистическое величие, его «государственный ум»?

Не было государственного ума. Не было величия. Были довольно ограниченная хитрость и сила, опирающаяся на самодержавную власть над огромными человеческими ресурсами. Была авантюристическая, преступная по безрассудству игра ва-банк, объяснявшаяся к тому же не преданностью идее коммунизма, а невероятным самомнением и сладострастной похотью к личной власти за счёт идеи. Сталин во что бы то ни стало хотел стать выше Ленина (которому завидовал всю жизнь) и ещё при жизни стать «социалистическим» властелином всей Европы и Азии. Америку, по видимому, он был готов предоставить своим преемникам. Если Вы помните старую книгу Уэллса «Когда спящий просыпается», Вы припомните такого же властелина, пробившегося к власти на гребне революции. Его звали Острогом.

Мне казалось, что так смотрите на Сталина и на то, что было со всеми нами, и Вы. Я ошибался? Но тогда то, что Вы пишете о Сталине, Вы пишете против себя.

Зачем помогать в создании легенды о творившем добро злом советском Макиавелли? Вы говорите о требованиях совести (я стал бы ещё говорить о том, что требуется в интересах будущего коммунизма). Но, если так, то нужно разрушать, разоблачать эту легенду, надо сказать правду. Ведь Вы знаете, что спрятать её не сумеет никто. Нельзя противопоставлять совести историю, она всегда мстит за это.

Я кончаю. Многие, очень многие в нашей стране и за рубежом верят Вам, Илья Григорьевич, они были в душе с Вами, когда огонь направлялся на Вас, зная, что Вы говорите правду, они продолжают быть с Вами. Мне кажется, что

Ваша оценка Сталина – ошибка. Те из стариков, кто помнят, знают и ещё думают, с Вами не согласятся, молодые Вас не поймут, кое-кто перестанет верить... Не поймут иностранные коммунисты, которые всегда Вас ценили, не поймут Вас и те, кто будет жить после нас. Будущее не со сталинщиной. А ведь главные рецензии о Вас напишут они. Скажу ещё и ещё раз – Вы пишете против себя. Я ни секунды не думаю, что Вы делаете это ради каких-либо так называемых «тактических» соображений. Вы для этого слишком умны и не можете не знать, что такая тактика неизбежно бьёт бумерангом по тому, кто её применяет. Простите за резкость, если она есть в этом письме. Если бы я не ценил Вас, я бы не писал.

Э. Генри.

Борис сунул пачку бумаг в портфель и закурил. Сквозь клубы дыма сказал:

– Хочу от себя добавить несколько слов к прочитанному. Я – военный и коснусь военных вопросов. По данным нашей комиссии, Сталин истребил около половины общего числа командиров полков, почти всех командиров дивизий и корпусов и командующих войсками округов, членов Реввоенсоветов и начальников Политуправлений, три четверти политработников корпусов, дивизий и бригад, около трети комиссаров полков и подавляющее большинство профессуры и преподавательского состава академий.

Армия была обезглавлена, лишена руководящих кадров. К началу военных действий войска повели в бой неподготовленные люди – только 7% командиров имели высшее военное образование, а 40% не имели даже среднего. Однако воюют не машины, а люди. Ну, вот вы получили картину разгрома кадровой Красной Армии ещё до начала военных действий!

В Кремле засел снайпер и выбивал командный состав, целясь при этом в самых талантливых и преданных. Но и машины в современной войне тоже играют свою роль, и Сталин это учёл – он сделал всё, чтобы разоружить армию.

Производство стали резко упало, производительность военных заводов снизилась, на вооружение брались не лучшие, а худшие образцы: 76-мм пушка Ванникова была признана лучшей в мире, но в производство пустили не её; самого Ванникова репрессировали. Так было и с самолётами,

зенитной артиллерией, автоматическим стрелковым оружием и с другими видами вооружения.

Старые крепостные сооружения не подновлялись, новые не строились, а перед самой войной Сталин лично распорядился разоружить крепости. Он же виноват и в слишком близком от фронта расположении складов и баз. Обезглавленная армия была плохо вооружена. Но и это не всё. Глубоко ошибочной явилась военная доктрина: 1) расчёт на перенос военных действий на чужую территорию; 2) глубокая вера в немедленные коммунистические восстания в тылу врага и 3) ложная уверенность в малых потерях в живой силе и материальном снабжении. Таким образом, в итоге всего сказанного выше, наша обезглавленная и плохо вооружённая армия ещё и не имела реального плана ведения войны! Но и этого мало. Сталину со всех сторон сыпались предупреждения – от наших разведчиков, от друзей, от будущих союзников и даже от врагов: **ни в одной войне никогда страна, на которую готовилось нападение, не была так точно, настойчиво, подробно и многократно предупреждена** – это был бурный поток информации, он ломился в кремлевские ворота, но Сталин и Молотов избегали встреч, прятались, отказывались принимать данные, которые им совали в руки. Сталин не верил никому на свете, за исключением двух лиц – Гитлеру и Риббентропу. Отсюда результаты: неожиданного нападения не было, Сталин, можно сказать, на руках донёс немецкую армию до Волги, а спас Россию, СССР, Коммунистическую партию и мировое рабочее движение только и единственно советский народ, который **вопреки** бездарным и вероломным руководителям, рыча как зверь, вылез из берлоги и сломал хребет гитлеровской военной машине, положив на алтарь Родины около тридцати миллионов трупов. Со дня смерти Ленина в нашей стране не было ни партии, ни правительства – это были две ширмы для обмана мирового и советского общественного мнения, были только самодержавный психически неполноценный диктатор-палач и его клика. Поэтому, когда встанет вопрос о числе убитых Сталиным и сталинщиками советских людей, то нужно к другим миллионам прибавить и эти тридцать.

Сталин обошёлся нам дороже Гитлера и всех иностранных шпионов и диверсантов вместе взятых.

В 1936–1939 годах он загубил 600 тысяч коммунистов и около 16 миллионов беспартийных, а число жертв в более ранние годы пока вообще не поддаётся учёту: полагают, что

после провокационного «процесса Промпартии» было расстреляно около 100 тысяч старых специалистов, а во время антиленинской насильственной «коллективизации» погибло 5–6 миллионов человек от голода и репрессий. Мы уже слышали эти цифры, но они столь ужасны, что повторять их не лишне.

Поэтому бесспорно, что **Сталин – враг советского народа номер один!** Вот пока что всё, что я хотел сказать по поводу зачитанного документа.

Молча мы сидели, пили чай, курили. Говорить не хотелось – слишком подавляющими казались цифры и сознание, что мы все, весь наш народ, прошёл через подобное испытание.

– А у тебя что на сегодня, Стёпа? – наконец спросил я.

– У меня тоже самиздат: открытое письмо Сталину Федора Раскольникова. Оно было напечатано перед войной в Париже и теперь ходит по рукам в Москве. Это дополнит характеристику Сталина и его эпохи, но несколько с другой стороны. Все готовы слушать? Нет, спасибо, чай у меня есть, всё в порядке. Я начинаю.

Открытое письмо Ф.Ф.Раскольникова Сталину
(«Новая Россия» 5 октября 1939 года)

Я правду расскажу тебе такую,
что хуже всякой лжи.

Сталин, вы объявили меня «вне закона». Этим актом вы уравнили меня в правах – точнее, в бесправии, со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона.

Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом.

Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за решёткой, так же далёк от истинного социализма, как произвол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.

Вам не поможет, если награждённый орденом уважаемый революционер народоволец Н.А. Морозов подтвердит, что именно за такой «социализм» он провёл 20 лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.

Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра наподобие ленинского перехода к нэпу в 1921 году. Под напором советского народа вы «даровали» демократическую конституцию. Она была принята всей страной с неподдельным энтузиазмом.

Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.

Но в вашем понимании всякий политический маневр – синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.

Что вы сделали с конституцией, Сталин?

Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяин земли советской – не Верховный Совет, а вы.

Вы сделали всё, чтобы дискредитировать Советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того чтобы идти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который войдёт в историю нашей революции под именем «эпохи террора».

Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере подвержены удару бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели.

Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так и целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.

Вы начали с кровавой расправы над бывшими троцкистами, зиновьевцами и бухаринцами, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие в Гражданской войне и вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола.

Вы прикрываетесь лозунгами борьбы с «троцкистско-бухаринскими шпионами». Но власть в ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без вашего разрешения.

– Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии и дипломатии?

– Иосиф Сталин.

– Кто внедрил так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата?

– Иосиф Сталин.

Перечитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под ними красуется подпись: И. Сталин.

Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.

– Ищите и обряцете козлов отпущения, – шепчете вы своим приближённым и нагружаете пойманные, обречённые на заклатие жертвы своими собственными грехами.

Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам в лицо правду.

Волны самокритики «невзирая на лица» почтительно замирают у подножия вашего престола.

Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!

Но советский народ отлично знает, что за всё отвечаете вы – «кузнец всеобщего счастья».

С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинений знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, Максим Горький умер естественной смертью, и Троцкий не сбрасывал поезд под откос.

Зная, что всё это ложь, вы поощряете своих клеветников:

– Клеветайте, от клеветы всегда что-нибудь остаётся.

Как вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его «сговор» с Гитлером или Гессом.

Вы – повар, готовящий острые блюда; для нормального человеческого желудка они не съедобны.

Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии.

Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина.

Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.

А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко?

Вы арестовали их, Сталин.

Где старая гвардия? Её нет в живых.

Вы расстреляли её, Сталин. Вы растлили и загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мёртвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.

Вы уничтожили партию Ленина, а на её костях построили новую партию «Ленина-Сталина», которая служит удобным прикрытием вашего единодержавия. Вы создали её не на базе общей программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности вам. Знание программы новой партии объявлено обязательным для её членов, но зато обязательна личная любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением в любви Сталину.

Вы – ренегат, порвавший со своим вчерашним днём, предавший дело Ленина!

Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниёт в ваших казематах? Скольких из них вы расстреляли, Сталин?

С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные и нужные стране: они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.

Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот её мощи.

Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и Гражданских войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.

Вы истребили героев Гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали её непобедимой.

В момент величайшей опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.

Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров?

Вы арестовали их, Сталин.

Для успокоения взволнованных умов вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала ещё сильнее.

Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас ещё не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль.

Не доверяя красным командирам, вы вносите в армию двоевластие и разрушаете военную дисциплину.

Под нажимом советского народа вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев: Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем казнённые маршалы и генералы.

Пользуясь тем, что вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японской разведки с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной вами воде, в изобилии подбрасывают вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей.

В созданной вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества

Наркомвнудела, которому вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному документу» верят – или притворяются, что верят, – как неоспоримому доказательству.

Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, «внутренняя линия» РОВСа, в лице капитана Фосса, добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии от шофера М.И. Казакова до военного атташе полковника В.Т. Сухорукова.

Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом борьбы с «текучестью рабочей силы» вы отменили свободу труда, закатали советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров, директоров и рабочих как «скрытых, ещё не разоблачённых вредителей».

Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями» трудящихся заставляете их работать под бичами и скорпионами жёстких и антипролетарских декретов.

Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры.

Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тяготы напряжённого труда, недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что вы ведёте к социализму, но вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет жить легко и радостно.

Вы отняли даже эту надежду: вы объявили социализм построенным до конца.

И рабочие с недоумением, шёпотом спрашивают друг друга:

– Если это социализм, то за что боролись, товарищи?

Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили вы всю теорию марксизма-ленинизма, вы устали ваших безграмотных, доморощенных «теоретиков», за-

нявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме власть ГПУ.

Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозных земель» вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали всё, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.

Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, учёного, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовства запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за всё отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать своё личное мнение, не отмеченное казённым штампом.

Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливой однообразностью воспеваёт вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».

Бездарные графоманы славословят вас как полубога, «рождённого от луны и солнца», а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.

Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей.

Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова?

Вы арестовали их, Сталин!

Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг.

Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленно и безусловно уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 году в полученном мною списке обречённой огню запрещённой литературы я нашёл мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в

1917 году». Против фамилий многих авторов значилось «уничтожить все книги, брошюры и портреты».

Вы лишили советских учёных, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которой творческая работа исследователя становится невозможной.

Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать учёным в университетах, лабораториях и институтах.

Выдающихся русских учёных с мировым именем академиком Ипатьева и Чичибабина вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие учёные бегут из вашего рая, оставляя вам ваши благодеяния: квартиру, автомобиль и карточку на обеды в кремлёвской столовой.

Вы истребляете талантливых русских учёных.

Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин!

Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали и Мейерхольда, Сталин.

Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел.

Уничтожая везде и повсюду золотой фонд страны, её молодые кадры, вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.

В грозный час военной опасности, когда остриё фашизма направлено против Советского Союза, когда борьба за Данциг и война в Китае – лишь подготовка плацдарма для будущей интервенции против СССР, когда главный объект германо-японской агрессии – наша Родина, когда единственная возможность предотвращения войны – открытое вступление Союза Советов в международный блок демократических государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией, вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник между «осями».

Во всех расчётах вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к Родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть.

Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперёк дороги нашей страны.

«Отец народа», вы предали побеждённых испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение человеческих жизней не в ваших принципах. Горе побеждённым! Они вам больше не нужны.

Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может гостеприимно приютить многие тысячи эмигрантов.

Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с вами, не с вашим обречённым режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а вы разгромили её в три года. Мне было мучительно больно лишиться моей Родины.

Чем дальше, тем больше интересы вашей личной диктатуры вступают в непримиримый конфликт с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой вы измываетесь, как тиран, дорвавшийся до единоличной власти.

Ваша социальная база суживается с каждым днём.

В судорожных поисках опоры вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаёте одну за другой привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегии, но даже право на жизнь.

Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго.

Бесконечен список ваших преступлений! Бесконечен свиток ваших жертв! Нет возможности всё перечислить.

Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов.

Ф. Раскольников.
17 Августа 1939 г.

– Неплохое дополнение! – процедил сквозь зубы Борис. –
Давай свои комментарии, Степан!

Медведев отхлебнул чай и начал:

– Они будут коротки: истребление специалистов в промышленности, сельском хозяйстве и в других областях государственной и общественной деятельности при Сталине проходило планомерно и отнюдь не отставало от темпов истребления военных руководителей. Помните упомянутую в докладе Хрущёва на XX съезде резолюцию Кагановича? Истребляли нужных людей тысячами и миллионами, и экономика страны, естественно, должна была реагировать на это снижением темпов производства.

На войне Сталин защищал не Родину, а себя самого, при строительстве социализма и материальной базы коммунизма он укреплял, прежде всего, свою деспотию: тут интересы народа и врага народа сливались, и в меру сил последний старался, уничтожая кадры и разрушая экономику, не мешать народу делать своё дело, при условии сохранения личной диктатуры. Так была выстроена система экстенсивной экономики, а чтобы она не распалась, был придуман принцип высших интересов, при которых нужно было давать продукцию невзирая на потери, давать её во что бы то ни стало. Возникла экономическая система, противоречащая элементарным правилам экономики, – себестоимость продукции превышала продажную или объективную её стоимость, а разница покрывалась за счёт скрытых налогов на труд, то есть за счёт беспощадного ограбления населения. Изоляция от внешнего мира ограждала устойчивость этой нездоровой системы – она могла существовать только под стеклянным колпаком.

До войны у нас ничего не было, и строить на пустом месте можно было и при такой нерациональной системе: кое-как она выполняла свои функции и, разбазаривая половину национального дохода страны, на остальную половину сумела положить начало нашей индустриализации.

После войны положение круто изменилось к худшему: жизнь вынудила отказаться от полной самоизоляции, начался взрыв всемирной технической революции, Хрущёву пришлось снять стеклянный колпак, и вот тут-то и обнаружилась полнейшая несостоятельность сталинской экономики без экономического обоснования в виде прибыльности.

Первейший принцип, на котором зиждется хрущёвские наука, экономика и общественная жизнь, – это анти-НОТ, то

есть антинаучная организация труда. Анти-НОТ – это железный закон хрущёвщины. Наследник Сталина пытается, оставляя всю порочность сталинской системы, состряпать какую-то другую путём всяческих реформ, согласно басни Крылова «Квартет». Но от перемены мест слагаемых сумма остаётся той же, и мы подошли к рубежу, когда наше отставание с каждым годом станет всё очевиднее, всё беспспорнее.

Степан сделал паузу и стукнул ладонью о стол.

– Нужна коренная перестройка, точнее – ломка сталинской экономической системы. Для ломки нужен авторитетный, сильный и культурный руководитель. Типа царя Петра или Ленина. Такого человека у нас нет, а добровольно освободить тёпленькие насиженные места ни бюрократы, ни пьяницы и лодыри не захотят: перестройку встретят в штывки и сверху, и снизу, а ломать сопротивление у нас некому – рискнуть на безработицу, на роспуск нерентабельных колхозов и закрытие фабрик и прочие решительные меры у нас никто не возьмётся. Вывод: будут приняты паллиативные меры, на дыры здесь и там будут нашиваться заплатки до тех пор, пока сталинско-хрущёвский кафтан вдруг не лопнет по швам.

– И что же тогда будет? – спросили мы.

– Тогда народ или выдвинет нового Ленина и спасёт достижения революции, подведя под экономику здоровые основания в форме новой нэп, или наша экономика не вынесет давления мировой технической революции и половины национального дохода уже окажется недостаточно для поддержания равновесия, и страна начнёт хиреть так, как на наших глазах хиреют, скажем, буржуазная Англия или социалистическая Чехословакия: непомерно пышная и дорогая политическая надстройка слетит с жидкого основания. Она уже содрогается, и отсюда отчаянные и бесполезные броски Никиты в разные стороны, а убыстряющаяся гонка вооружений подталкивает этот процесс. Настанет мгновение, когда нужно будет решиться. Как это называется у Хемингуэя, Дима?

– Моментом истины!

– Правильно. Этот момент истины для нашей страны медленно, но неизбежно приближается. Вот всё, что я хотел сказать как экономист. Теперь твой черёд, Дима!

Снова разлили чай. Сидящие за столом задвигались, заговорили, наконец постукивание ложечек и чашек кончилось и Степан объявил:

– Всё! Начинай!

Я вынул свои бумаги.

– Товарищи, сейчас входит в моду тема разведывательной работы. От замалчивания мы переходим к восхвалению подвигов настоящих и главным образом выдуманых. Я хочу включиться в общее течение и заготовил интервью некоего журналиста со мной.

Все улыбнулись.

– Как?! Оригинально!

– Не очень! Это – вынужденный трюк: я не могу рассказать кому-нибудь оперативные дела, составляющие служебную тайну с тем, чтобы он сам затем отобрал бы то, что можно печатать без ущерба для нашей страны. Поэтому дело самого отбора и зашифровки материала я взял на себя и написал репортаж о встрече репортёра с бывшим разведчиком и в своих ответах дал довольно любопытную картину быта и работы советских разведчиков в предвоенное время.

Устраняя точные данные, цифры и имена, я обокрал самого себя, но что поделаешь – может, хоть в таком оскплённом виде мой материал увидит свет. Я хочу посоветоваться с дежурным офицером в приемной КГБ. Перспектива получения разрешения невелика – пять процентов против девяноста пяти, но попытаться стоит: опубликование репортажа мне мыслится как барабанная реклама моего имени перед выходом из печати африканского романа и последующих книг. Отсюда и хлесткий стиль изложения, и густая приправа полагающейся фразеологии – ведь иначе не напечатают! Если захочет редакция, можно разбавить водой мою крепкую спиртовую настойку так, чтобы получился более приличный напиток. Но для нас сегодня это не важно, я зачитаю текст, а потом дам к нему коротенький комментарий. В нём-то и зарыта собака. Слушайте!

Встречи с интересными людьми

«Огонь»

Дмитрия Александровича Быстролётова я нашел в рабочем кабинете одного из крупных московских научно-исследовательских институтов. Ученый сидел у стола перед двумя высокими стопками отпечатанных на машинке статей и рефератов, быстро читал русский перевод их заголовков и соответствующий иностранный текст на подклеенных фо-

тографиях, сверял, кое-что сокращал или дописывал. Одна стопка росла, другая уменьшалась. Потом ловкие девушки бесшумно уносили отредактированный материал и заменяли его другим. Высокий человек с белой профессорской бородкой работал как автомат, но горы папок перед ним оставались всё такими же.

Наконец он поднял голову:

– Я проверяю правильность чужих переводов, а где язык или тема незнакомы нашим переводчицам или слишком сложен смысл, я делаю перевод сам. Институт получает со всех стран мира около двух тысяч научных иностранных журналов по различным разделам нашей специальности.

– *А сколько же заглавий вы проверяете за год?*

– В институте несколько видов переработки материалов. Если считать все вместе, то около 50 000. Кроме того, сам размечаю почти 2000 научных статей в журналах десятков стран и консультирую переводчиков. Я здесь в роли живого справочника.

– *Сколько же языков вы знаете?*

– Довольно много, но интересующая нас научная литература печатается только на двадцати пяти языках. Ко мне на обработку или проверку поступают материалы на английском, немецком, голландском, фламандском, африкандерском, шведском, норвежском, датском, французском, итальянском, испанском, румынском, португальском, польском, чешском, словацком, болгарском, сербо-хорватском, греческом и турецком языках. Однако знания языков тут мало, и недостаточно освоить сложнейшую научную терминологию на этих языках: нужно быть специалистом дела настолько, чтобы понимать вопросы, обсуждающиеся в статье и при переводе правильно подобрать нужные слова и термины.

– *Да, вы действительно живой справочник! Как официально называется ваша должность?*

– Никак. Я занят литературной работой для себя и в институте никакой должности не занимаю: являюсь не каждый день, а только тогда, когда скапливаются материалы, подлежащие языковому редактированию.

– *Довольны ли вы своей работой, Дмитрий Александрович?*

Пожилой человек молчит. Улыбается. Его лицо молодеет.

– Доволен ли?.. Да я просто не мог бы жить без неё! И знаете почему? Когда глаза пробегают по заглавиям на раз-

ных языках, то в голове параллельно двигается волшебная лента воспоминаний! Ведь во всех этих странах я когда-то бывал...

Он делает паузу.

– И пережил там много такого, чего забыть нельзя.

Я поспешно вынул перо и блокнот. Обрадованно подхватил:

– *Разумеется! Редакции известно, что вы полтора десятка лет работали за границей в нашей советской разведке. Поэтому-то я и направлен к вам для записи беседы. Скажите, пожалуйста, что вы могли бы рассказать нашим читателям? Например, как становятся разведчиком, как живут в зарубежном подполье. Ну, и, конечно, хотелось бы выслушать несколько примеров вашей собственной работы.*

Дмитрий Александрович задумывается.

– Меня о вашем приходе предупредили. Все согласовано. Но я могу говорить лишь при одном непременном условии. Немецкие и итальянские фашисты в ходе последней войны уничтожены. Но империализм как международная система жив, и его выкорыши опять ведут против нашей Родины ожесточённую тайную и явную борьбу. Поэтому в своем рассказе я должен соблюдать осторожность – расскажу о существовании нескольких операций, но не называя ни имен, ни дат. Так будет спокойнее. И лучше для вас: вы представляете отнюдь не научно-исторический журнал и правдивый показ быта для ваших читателей интересней точного перечисления сухих фактов. Я буду говорить о советских людях, преданных Партии и Родине, всегда готовых жертвовать собой в борьбе, где не просят и не дают пощады.

– *Хорошо. Мне это понятно. Для начала расскажите, пожалуйста, как вы стали разведчиком?*

– Все получилось закономерно. Я окончил гимназию на юге, при белых. Чтобы не служить в деникинской армии, вместе с революционно настроенными матросами бежал в Турцию. В Константинополе окончил колледж для европейцев-христиан и был направлен для обучения в Чехословакию. В Праге получил диплом доктора права, а позднее, уже под чужой фамилией, стал доктором медицины одного из старейших университетов Европы. В Берлине и Париже обучался в Академии художеств и брал уроки у художников-графиков. Несколько лет работал в наших полпредствах и торгпредствах, где мне и предложили помочь в трудном и славном деле подпольной борьбы с врагами Родины.

Это случилось в середине двадцатых годов. Точнее, в апреле 1925 года в Москве состоялся I съезд пролетарского студенчества. Полпредство командировало меня в качестве представителя зарубежного студенчества, и вот таким «иностранцем» я явился в Москву.

В Праге меня предупредили, что в Москве со мной будет говорить очень важное лицо. И действительно, меня отвели в бывший долгоруковский особняк, где в маленькой комнате на диване лежал одетым усталый сонный мужчина средних лет, а рядом на стуле, задом наперед, положив руки на спинку, сидел и курил мужчина помоложе, брюнет, раскосый. Был еще один стул, и мне предложили сесть. Я не знал, кто эти люди и что они от меня хотят, но чувствовал, что это большие начальники и что от разговора зависит моя будущая судьба. Потом мне сказали, что лежал Артур Христианович Артузов, а сидел Миша Горб, тогдашние руководители нашей разведки. Мне шел двадцать пятый год, я был недурен собой и одет в мой лучший костюмчик, что особенно бросалось в глаза на фоне толстовок и тапочек московских студентов. На лице Горба отразилось явное недоброжелательство, он взглянул на меня и стал угрюмо смотреть в угол. Артузов, напротив, с видимым интересом принялся рассматривать меня и мой костюм, не скрывая доброжелательную улыбку.

– Ну, давайте знакомиться. Рассказывайте все о себе. Не тяните, но и не комкайте. Я хочу знать, из какой среды вы вышли.

Я рассказал все честно и прямо о своем происхождении, о похождениях в эмиграции. Горб нахмурился и окончательно помрачнел. Артузов же хохотал при рассказе о комичных эпизодах моей прожитой жизни. Рассказ о себе я закончил так: «Я бежал не из страха перед фронтом, а из-за чувства, что воевать у белых мне не за что. Но я не трус, не пацифист, не вегетарианец!»

Выслушав, Артузов обратился к Горбу:

– Ладно, ладно, Миша, все проверим, все в наших руках. Но товарища мы к делу пристроим. Испытаем в работе, а там будет видно. – Горб молчал. – Где, по-вашему, вы могли бы работать у нас?

– Я не знаю... – начал я, но, видя, что робость не производит хорошего впечатления, добавил, выпятив грудь: – Там, где опаснее.

Артузов открыл глаза и, не шевелясь, стал рассматривать меня с головы до ног. Горб тоже уставился одним глазом. Переглянулись. Посмотрели опять.

– На переднем крае нападения! Рискованнее всех труд вербовщика: сказал не то, повернулся не так – и за все немедленная расплата! Собачья жизнь, знаете ли, – вечером не знаешь, долежишь ли до утра, утром не ведаешь, дотянешь ли до своей постели.

Я ответил:

– Это мне подходит!

– Подойдет, решил Артузов.

Горб кивнул:

– Да, у него есть то, чего, например, полностью лишен я, личное обаяние.

– Проверим в деле, подучим и пустим по верхам, понимаешь, Миша, по верхам. – Артур Христианович поднял руку и пошевелил в воздухе пальцами. Потом повернулся ко мне и закончил: – Вот посмотрим, чего вы стоите!

И посмотрели: через несколько лет за выполнение задания большого оперативного значения и проявленную исключительную настойчивость я получил почётное боевое оружие с надписью: «За бесстрашие и беспощадность».

– *Спасибо. Все записано. И все-таки, Дмитрий Александрович, как же советский человек делается разведчиком? Что для этого нужно?*

Пожилой человек с профессорской бородкой ответил не сразу.

– Я начну с второстепенного и закончу главным, основным. Чтобы быть хорошим разведчиком, надо много знать, то есть каждодневно упорно работать над собой в той области, которая в разведке стала вашей специальностью. Изучить несколько языков. Вербовщик должен быть не только умнее и хитрее вербуемого, он обязан еще и видеть дальше, понимать общее положение яснее и глубже. Словом, быть культурным и очень современным порождением того самого буржуазного мира, для разрушения которого он работает. Это первое и самое маленькое. Теперь второе, потруднее: разведчик должен быть актером, но не таким, как в наших лучших театрах, а в тысячу раз более совершенным, более знающим тип человека, каким он хочет представиться своим зрителям.

В театре зритель видит артиста на сцене издалека и только час-другой, и может даже заметить неловко наклеенные

усы или несколько съехавший набор парик. Если актер не в духе или нездоров, он проведет свою роль на этот раз хуже, чем вчера и завтра, и все. Но вербовщик идет к цели по лезвию отточенного ножа, он постоянно живет среди своих зрителей, таких чутких и внимательных, как контрразведчики и полиция. За любой промах можно расплатиться жизнью, потому что первые подозрения вызывают именно мелочи, позднее подозрения влекут за собой проверку и слежку, а уж если дело дошло до этого, то вербовщик погиб. Я захватил с собой три фотографии, и если хотите, напечатайте их вместе с текстом беседы – пусть читатели посмотрят и убедятся в тщательности подделки.

Разведчик должен искренне верить в то, что говорит, иначе обязательно сфальшивит. Должен сначала вжиться в роль, потом полностью перевоплотиться. Поясню примером. Однажды мне разрешили приехать после трех лет зарубежного подполья на одну недельку отдыха к матери. А она возьми и скажи, что день сегодня выдался невероятно жаркий. Я тогда долго выдавал себя за бразильца и поэтому немедленно вспыхнул: «Невероятно жаркий?! Эх, мама! Ты поживи у меня на родине, в Бразилии, – тогда узнаешь, что такое жара!» Увидел испуганные глаза старушки и спохватился.

А в Англии однажды девушка небрежно сказала, что ночью слышала мое бормотание во сне. Я вспомнил купринского капитана Рыбникова и заставил товарищей прослушать мой бред после того, как надышусь наркотозного эфира. Надышался и сдал экзамен: заговорил по-английски!

Но чего стоила эта безжалостная ломка самого себя? Месяцы мучительного принуждения думать на чужом языке! А смена «масок»: ведь у вербовщика их много и часто он их меняет по несколько раз в день... И вот теперь главное, самое основное, та трудность, с которой не сталкиваются разведчики буржуазных стран: когда американец работает во Франции или француз в Америке, то каждый остается самим собой как человеческая личность – обе страны буржуазные, во внутренней ломке нет необходимости. И самое трудное у них отпадает. А советский разведчик должен изменить в себе все – привычки, вкусы, образ мыслей, выкорчевать все, все, кроме одного – преданности Партии и Родине! Он постоянно один среди врагов, и эти два слова – Партия и Родина – остаются для него единственным звеном, на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с про-

шлым и будущим. Психологически это тяжело и трудно, это не спокойное актерское раздвоение, а мучительная добровольная отдача себя на поругание, всего, кроме горящего в груди жаркого огня любви, верности и преданности. Нужно очень любить Родину и быть беспредельно преданным Партии, чтобы не особачиться от такой жизни! Сложную разведывательную технику можно освоить и можно привыкнуть к постоянной опасности, но сжиться с насилием над собой невозможно. Только во внутреннем горении спасение и залог успеха и окончательной победы советского разведчика над его противником. Только огонь преданности и любви сжигает все соблазны, страх и усталость! Да я вам сейчас зачитаю слова авторитета, которому в данном случае вы обязаны верить:

«Советский разведчик представляет собой чистейший и самый совершенный образчик особой человеческой природы. В этом, мне думается, заключается самая важная отличительная черта советского разведчика, гораздо более важная, чем его профессиональные качества и практика разведывательного искусства. Можно сказать, что он является своего рода конечным и высшим продуктом советской системы, воплощением советского образа мыслей».

– *Великолепно! Кому принадлежат эти вдохновенные слова?* – воскликнул я.

– Человеку, по-звериному ненавидевшему коммунизм, советскую власть и нашу страну. Шефу американской разведки – миллионеру Аллену Даллесу.

– *Все записано!* – сказал я. – *Продолжайте!*

– За внутренней подготовительной перестройкой следует внешняя. Она физически опаснее, но психологически легче. Я расскажу несколько эпизодов, в которых мне пришлось выступать в роли наглого гангстера из Сингапура и японского шпиона, веселого добряка, венгерского графа и надменного психопата, английского лорда. Для каждой роли, прежде всего, нужен паспорт. Все бумаги графа мне купили, и единственное, что от меня потребовалось, это внимательно проштудировать книг пятьдесят по истории, литературе и искусству Венгрии, сфотографироваться на венгерских курортах и тщательно изучить внешние приметы местного быта, а также понаблюдать за характерными особенностями поведения местных аристократов на скачках, в театрах и в церкви.

Во время очень торжественной религиозной процессии я неожиданно шагнул из толпы с таким идиотским видом религиозного фанатика, что кардинал обратил на меня внимание, улыбнулся и сделал жест благословения. Товарищ эту сценку удачно заснял. А кардинал числился по бумагам моим родным дядей, и с тех пор я эту фотографию всегда возил в чемодане, когда шел на операцию по графскому паспорту.

Английский паспорт выдал мне сам министр иностранных дел сэра Джон Саймон: он видел меня раз и мельком, но этого было достаточно, чтобы такой многоопытный старик, как сэра Джон, безошибочно признал во мне человека своего круга: именно таким образом разведчик как бы сдает экзамен на зрелость.

Да что там сэра Джон! Я сдал поистине невероятный экзамен! Только послушайте: в середине тридцатых годов в Берлине гитлеровцы напали на мой след. Подчиненные мне товарищи были из осторожности убраны за границу, а я отправился на обед к супруге высокопоставленного чиновника, с которым был связан (его тогда в городе не было). Зная, что на обед настойчиво напросился штурмбанфюрер гестапо, я шел, думая, что, вероятно, иду на последний званый обед в жизни. За столом гитлеровец говорит: «Граф, нам известно, что в окружении хозяина этого дома работает чей-то разведчик! – я замер: конец!! – Поэтому обращаюсь с просьбой – помогите найти и уничтожить его!»

Черт побери, в Берлине три с половиной миллиона жителей, и, чтобы найти меня, наши враги обратились за помощью ко мне! Жизнь иногда бывает красочнее дешевых романов!

– Потрясающе! И чем же дело кончилось?

– Изо всех сил стараясь держаться спокойнее, я обещал обдумать дело и на следующий день сообщить любопытные подробности, встал и тут же по телефону заказал на следующий день к обеду отдельный столик в лучшем ресторане Берлина. А рано утром, с первым самолетом, улетел в Париж.

А вот о покупке паспорта для роли убийцы из Сингапура стоит рассказать поподробнее – это фильмовой сюжет!

Перед войной в Европе существовал порт на правах вольного города, в котором консульский корпус играл роль дипломатического корпуса и во главе его стоял дуайен. Им в это время был величественный джентльмен, во внешности

которого осанка и каждая мелочь – от монокля в глазу до белых гетр на туфлях – подчеркивала принадлежность к неприступному и строгому миру безупречного консерватизма. К нему меня направили потому, что нашей разведке стало известно, что его превосходительство генеральный консул Греции – жулик и крупный агент международной банды торговцев наркотиками и что он связан с женеvским комитетом по борьбе с торговлей наркотиками при Лиге Наций, ибо добрая половина членов комитета принадлежала к этой же банде. Звали этого грека Генри Габерт, он – еврей из Одессы, и пугаться его величественного вида не нужно.

Габерт занимал большой барский особняк в старом саду. Ливрейный лакей почтительно впустил меня в дом, доложил и раздвинул дверь. В углу обширного кабинета за огромным деловым столом сидел мужчина, как будто бы сошедший с карикатур Кукрыниксов. Он величественно кивнул мне и принялся что-то писать. Я сел на кончик стула. Дуайен заговорил по-английски:

– Что угодно?

– Ваше превосходительство, – тоже по-английски начал я, – окажите помощь соотечественнику: у меня украли портфель, а в нем – паспорт.

– Ваше имя?

Я назвал международное имя без национальности – скажем, Александр Галлас.

– Гм... Где родились?

Я назвал город в той стране, где сгорела мэрия со всем архивом. Дуайен нахмурился. Я вынул пузатый конверт с долларами.

– Для бедных этого прекрасного города, ваше превосходительство!

Но дуайен брезгливо покосился на деньги и недовольно буркнул:

– Я не занимаюсь благотворительностью, это не мое дело. Кто-нибудь знает вас в нашем ближайшем посольстве? Нет? В каком-нибудь другом нашем посольстве? Тоже нет? Я так и думал! Слушайте, молодой человек, все это мне не нравится. Езжайте, куда хотите, и хлопочите о паспорте в другом месте. Прощайте!

Не поднимаясь, он небрежно кивнул головой, взял со стола какую-то бумагу и стал читать ее.

«Неужели сорвалось? Надо рискнуть! – подумал я. – Ну, вперед!» Я вдруг шумно отодвинул письменный прибор, по-

ложил на стол локти и нагло уставился на оторопевшего джентльмена. Захрипел грубым басом на лучшем американском блатном жаргоне:

– Я еду из Сингапура в Женеву, понятно, а?

Дуайен изменился в лице, минуту молчал, обдумывая перемену ситуации. Наконец ответил:

– Из Сингапура в Женеву короче ехать через Геную!

Я вынул американскую сигарету и чиркнул маленькой восковой спичкой с зеленой головкой прямо по бумаге, которую только что читал его превосходительство. Закурил и процедил с угла кривого рта:

– Тоже мне сообразили! Короче, но опасней для меня и для вас, консул.

Дуайен побледнел. Пугливо оглянулся на дверь и прошептал:

– В Сингапуре недавно случилась заваруха...

Я едва не прыснул от смеха – словечко заваруха никак не подходило к моноклю! А о «заварухе» тогда писали все газеты: днем в центре города выстрелом в затылок был убит английский полковник, начальник сингапурской полиции. Убийца скрылся, а позднее выяснилось, что он – американец, торговец опиумом и японский шпион и что полковник напал на след его преступлений.

– Вы знаете, кто стрелял в офицера?

– Об чем вопрос!

– Кто же?

– Я!!

На лбу его превосходительства выступил пот. Монокль выпал. Дрожащей рукой дуайен вынул платок и стал вытирать лицо.

– Чего темнить мозги? – зарычал я. – Таких разговоров я не люблю, понятно? Мне надо липу, и притом враз: ночью выезжаю в Женеву, а там загребу от **наших** липу на бетон, поняли? Вашу вшивенькую кончаю, а с той сматываюсь в Париж и Нью-Йорк. Да вы не дрейфьте, консул, ей и житухито будет не больше как двое суток! Здесь сквозану по-чистому, а из Женевы дам телеграмму для вашего успокоения!

Дуайен, закусив губу, вздохнул и принялся заполнять паспортную книжечку.

– Давайте и короля! – потребовал я, получив в руки новенький паспорт. – И штоб с ленточкой, по всей форме!

На столе генерального консула стояла красивая рамочка с фотографией короля Греции, увитая национальной лен-

той. «Короля я положу в чемодан на самый верх для таможенников, пусть прочувствуют, гады!» Дуайен с ненавистью посмотрел на меня и покорно подал портрет в рамочке.

Я вынул из пиджачного кармана пистолет, положил его на стол перед консулом, рамку с ленточкой бережно спрятал в карман пиджака, пистолет сунул в задний карман брюк, пояснив: «Ну, теперь король в кармашке, а бухало на теплом месте. Пора обрываться!»

Хотел для полноты картины еще и плюнуть на ковер, но воздержался: можно переборщить, за этот плевок меня в Москве не похвалят.

Дуайен вышел из-за стола, чтобы проводить к дверям кабинета.

– Позвольте поблагодарить ваше превосходительство за великодушную помощь бедному соотечественнику! – почтительно пропел я самым нежнейшим и культурным голоском. – Наша страна может гордиться такими представителями!

Дуайен качнулся, как от удара.

– Что? Ах да... Да... Да, сэр! – он пришел в себя, овладел ситуацией, игриво взял меня за талию. – Я польщен вашим приходом, сэр! Надеюсь, вы не забудете мой дом, если опять будете у нас, сэр!

До двери остался один шаг. Слуга ждал с той стороны, и дверь начала уже приоткрываться. Вдруг дуайен повернулся и полоснул меня в упор вопросом на чистейшем русском языке:

– Вы из Москвы?! – он впился мне в глаза.

– А? – не сумел удержаться я от неожиданности.

Но реакция у разведчика быстрее, чем у летчика. Нечаянно уронив звук «а», я тут же придумал дальнейшую фразу, начинающуюся с английского слова ай (то есть я):

– Я не понимаю по-польски! Что вы изволили сказать, ваше превосходительство?

Дуайен прижал пальцы к вискам.

– Простите, простите... Это от переутомления... Прощайте, сэр!

Так вылощенный гангстер помог прочно укрепиться на европейской почве сингапурскому элегантному убийце и японскому шпиону. Я съездил в Женеву и оттуда дал дуайену телеграмму, а потом с этим паспортом жил немало лет, удачно провел несколько операций, – роль японского шпиона себя вполне оправдала.

– Дмитрий Александрович, вот вы сейчас сказали: «Прочно укрепился на европейской почве». А разве паспорт это не все?

– Нет, он обеспечивает юридическую сторону вопроса, и потому открывает возможности для следующего этапа – «запуска корней в местную почву» – легализации.

Обеспечить законную видимость существования богачам довольно просто – нужно только знать, где находится материальная база, то есть земли венгерского графа и английского лорда, а затем оттуда наладить регулярный перевод им денег по вполне законным каналам, и все принимает довольно естественный вид: граф мог ухаживать за женщинами, лорд – лечиться столько времени, сколько было нужно для работы. Конечно, при тщательной проверке выяснилась бы искусственность такого основания, но вербовщик – не резидент и не работник обслуживающего аппарата: тем нужно действительно солидное обоснование их постоянного пребывания на одном месте, в кругу одних и тех же знакомых и «друзей», а вербовщик – как птица: прилетел, клюнул и снова улетел. Если удалось сорвать плод – хорошо, если нет – удрал навсегда, если поймали – погиб, уж такая это специальность.

Вербовщик слишком часто и много рискует, и при провале вербовки его не спасет самая солидная маскировка.

– Дмитрий Александрович, вы хотите сказать, что постоянного места жительства у вербовщика нет, и он переезжает из страны в страну.

– Постоянное место жительства имеется, но оно расположено в той стране, против которой разведчик никогда не работает, имеет надежное прикрытие и может спокойно объяснить полиции причины своего местонахождения здесь и дать исчерпывающие данные о своем материальном обеспечении. Вот, к примеру, как была подведена база для существования голландского бизнесмена.

В солидной буржуазной берлинской газете я дал объявление, что иностранец, желающий основать торговую фирму, ищет технических специалистов из любой отрасли легкой промышленности. Откликнувшихся наша агентура проверила. «Директором» был назначен некий Борух-Давидович, и вместе с ним я поехал в Амстердам для организации фирмы по оптовой торговле текстильным сырьем (шерстяным тряпьем). Большую помощь мне оказал содержатель одной из «работниц» соседнего с моей квартирой борделя

банкир и делец Исроель Поллак. Он дал мне рекомендации в Амстердамский банк и торговую палату: я стал членом последней, внося залог в триста гульденов, и открыл торговую контору. С помощью амстердамских евреев Борух-Давидович вошел в их религиозную общину и наладил деловые связи.

Фирма начала скупать высококачественное шерстяное тряпье, которого в Бельгии, Англии, Голландии, Дании и Скандинавии нашлось немало. Шерстяное тряпье доставлялось в Лодзь и там после щедрого добавления хлопчатой бумаги превращалось в «шерстяную» ткань. Тем временем великолепный бельгийский рисовальщик товарищ Ган ван Лоой, работавший в Англии у очень солидных текстильных фирм, заранее и потихоньку сообщал нам рисунки и расцветки тканей, которые будут самыми модными в следующем сезоне. Лодзинская подделка на глаз была неотличима от английского оригинала, не хватало только английской марки, поэтому наша фирма везла свое барахло в Англию, и там гладильная машина автоматически ставила по темной кромке белый или желтый штамп: «Сделано в Англии». Теперь невозможно было отличить ценный товар от дряни, качество проверялось временем: оригинал носился годами, а подделка едва дотягивала сезон. Свою продукцию фирма сплавляла в Африку и в Южную Америку.

Доходы фирмы ГАДА резко пошли вверх. Вскоре в Амстердам пожаловал Сеня Бернштейн с братьями, потом прикатил Изя Рабинович с сестрами, откуда-то вынырнули и приبلудились толстая тетя Рива и безрукий дедушка Эфраим – все сытно кормились около фирмы, все меня бессовестно обсчитывали и только удивлялись, откуда Бог послал им такого доверчивого дурака, – а я радовался, потому что фирма была настоящей и давала достаточно денег для оправдания жизни и оперативных поездок. Словом, текстильные гангстеры из Лодзи устойчиво поставили меня на ноги. Устроившись, я смог приступить к своим опасным делам.

– Ну и прекрасно! – воскликнул я и открыл новую страницу блокнота. – Слушаю!

Ученый погладил белую бородку. Улыбнулся и начал говорить

– В тридцатых годах, в период явного нарастания признаков приближения войны, из одного нашего крупного полпредства в Европе сбежал сотрудник, занимавший руководящую должность и поэтому много знавший. Переметнув-

шись на другую сторону классовой баррикады, он неплохо обеспечил себя тем, что прихватил значительную сумму денег, но нужно было ещё обеспечить политическое доверие новых хозяев. И перебежчик выдал все известные ему наши государственные секреты и кое-что рассказал о них в немедленно изданной книге. Между прочим, упомянул о крупном промахе наших полпредовских работников.

Однажды в это полпредство явился небольшого роста человек с красненьким носиком. В руках он держал большой и, видимо, тяжёлый жёлтый портфель. Незнакомец заговорил по-французски:

– Я хотел бы видеть военного атташе или секретаря!

К нему вышел ответственный товарищ.

– В этом портфеле все коды и шифры Италии. У вас, конечно, имеются копии шифрованных телеграмм местного итальянского посольства. Возьмите портфель и проверьте подлинность моего товара. Когда убедитесь – выплатите стоимость – 200 000 французских франков. При очередной перемене кодов и шифров вы получите их снова и заплатите ту же сумму. Вы обеспечены на многие годы!

Фашистская Италия уже раздувала пламя войны, её дипломатическая переписка в мировом масштабе представляла для нас значительный интерес, и поэтому незнакомец явился просто подарком судьбы. Однако ответственный товарищ проверил шифровальные книги, сфотографировал их и вернул незнакомцу с криком:

– Это фальшивка и провокация! Убирайтесь вон или я вызову полицию!

Незнакомец понял маневр, пришёл в ярость, но сдержал себя, сказав:

– Вы не представители великой державы, а жалкие мошенники! И удалился.

Ответственного товарища очень похвалило непосредственное начальство: он сэкономил для страны большие деньги. О последующих же годах никто не подумал, и промах остался никому не известным.

Теперь перебежчик предал его огласке. Книжку прочли в Москве. Я срочно был вызвали из глубокого подполья. Благополучно добрался через полдесяток границ. Мне подали книгу, открытую на нужной странице. На полях карандашом было помечено: «Возобновить».

Я пожал плечами:

– Дураки, конечно, но при чём здесь я?

– А прочли слово «возобновить» на полях?
– Прочёл.
– Писал Сталин. Это приказ. Сегодня ночью уезжайте обратно за рубеж, найдите этого человека и возобновите получение от него всех материалов!

Я раскрыл рот:

– Да где ж его найти?
– Ваше дело.
– Да ведь о нём только и известно, что маленький с носиком. На земном шаре таких миллионы!

– Возможно.

– Как же его искать?

– Если бы мы это знали, то обошлись бы без вас. Приказ понятен? Выполняйте! Денег получите без ограничения, время на операцию даётся с жёстким ограничением. Идите!

Так я снова очутился на берегу В Женевского озера. Сел на скамейку и принялся не спеша кормить лебедей.

На земном шаре два с половиной миллиарда человек. Среди них мой Носик. Как же его найти? С чего начать?

Среди моих подчинённых была молодая пара – Пепик и Эрика, смелые и исполнительные люди, оба хорошие фотографы. Я послал их дежурить около итальянских посольств в качестве уличных фотографов с заданием заснять всех чиновников небольшого роста. Начать с больших столиц и постепенно перейти к маленьким. Поимённые списки чиновников у меня уже были. Но, кормя лебедей, я думал, что Носик вообще не может быть чиновником и связан не с маленьким городом. Он – не изменник, а передатчик изменника и работает в большой столице.

Через неделю лебеди уже узнавали меня и мчались со всех сторон, едва я усаживался на скамье. А я думал дальше. Нет, риск такого предательства слишком велик... Чиновник посольства, имеющий доступ к шифрам, у всех на виду... Передатчик будет замечен... Предателем может быть только работник шифровального отдела итальянского Министерства иностранных дел. Через неделю я уточнил: «Или член правительства!»

Я съездил в Рим, в раздумье походил около прекрасных старинных дворцов. Где-то в них сидит предатель, но мне его не найти... надо искать с другого конца – с передатчика.

К тому времени пришли материалы от фотографов – ничего подходящего, и письмо из Москвы – дополнительно сообщалось, что ответственный товарищ запомнил две до-

полнительных приметы: 1) Носик держался развязно и не выглядел вышколенным дипломатом, и 2) на его лице обращал на себя внимание золотистый загар, и красноватый цвет носа объяснялся, вероятно, не пристрастием к вину или болезнью, а солнечным ожогом.

В этот день лебеди получили тройную порцию. Во-первых, манеры Носика подтверждали мою догадку – он не предатель своей родины, а только агент предателя, а золотистый загар... Я думал неделю и вдруг ударил себя по лбу – это горный загар, Носик или швейцарец, или живёт здесь! Но где же именно? Где в крохотной Швейцарии может болтаться агент предателя, имеющий дело с разведками и идущий на смертельный риск? Только в Женеве! В городе, где вокруг Лиги Наций кишат агенты трёх десятков разведок, зная свою безнаказанность, потому что никто из них местными швейцарскими делами не интересуется. Носик живёт в Женеве! Он бродит по улицам рядом со мной!!

Лебеди опять в этот счастливый день получили немало, а я вызвал сюда Гана ван Лоя, моего чудесного антверпенского рисовальщика.

Женева – скучный, чопорный кальвинистский город, и все весёлые иностранцы, особенно сомнительного поведения, непременно бывают в двух местах – в дорогом «Интернациональном баре» и в более дешёвой пивной «Брассери Универселль». Стены обоих заведений покрыты портретами именитых посетителей с их собственноручными автографами. Среди портретов немало фотографий, но попадаются и бойко рисованные заезжими художниками. Сказано-сделано. Я засадил Гана в «Брассери», а сам уселся с карандашом и бумагой в «Баре». И оба мы в один день поймали Носика!

– *Здорово!* – сказал я. – *Ну, и что было дальше?*

– Дальше предстояло идти на риск. Признаться, что я – советский агент, казалось нецелесообразным, потому что оскорблённый Носик, вероятно, нам не доверял и нас ненавидел больше, чем кого бы то ни было. И я решил – выдам ка себя за японского шпиона, и пусть поможет мне сам великий Будда!

Бармен Эмиль, агент всех разведок мира, подал нам виски с содой, когда я уверенно опустился в кресло рядом с Носиком. Людей было мало, Эмиль отвлёкся болтовней с красивой американкой.

– А ведь мы знакомы! – нагло начал я, раскрывая золотой портсигар.

– Что-то не помню! – удивился Носик, но сигарету взял. – Кто же нас познакомил?

– Не кто, а что, синьор, – ответил я. Сделал внушительную паузу и прошептал Носику в загорелое ухо: – Итальянские шифры!

Он вздрогнул, но сразу овладел собой:

– Эмиль, плачу за обоих! Выйдем, мсье.

На улице очень крепко сжал мне локоть:

– Ну?!

– Локоть здесь не при чём, а стреляю я отлично, – ответил со смехом я. – Будем друзьями! Японцы не могут сами вести свои дела из-за разреза глаз и цвета кожи, но они молчаливы как могила и хорошо платят. Я знаю, что у вас бывает товар, а у меня всегда деньги. Повторяю – давайте будем друзьями!

– Носик, конечно, спросил, откуда вы узнали, что он торгует шифрами?

– Не будьте наивным. Таких вопросов разведчики не задают и на них не отвечают. Мы стали сотрудничать, и в ходе дела постепенно выяснилось следующее: торговлю шифрами Италии на широкую ногу поставил граф Чано, министр иностранных дел, женатый на Эдде Муссолини. После опубликования книги нашего перебежчика, Чано организовал провокацию с исчезновением шифровальных книг в берлинском итальянском посольстве, нагрянул туда с ревизией и обвинил невинного человека в измене. Невинный был уничтожен, а Чано прослыл неукротимым борцом за родину. Кстати, этим защитным маневром он подтвердил информацию о своей роли в этом деле, по крохам собранную моей неутомимой молодой парой.

Носик оказался отставным офицером швейцарской армии, итальянцем по национальности, с большими связями в Риме и в Ватикане: его дядя был кардиналом. Работать с Носиком было не скучно. Получив пачку денег, он прежде всего их нюхал и спрашивал:

– Настоящие?

– Конечно, – возмутился я.

– Ну и дураки же ваши японцы! Напишите им, чтобы они поскорее начали сами печатать доллары, с их тонкой техникой это получится великолепно! Платите мне не 200 000 настоящих франков, а 1 000 000 фальшивых долларов – и мы квиты!

Но плохо было то, что этот жулик шёл на риск по мелочам. Однажды в Довере, в Англии, мы высадились с парохода и шли в группе пассажиров первого класса – их там пропускают без задержки. Был туманный вечер, кругом стояли бобби с собаками и фонарями на груди. Вдруг из штанины Носика покатилося что-то белое. Я замер. Бобби скромно потупили глаза, леди и джентльмены тоже. Носик спокойно нагнулся и сунул белый моток себе в носок: «Брюссельские кружева! – потом пояснил он мне. – Везу для приработка!» Я едва не побил его... А потом он чуть не застрелил меня, я спасся случайно, ведь это был не государственный работник и патриот, а жулик-одиночка, и злоба в нём взяла верх над расчётом. Он продал новые шифры сначала японцам в Токио, а потом мне в Берлине. По списку купивших государств установил, что я – советский разведчик. Побелел от злобы: выходило, что мы удачно перехитрили его во второй раз! Начал убеждать немедленно поехать к нему в Швейцарию, где завтра утром он может познакомить меня с графом Чано и Эддой. Я согласился. Вечером мы сели в его мощную машину и понеслись на юг.

Шёл проливной дождь. Сквозь полосы воды мы неслись как вихрь, обгоняя попутные поезда. Оба молчали. На расвете прибыли в Цюрих. Остановились перед большим тёмным особняком на горе Дольдер. Носик отпер ворота. Входную дверь. Зажёг свет. Роскошный вестибюль был пуст, на статуях и картинах лежал слой пыли, мебель была в чехлах. Я сразу почуял ловушку. Носик начал раздеваться. Я стал перед зеркалом так, чтобы следить за каждым его движением – он старался зайти мне за спину. Пистолет я держал в кармане, и пуля была в стволе. Я увидел, как с перекошенным от злобы лицом он стал вынимать пистолет из кобуры под мышкой. Решающий первый момент был у меня, но стрелять не пришлось: на улице коротко и сильно рявкнул автомобильный гудок – город просыпался, начиналось движение. От неожиданности Носик вздрогнул и выдернул руку.

– Дурак, – сказал я. – Это мои товарищи подъехали и дали мне сигнал: если через десять минут я не выйду, то они ворвутся сюда и без лишнего шума сделают из вас отбивную котлету. Мы сильнее. Поняли? Повторяю: не валяйте дурака! А ещё разведчик, ха-ха! Целую ночь вы ни разу не обернулись и не заметили, что за нами от самого Берлина мчалась вторая машина!

Носик занял насчёт денег, я обещал добавку и счастливо выбрался из особняка. Заметил номер и улицу, и особ-

няк явился исходной точкой для выяснения личности Носика и его связей. Так Носик из раздражения допустил ошибку и поймал самого себя ловушку для меня. Это бывает!

– А дальше?

– Слушайте. Вербовщик ведет сразу несколько дел, он рискует не только собой, но и теми, кто уже начал для нас работать. Начальником нашей вербовочной бригады был генерал-майор, человек богатырского роста и сложения, очень образованный, по национальности венгр. Это был революционер-интернационалист, друг скончавшегося недавно венгерского министра государственной безопасности Ференца Мюнниха. Мы звали его Тэдом.

Когда получение материалов от завербованного налаживалось, наша вербовочная бригада передавала нового агента другой бригаде, эксплуатационной. В те годы около богатых американских туристов в Италии и Франции постоянно терся юркий итальянский еврей по кличке Винчи, торговец фальшивыми антикварными вещичками, – в Италии существует целая промышленность, изготавливающая эту поддельную старину на потребу богатым невеждам из-за океана. В этом неопрятном человечке с потертым чемоданчиком в руках самый зоркий глаз не мог бы распознать советского генерал-майора, начальника эксплуатационной разведывательной группы. Звали его Борисом. Борису мы и передали Носика. Но за время работы со мной Носик успел познакомить меня с одним матёрым французским разведчиком Лемуэном – зловещего вида стариком, торговцем чужими кодами. Старик развлекал меня рассказами о том, как во время Первой мировой войны собственноручно расстреливал на франко-испанской границе разную подозрительную мелюзгу, и угощал меня вином и устрицами, и всё старался заманить на французскую территорию. Нехотя, ради установления дружеских отношений с японской разведкой, он продал мне несколько очень нужных шифров: шли предвоенные годы, информация со всех сторон была крайне необходимой. А я выследил в Цюрихе свидание Лемуэна с удивительно красивой брюнеткой и сумел познакомиться с ней. Она оказалась любовницей важного румынского генерала, который снабжал своих французских хозяев интересной для нас информацией о СССР и Румынии! Как я сумел втереться к ней в доверие? Деньгами. Ссылкой на Японию, которая хранит тайны как могила. Ну и своей молодостью: генерал-

то, знаете, был весьма поношенным стариком, а убийца из Сингапура – элегантным наглецом в расцвете сил, такие нравятся многим женщинам, в том числе и курьерам между Бухарестом и Парижем.

За столиком, у бутылки шампанского во льду, мы, вероятно, казались весьма живописной парой – она в глубоко декольтированном платье, я во фраке. Мы шептались как юные влюблённые: «Если вы меня предадите, то будете убиты, как только высунете нос из Швейцарии!» – говорила она мне в ухо, сладко улыбаясь. Я улыбался ещё слаще и шептал в ответ: «А если вы предадите меня, то будете убиты вот здесь, в Цюрихе, на этой самой веранде, над синей водой с белыми лебедями!»

Из всего сказанного вы видите, что разведывательная нить часто даёт ответвления: тянешь одну рыбку, вытягиваешь три, а весь улов всегда получал наш юркий торговец фальшивыми древностями!

– А как шла работа у лорда?

– Лорд появлялся на сцену только в моменты самой смертельной опасности.

В предвоенные годы гонка вооружений всегда чрезвычайно ускоряется и переходит в безумную чехарду. В такой обстановке однажды в Берлине меня вызвал резидент и приказал срочно съездить в фашистский Рим и доставить оттуда в гитлеровскую Германию армейский газозащитный комбинезон и ручной пулемет. Через две границы! Хрустящий комбинезон защитного цвета и пулемет (правда, без ручки!). Это было очень серьёзное поручение. Я вызвал Пепика и Эрику, свою молодую чету, руководить операцией взялся Тэд, Борис вызвался в помощники.

Утром в Риме к вагону «люкс» экспресса Рим–Берлин явились хорошенькая монахиня в форме ордена, помогающего больничным больным, и служитель из американской больницы, тоже в форме. Они под руки вели скрюченного больного, укутанного с головой так, что из-под пледов торчал только жёлтый трясущийся нос. За этой троицей шёл вышколаженный молодцеватый слуга, который небрежно нёс в руке элегантный, на вид полупустой саквояж, а на плече – высокую брезентовую, обшитую кожей сумку, из которой торчали металлические концы клюшек для игры в гольф. Сестра по-итальянски с английским акцентом объяснила проводнику вагона, что больной – сумасшедший лорд, страдающий буйными припадками. Он кусается, но укусы безопас-

ны, безумие через слюну не передаётся, надо только беречь себе глаза. Припадки могут начаться от резкого стука и дребезжания.

Монахиня сунула проводнику такую пачку лир, что тот взглянул, охнул и бросился обвязывать чистыми полотенцами все дребезжащие предметы в купе – стаканы, графины, ночной горшок. Лорда бережно усадили и заботливо прикрыли ещё одним пледом, больничный служитель сел с одной стороны, монахиня – с другой. Служитель усталился в лорда, как охотничья собака на стойке, а монахиня открыла Евангелие и стала шёпотом читать, отсчитывая страницы на чётках.

Тем временем атлетически сложенный слуга небрежно поставил шикарный чемодан к стене, под окно, как раз против двери, а сумку с клюшками сунул в угол, козырнул и ушёл. А в его небрежности и был большой смысл – саквояж с комбинезоном был нетяжёл, но сумка с клюшками и пулеметом весила немало – сам непомерный вес сумки обратил бы внимание любого носильщика. Но главное заключалось в том, что дуло предательски торчало из сумки и хорошо просматривалось между стальными лопаточками клюшек: наша затея была психологической атакой, весь расчёт строился на том, что ни итальянские чернорубашечники, ни швейцарские жандармы, ни гитлеровские эсэсовцы, поражённые необычным видом его лордства, не обратят внимания на саквояж и клюшки: они будут смотреть только на лорда, который кусается! Так и случилось: на границах проводник ещё издали шипел представителям власти «с-с-с!» и, захлебываясь, рассказывал о необыкновенном больном, монахиня молилась не поднимая глаз, служитель сидел в позе пса, готового ринуться на добычу.

В Цюрихе явился невысокий юркий врач в белом халате. Молча сделал больному инъекцию, молча выслушал доклад монахини и удалился. На немецкой границе эсэсовцы только рты раскрыли: «Настоящий лорд?» – «Вот его паспорт!» – «И кусается?!» – «Как собака!» – «Герр Готт! Доннер веттер нох маль!» Наша смерть на цыпочках прошла мимо, даже не взглянув на кончик дула...

– *Записано, Дмитрий Александрович. А что делал его сиятельство?*

– Я коротко расскажу одну историю, весь смысл которой читатель должен понять сам: это тема для сложного психологического романа, такой материал смог бы по-настояще-

му оценить и рассказать только Достоевский. Готовясь к войне с Советским Союзом, гитлеровцы немало внимания, усилий и денег потратили на получение информации о положении в нашей стране. В Германии было организовано несколько центров, откуда и начала развеваться разведывательная работа. Один из таких центров внешне был замаскирован в Управлении германского треста химической промышленности. Поток добытых сведений обрабатывался в очень засекреченном помещении, а готовый материал укладывался в сейфы. В качестве технического работника, хранителя и зоркого надсмотрщика к центру была представлена немолодая женщина, в детстве тяжело изувеченная в автомобильной катастрофе, лишённая семейной жизни и крайне озлобленная. Весь естественный пыл души она обратила на фанатическое служение фюреру и Третьей империи. Конечно, являлась старым членом гитлеровской партии и яркой эсэсовкой. Это был бешеный пёс, рычащий с цепи на каждого приближающегося к заветной железной двери. Приручение этого опасного животного и было поручено мне.

Клясться в любви и падать на колени тут было бессмысленно – отталкивающая наружность не позволяла ей верить в подобную грубую ложь. И я начал издавна. При первом же весёлом разговоре легкомысленный граф признался, что точно не знает, кто такой герр Адольф Гитлер – кажется, адмирал, или профессор, что ли... Пёс ужаснулся. Его заинтересовало – на какой же почве может расти такое чудовищное богохульное невежество? Выяснилось: на почве богатства, лени, лёгких успехов у женщин. Пёс смекнул, что граф от природы далеко не дурак, и если его обработать, то он может стать полезной для Германии пешкой.

Пса охватило желание сделать из легкомысленного балбеса настоящего человека. И пёс принялся за дело. Сначала возникла привычка. Потом привязанность. Наконец, любовь. Но какая! Кровожадные псы умеют любить, это я увидел сам... А всё должно было закончиться естественным финалом – браком. Нужно было только до венчания, для упорядочения денежных средств графа, помочь ему кое-каким советом по части химической промышленности, в которую граф по своему легкомыслию вложил деньги. И ещё помочь спекулировать на бирже... И ещё...

Словом, через три года я сдал прирученного пса нашему торговцу фальшивыми драгоценностями. Потом граф уехал

в свой замок для подготовки его к свадьбе и вдруг – о, ужас! – был случайно убит на охоте: опечаленный синьор де Винчи показал невесте газеты с извещением в траурных рамках. Что с ней сделалось... Несчастную еле спасли... Да, псы умеют любить! А разведчики умеют требовать работы от тех, с кем они связаны! Словом, всё пошло нормально, только неутешная невеста-вдова навсегда оделась в траурные платья.

– *И все? – разочарованно протянул я.*

– Нет. Главное в этой истории – конец! Работа потребовала моего приезда в Берлин. Озираясь по сторонам, я направился в большое кафе на Курфюрстендамме, где было назначено свидание, и уже взялся было за створку вращающейся прозрачной двери, как вдруг увидел, что за эту же створку с другой стороны взялась моя невеста-вдова. Мы замерли по обеим сторонам двери, не имея сил оторвать глаза от наших побледневших лиц. «Простите!» – вдруг раздалось сзади меня – это группа эсэсовских офицеров подошла к вертушке и вежливо отстранила меня.

В это мгновение моя невеста-вдова вдруг дико закричала, повалилась на пол и забилась в истерических рыданиях. Офицеры поскорей вбежали в кафе и наклонились к упавшей. Я получил те несколько минут, которые разведчику нужны, чтобы исчезнуть, остаться в живых и позднее давать интервью журналистам.

– *Какая ужасная жизнь! – воскликнул я.*

– Да. Но в моей груди пылал огонь: я знал, для чего приносятся такие жертвы. Я вернулся домой в Москву для научной работы. Но меня не отпустили – война уже стояла у порога, отдыхать было некогда.

Я был вызван к наркому. Начальник нашей разведки доложил план: направить меня в Антверпен, где я вступаю в бельгийскую фашистскую партию, оттуда еду в Голландскую Индию и покупаю там плантацию или торговое дело, оттуда в Южную Америку, где в Сан-Пауло у гитлеровцев имеется большой центр. Там я перевожусь из бельгийской в немецкую фашистскую партию. Выдвигаюсь как фанатик-активист. Перебираюсь в Германию и остаюсь там на всё время войны как наш разведчик, работающий в Генеральном штабе рейхсвера. Нарком взял синий карандаш и поперёк доклада написал: «Утверждаю». Вышел из-за стола. Сказал: «Ни пуха, ни пера! Родина и Сталин вас не забудут! Мы даем вам в руки лучшую разведывательную нить, которую сейчас имеем. Цените это! Будьте достойны та-

кого доверия!» Обнял, трижды поцеловал, крепко-накрепко пожал руку.

Я открыл новую страницу блокнота.

– С нетерпением слушаю, Дмитрий Александрович!

Но мой собеседник расхохотался.

– Видите гору папок? Замечаете, что девушки уже не уходят и мнутя у двери? У меня было полтора десятка паспортов, столько же масок и множество приложений – всего не расскажешь. Нам пора закругляться.

– Так, по крайней мере, добавьте несколько слов о вечере, когда штурмбанфюрер...

– Нет, это большая, серьезная и длинная история, и мять ее не следует – жалко! На сегодня довольно! Благодарю за внимание. Я хочу написать три книги о пережитом. Первая уже написана, в рукописи она условно называется «Грозовой рассвет над Африкой». Третья тоже готова. Условно ее назвал «Возмездие». Но вот вторая под названием «Неприкаянная любовь» пока только обдумывается, она служит мостом к третьей, и я не могу начать писать ее, пока окончательно не уточню несколько деталей текста первой книги. Когда-нибудь прочтете все три – узнаете много необыкновенного.

Мы поднялись.

– Вы, Дмитрий Александрович, конечно, старый член партии?

– Нет, я беспартийный. Один из тех, кого в те годы называли беспартийными большевиками.

– Но псевдоним себе вы придумали очень удачно!

– Нет, Быстролетов – это настоящая фамилия матери. Она была кубанской казачкой.

– А кто был отец?

– Граф Александр Николаевич Толстой.

Мы помолчали.

– И последний вопрос: как бы вы советовали назвать репортаж о встрече с вами?

– Именем главного героя моего рассказа!

Я так и сделал.

Закончив чтение, я дал слушателям немного передохнуть, а потом заговорил снова:

– Расшифровывать изменённые оперативные данные не буду, это вас не касается, друзья. А вот расшифровать подлинные имена советских участников этой самоотверженной работы я должен, это касается темы нашей беседы за круг-

лым столом. Одновременно с именем буду указывать судьбу человека.

Итак, нарком Ежов – уничтожен. Начальник разведки Слуцкий – задушен в своём служебном кабинете подушками, резиденты Берман и Самсонов – расстреляны, генерал-майор Малли и Базаров – расстреляны, начальник сектора в ИНО полковник Гурский был арестован и выбросился из окна 10-го этажа, Эрика замучена в московской тюрьме, я отсидел без малого восемнадцать лет, моя жена и помощница (она с величайшей опасностью для жизни доставила мне паспорт лорда для бегства из Берлина) покончила с собой после моего ареста. Ну, как? Никакие гитлеровцы не могли бы так расправиться с советской разведкой, как это накануне войны сделал Сталин: как и армию, он её обезглавил и обескровил. Беззаветно преданные бойцы и патриоты были уничтожены без всякой вины...

Но, друзья мои, не ради этого я начал рассказ. Истребление кадров подчеркнул, имея в виду армию, Борис, и дополнил, имея в виду экономику, Степан. Как все это ни важно, но в третий раз повторять одно и то же не стоило бы. Я зачитал свой текст потому, что в отношении разведки Сталин допустил ещё одно совершенно особое преступление: он не воспользовался сообщаемыми ему сведениями, и самоотверженный труд и геройство наших разведчиков оказались ненужными. А сознание ненужности и обманутости хуже смерти. Что смерть? Мы знали, на что шли...

А вот теперь годы и годы меня терзает сознание того, что такие прекрасные и высокие чувства самопожертвования потрачены не ради Родины, а для выгоды политических прохвостов и мошенников, и такие искренние и хорошие люди погибли за ничто, оказались выброшенными в мусорный ящик прекраснодушными дураками!

– Ладно, успокойся! – сказал Степан.

– Нет, Степан, поздно успокаиваться! Ночами я просыпаюсь от жгучего горя и стыда и думаю – зачем же мы вынесли столько мук и сами совершили столько преступлений? Тогда мы успокаивали себя мыслью о жертве Родине: это было сомнительное по моральному уровню объяснение, но оно поддерживало силы и помогало идти в бой. И вот теперь мы узнали, что добытые своей и чужой кровью документы шли в корзину, ничтожные дураки не верили им, а отъявленные предатели – верили и скрывали. Я сгораю от стыда, видя, как нас одурачили! Втоптаны в грязь вера в

Партию и любовь к Родине. Всё изгажено. Страшно к концу жизни остаться у разбитого корыта! Вот ради этого признания я и начал свой рассказ.

– Невероятно! – вздохнули все. – Не укладывается в голове: какой-то кошмарный сон! Ужасно!

– Сравнить Сталина с Гитлером, – снова заговорил я, – это значит незаслуженно обижать Гитлера, потому что Гитлер устранял своих действительных врагов или нацию, которую он открыто приговорил к уничтожению, а Сталин уничтожал своих сограждан по выдуманным обвинениям: никогда в Германии не арестовывали белокурых сероглазых немцев и не истязали их так, чтобы те **признавались**, что у них чёрные волосы и глаза, и что они не немцы, а евреи. А у нас проводилась именно такая политика: истребление ради истребления в надежде на то, что среди тысяч уничтоженных попадётся и десяток оппозиционно настроенных людей.

У Гитлера была разумная борьба за величие Германии в мировом масштабе, у Сталина – борьба за личную власть и кормушку. Поняли разницу? Да, Сталин обошёл нашему народу дорожке Гитлера!

Вот теперь прослушайте рассказ о событиях в маленькой Абхазии, он добавит новые детали в картину сталинского террора.

Я отхлебнул чай.

– В эпоху хрущёвской **весны** в Сухуми, столице Абхазской республики, состоялся показательный общественный суд, имеющий принципиальное значение: это юридический прецедент, такие суды когда-нибудь будут иметь место во всех крупных городах страны. Вы помните, что сталинская система вождизма покоилась на наличии маленького вождя в каждом областном или республиканском центре: мелкие вожди нужны были как ножки, на которых прочно стоял бы трон вождя большого. Но когда после XVIII съезда Сталин потерял веру в своих ставленников, они тем самым были приговорены к смерти, потому что выбранных снизу можно и сместить, а навязанных сверху убирают только топором.

В Абхазии в вождях тогда состоял некий Лакоба, и за дело его убийства взялся сам Берия.

– Интересно! Продолжайте!

– Лакоба не особенно волновался, когда началось поголовное истребление лучших людей маленькой республики,

её национальных культурных кадров. На суде свидетели показали, что арестованных загоняли в чаны для соления рыбы на Сухумском берегу, наталкивали как можно плотнее и потом напускали морскую воду. Люди стояли неделями, умирали от усталости, жары, жажды и голода. Умершие продолжали стоять между живыми. Кое-кого катали с гор – связывали по рукам и ногам и спускали вниз по склону, пока тело не превращалось в мешок с костями. Все **признавались** и давали клеветнические показания на знакомых. Волны массовых арестов поднимались выше и выше и, наконец, достигли ног Лакобы. Царёк почувствовал, что приближается и его конец.

Однажды в Сухуми прибыл Берия и вечером пригласил Лакобу к себе в гости.

– Я чувствую, что меня сегодня отравят, – сказал Лакоба своему личному врачу. – Приготовьте всё необходимое для выкачивания и промывания желудка, а также средства для поддержания сердечной деятельности. Когда я вернусь, немедленно, не теряя ни секунды, начинайте меня спасать!

Берия встретил гостя за хорошо накрытым столом. Прямо перед ним стоял опрокинутый старинный турий рог в серебряной оправе.

Сели.

– Выпьем за твоё здоровье! – сказал радушный хозяин и стукнул о стол раструбом рога, чтобы показать, что внутри ничего нет.

На суде свидетели показали, что яд был, по всей видимости, приклеен к внутренней поверхности. Рог наполнили вином, и хозяин подал его гостю и сам налил себе вина из того же бочонка. Лакоба выпил залпом, а затем объявил, что болен и завален делами, а потому благодарит за честь и уезжает. Дома он сел на стул и скомандовал врачу:

– Начинайте поскорее!

Однако следом явился Берия со своим врачом. Ласково сказал врачу Лакобы:

– Убирайтесь вон! Со мной врач, который позаботится о больном.

Врач Лакобы в ужасе прибежал на железнодорожную станцию и исчез из города. К утру Лакоба умер.

Хоронили царька не только всем городом, но и всей республикой. По дороге на кладбище Берия шёл за гробом, часто падал от горя и бился головой о мостовую – это был театр в восточном вкусе, – здесь и актёры и зрители были

восточными людьми. Народ плакал – вот как коммунисты любят друг друга!

Через две недели, когда разговоры стихли, труп с остатками яда выкопали, отвезли подальше в море и утопили. Жену Лакобы арестовали и сослали в Норильск на медленную гибель. Сына вызвали в ГПУ.

– Твой отец признался, что он – изменник. Сталин обо всем знает. Становись перед портретом любимого вождя и поклянись, что ты ему верен! – зарычал начальник, подходя сзади к юноше. Тот поднял глаза к портрету и начал клясться. Начальник тихонько вынул из кобуры пистолет и выстрелил ему в затылок.

На суде выступали жена и врач Лакобы, бывшие служащие ГПУ, а также бывшие контрики, на себе испытывавшие муки стояния в засолочном чане или лично видевшие катание связанных узников с горы. В нашей прессе давно вошло в моду выражение высокоморального возмущения методами расправы в США и бессилием американских следственных органов, которые, по мнению наших журналистов, боятся сказать правду. Но зачем ходить за океан и возмущаться чужими скандалами, если у нас есть дело Кирова и скандальное бессилие наших следственных органов? Вот что по этому вопросу сказал сам Хрущёв на XXII съезде КПСС:

«Начало массовым репрессиям было положено после убийства Кирова. Надо ещё приложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто виноват в его гибели. Чем глубже мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает вопросов. Обращает на себя внимание тот факт, что убийца Кирова раньше дважды был задержан чекистами около Смольного, и у него было обнаружено оружие. Но по чьим-то указаниям оба раза он освобождался. И вот этот человек оказался в Смольном с оружием в том коридоре, по которому обычно проходил Киров. И почему-то получилось так, что в момент убийства начальник охраны далеко отстал от С.М. Кирова, хотя он по инструкции не имел права отставать на такое расстояние от охраняемого.

Весьма странным является и такой факт. Когда начальника охраны Кирова везли на допрос, а его должны были допрашивать Сталин, Молотов и Ворошилов, то по дороге, как рассказал потом шофер этой машины, была умышленно сделана авария теми, кто должен был доставить начальника охраны на допрос. Они объявили, что начальник охраны по-

гиб в результате аварии, хотя на самом деле он оказался убитым сопровождавшими его лицами.

Таким путём был убит человек, который охранял Кирова. Затем расстреляли тех, кто его убил. Это, видимо, не случайность, это продуманное преступление. Кто это мог сделать? Сейчас ведётся тщательное изучение обстоятельств этого сложного дела.

Оказалось, что жив шофер, который вёл машину, доставлявшую начальника охраны С.М. Кирова на допрос. Он рассказал, что, когда ехали на допрос, рядом с ним в кабине сидел работник НКВД. Машина была грузовая. (Конечно, очень странно, почему именно на грузовой машине везли этого человека на допрос, как будто в данном случае не нашлось другой машины для этого. Видимо, всё было предусмотрено заранее в деталях.) Два других работника НКВД были в кузове машины вместе с начальником охраны Кирова.

Шофер рассказал далее. Когда они ехали по улице, сидевший рядом с ним человек вдруг вырвал у него руль и направил машину прямо на дом. Шофер выхватил руль из его рук и выправил машину, и она лишь бортом ударилась о стену здания. Потом ему сказали, что во время этой аварии погиб начальник охраны Кирова.

Почему он погиб, а никто из сопровождающих его лиц не пострадал? Почему позднее оба эти работника НКВД, сопровождавшие начальника охраны Кирова, сами оказались расстрелянными? Значит, кому-то надо было сделать так, чтобы они были уничтожены, чтобы замести всякие следы».

Я отхлебнул глоток чая и продолжал:

– Разве это не то же, что происходит в США? Но слушайте дальше: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдёт время, мы умрём, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу. Мы обязаны сделать все для того, чтобы сейчас установить правду, так как чем больше времени пройдет после этих событий, тем труднее будет восстановить истину. Теперь уже, как говорится, мертвых не вернешь к жизни. Но нужно, чтобы в истории партии об этом было правдиво рассказано. Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

И что же? Гласного следствия не было, дело замяли. Значит «подобные явления» могут повториться! И к этому опять прокладывается дорожка! Сначала о товарищах, погибших

от руки обожаемого Генсека, писали с обязательной крокодиловой слезой, потом слеза высохла, но сохранилось упоминание о том, что данный товарищ «погиб в эпоху нарушительный законности при культе личности», затем и это смазали, трусливый некролог заканчивался указанием только даты, и, наконец, исчезла и она – был товарищ и сделал много добрых дел. И точка. Жил на людях, а умер в безвоздушном пространстве, испарился, как капля воды. Недалёк день, когда запретят всякое упоминание о культе и жертвах – ничего не было. Всё хорошо, ура-ура!

Вот что значит сила сталинского аппарата!

Я часто вспоминаю одно лагерное стихотворение, написанное и посвящённое Сталину в 1940 году:

Кто он? Гений? Больной? Или ушлая тварь?
Для рентгена души не открыт ещё луч...
Может, он нашей русской судьбы инвентарь
И в грядущую радость заржавленный ключ!

И дальше поэт писал, что советский человек «сам воплотит на земле свои лучшие сны». Может быть. Я на это надеюсь. Но лагерный поэт не думал о наследниках, он представлял себе, что со смертью Джугашвили произойдёт чудесный поворот, и какие-то фантастические новые советские люди построят царство божье на земле. Чепуха! Все мы, начиная с Хрущёва и кончая этим лагерным поэтом, пропитаны ядом неосталинизма, в разной мере, но пропитаны, все мы в разной мере наследники Сталина, только Хрущёв получил лохань яда и жирную кормушку в придачу, а мы – только по чайной ложечке яда. Мы сами посадили себе на шею Сталина, мы покорно несём на шее Хрущёва... Так нам и надо – это созданная нами наша историческая судьба: ржавый ключ обломился в замке, и грядущей радости нам и нашим детям пока не видать!

Снова молчали. Пили чай. Курили.

– Такова сталинщина, – заметил Степан. – Время провокаций и террора, организованного для удержания власти: по аналогии с голосованием на XVIII съезде Сталин полагал, очевидно, что за него стоит половина населения, а другая половина – за Кирова или другого конкурента. Отсюда массовость истребления: голосовавших против него на съезде Сталин потом расстрелял поголовно, а возможных противников среди народа ему пришлось выискивать. Лакоба погиб закономерно: попал в машину, которую помог выстроить.

– Говорят, что маршала Блюхера Берия застрелил у себя в кабинете во время допроса, когда Блюхер бросил в него чернильницу, – проговорил Борис. – Стрелять в допрашиваемых у тогдашних руководителей считалось шиком. Что ты добавишь, Дима?

– В Москву вернулась Шура Слуцкая, вдова бывшего начальника ИНО, – сказал я. – Вернулись из заключения и многие чекисты. Выяснилось, что Слуцкого задушили подушками в его служебном кабинете: это был ловкий прием, поскольку Абрам был тучным человеком и страдал астмой. А начальник моего сектора Феликс Гурский якобы сам выбросился из окна десятого этажа. В лагере мне рассказывали, что героя Гражданской войны комдива Звездича на допросе забили насмерть сапогами. Нет, однообразия в технике убийства тогда не было.

Слово взял Степан.

– Известный в те годы Сёмушкин жил с женой на одной лестничной площадке с Орджоникидзе. К Серго явились три человека в штатском, их случайно впустил Сёмушкин. Через десять минут трое вышли от Серго и позвали Сёмушкина: «Посмотрите и засвидетельствуйте: товарищ Нарком покончил собой!»

И действительно, Серго лежал на диване мёртвый, около его правой руки был пистолет. Сёмушкина расстреляли, жену сослали... Теперь она вернулась.

Степан стукнул ладонью о стол.

– Однако же хватит новых примеров, товарищи. То, о чём мы сейчас говорили, называется сталинщиной, то есть способом Сталина бороться за власть. Этот период кончился с его смертью. Кстати, что нового ты слышал о ней, Дима?

– Я слышал рассказ одного из членов комиссии, поднимавших тело Джугашвили на даче после мозгового удара. Он рассказал следующее: Сталин построил себе под Москвой двухэтажную длинную саклю, в которой комнаты переходили одна в другую, и хозяин с одного места мог видеть всё, поскольку двери приходились одна против другой. На втором этаже находились комнаты на случай приезда Светланы с детьми и Василия. Там стоял рояль, и Жданов, единственный посторонний человек, допускаясь туда, не раз играл там для развлечения семьи.

Сотрудники, приезжавшие из Москвы с докладами, входили только в домик около въездной вахты – туда приходил к ним сам Сталин, там же находилось и караульное поме-

щение. Всё место вокруг сакли до высокого забора занимали розы – сентиментальный палач очень их любил и выпивал из разных стран всевозможные сорта.

Окна комнат нижнего этажа с наступлением темноты прикрывались толстыми ставнями, болты которых пропускались внутрь дома и брались хозяином на вкладыш: ночью трусливый повелитель был наглухо запёрт от людей.

Стены всех комнат были голые, чистые, комнаты пустые, за исключением стола, стульев и дивана, и все они были похожи одна на другую. Только в одной комнате висела на стене китайская картина – дар единомышленника и почитателя, Мао Дзэдуна, да платяной шкаф. В шкафу висело старое платье и бельё, которое страдающий манией преследования палач получал от сына: бельё было заношено до дыр, особенно кальсоны в шагу, где моча уже не выстирывалась. Васькины валенки папа носил тоже до дыр. Стирал он одежду сам, потому что опасался пропитывания ядом при ее стирке.

Накануне мозгового удара к отцу пришёл сын, и между ними произошла крупная ссора – часовые, день и ночь ходившие вокруг страшной сакли, слышали крики и ругательства грозного диктатора. Потом его видели через окно сидящим на стуле около стола, позднее он лёг на стол и так лежал с вытянутой к звонку рукой. Люди видели и ходили не останавливаясь, потому что дрожали от страха, а команды остановиться и оказать помощь заболевшему никто не дал.

Сталин умер один, умер как бешеный пёс – в дырявом вонючем белье, в пустой комнате, на виду запуганных им людей. Умер, как Иван Грозный, – на дне ямы, куда их обоих привело медленно прогрессирующее безумие.

– Стоп! – сказал Степан. – Так ли это было или нет, но в сознании народа это бешеное животное подошло именно на дне ямы.

Булганин и Маленков приспустили флаг на застенке, позорный для партии флаг, на котором красовались кощунственные слова, напечатанные жирным шрифтом в «Правде», газете, основанной Владимиром Ильичом: «Сталин – это Ленин сегодня».

Память о Ленине была ещё слишком свежа, и Сталин осмелился только слегка потеснить его, ведь он нуждался в Ленине как в ширме, прикрывающей его злодеяния. А сегодня! Вы помните о выстрелах в честных советских людей: и эти акты кровавого безумия Генеральный секретарь КПСС прикрывал именем Ленина! Чудовищные времена!

– Да, – согласился Семён. – Но флаг ЦК на застенке вначале был только приспущен. Хрущёв его спустил ниже. Хотел снять и не смог! Дело разоблачения сталинщины не удалось...

– Как по-твоему, Борис, почему мы были освобождены?

– По тем же причинам, по которым царь Александр Второй освободил крепостных крестьян: на определённом этапе развития страны рабовладительство делается невыгодным самим рабовладельцам. Кроме того, действовала и ещё одна причина – помимо Хрущёва в наследники трона метил Молотов, очень опасный конкурент.

Молотов был сторонником завинчивания гаек, значит Хрущёв их отвинтил, понимая, что в лице миллионов отпущенных контриков и членов их семей он приобретёт своих сторонников. Иначе оттеснить Молотова от трона Никита Сергеевич не мог – политически он был слишком слаб. Его бы легко подмяли под себя другие.

– Я тоже так думаю, – кивнул Степан. – А потом началась хрущёвщина, знамя партии с застенка было перенесено на балаган. Тело Джугашвили вынесли из Мавзолея, но в живых остался его дух.

Сталин никому не нужен, но неосталинизм как метод управления люб, дорог и выгоден миллионам советских бюрократов. Вина Хрущёва в том, что он не рассчитал своих сил и возможностей, и аппарат его съел.

– Прошу слова! – проговорил я. – Поскольку мы говорили о сталинщине, то есть о наиболее простом методе управления нашей страной, позвольте привести характерный пример. В середине тридцатых годов меня вызвали в Москву и разрешили съездить в город Анапу к матери, которую я давно не видел.

Я остановился в «Метрополе» с паспортом иностранного инженера. Полковник Гурский и другие начальники каждый вечер являлись ко мне и ужинали за мой счёт в ресторане – валюты у них не было, валюту они имели право выписывать только мне и затем списывать как оперативный расход.

Тогда же техничка моего сектора, Мартынова, выдала мне кипу моих старых личных документов и сказала: «Что надо, оставьте. Что потеряло ценность – выбросьте. Только порвите мелко-мелко и незаметно бросьте в урну на улице!»

Я счёл ненужными несколько фотографий и мою краснофлотскую книжку. Фотографии изображали спины и ягодицы украинских крестьян, выпоротых чешскими жандармами после демонстрации 1 мая где-то около Ужгорода, – я со-

бирался писать статью о буржуазной демократии, купил фотографии в киоске КПЧ в Праге и прихватил с собой как иллюстрации. Порвал, но не послушал техничку и бросил обрывки в своём номере, хотя уже чувствовал грубые признаки наблюдения над собой Оперода: хорошенькая горничная по-французски стала ругать советскую власть и просить принять от неё какие-то материалы для заграницы. Это была аляповатая провокация. Я оборвал эти разговоры, уехал к матери и всё забыл. Возвращаюсь, звоню в сектор, а Феликс хохочет: «Ты ещё жив? Не расстреляли?» Я сначала тоже захохотал, а потом смолк и почувствовал, что у меня похолодели ноги.

Вечером, как всегда, Гурский явился обедать со своей любовницей Леночкой и рассказал следующее: горничная тщательно собрала обрывки фотографий и книжки, работники Оперода их сложили и склеили, а начальник срочно состряпал дело об иностранном шпионе, который направляется в Севастополь с фальшивыми флотскими документами. Помимо прочего, он педераст-садист, что и доказывают фотографии. Оперод просит разрешения ликвидировать шпиона.

Документ положили Слуцкому для визирования, тот, разумеется, учуял липу, навёл справки и спас меня от мясорубки: позднее он сам попал в неё, и с худшим исходом. Вот лёгкость, с которой такой ответственный орган, как НКВД, фабриковал липы, то есть фактически работал на холостом ходу, или, ещё точнее – вот лёгкость, с которой эти фальсификаторы в целях личной карьеры решались на сознательный обман правительства!

Всё это и называется сталинщиной: бюрократия осмелела, она чувствует себя прочно и сама кормит себя любыми нечестными методами, лишь бы они были лёгкими и надёжными. А поймают – всюду свои, такие же бракоделы и фальсификаторы, они в обиду не дадут и безнаказанность во всех случаях обеспечена.

После общего минутного молчания я добавил:

– Неосталинист, прослушав нас, закричал бы: «А индустриализация?! А разгром фашизма?!» Да, конечно, всё это было: наши достижения никто не отрицает. Мы только отвечаем на упрек: достижения страны вы не приписывайте себе, господа-товарищи, не пристраивайтесь к ним, хотя бы бочком! Вы тут не при чём! Всё хорошее и вечное народ добыл без вас или вопреки вам! А вы только создали народу лиш-

ние муки, потерю сил и много разочарования! Дымящиеся новые заводы и красный флаг над рейхстагом – это хорошо, но вот плоха маленькая история, которую я сейчас расскажу, нужно, чтобы каждый неосталинист её прослушал!

В Тайшетский распред по абакумовскому набору бывших ежовских контриков прибыл старый юрист, которого мы с Анечкой знали по Сиблагу – он там отсидел срок, был выпущен на свободу, а спустя лет пять снова возвращён за проволоку. Я обратил на него внимание до того, как узнал: заметил счастливую улыбку среди печально поникших лиц. Подошёл. Мы узнали друг друга и разговорились.

– Нет, доктор, мне повезло, я опять в лагере! – возбуждённо заговорил мой старый знакомый. – Вы знаете, меня выпустили с лишением всех прав на пять лет или, как у нас говорят, с намордником. Привезли в глухую деревню и отпустили – иди, мол, свободный человек, и не забудь дважды в месяц расписываться у опера! Я сунулся за работой в колхоз – нельзя! В сельсовет – нельзя! На почту – нельзя! В школу – нельзя! На медпункт – нельзя! А больше мест для получения работы и средств к жизни в деревне не было. И сбежать нельзя – нет паспорта! Так я промучился четыре года. Обнищал до крайности, опустился. Каждый раз, когда думал, что умру от голода, попадалась случайная временная работёнка сторожем или посыльным, и неминуемая голодная смерть за моими плечами делала один шаг назад. Наконец, я не вытерпел, поехал в райцентр к оперуполномоченному. Дело было утром. Он сидел, подлец, ел бутерброды, запивал их крепким чаем и читал газеты. У меня потекли слюни. В таком забитом животном, как я, при виде бутербродов вдруг вспыхнуло человеческое чувство – я пришёл, чтобы униженно и слёзно просить, а вместо этого стал протестовать.

Я (резко): Я умираю с голода!

Он (спокойно): Здесь не богадельня!

Я (вызывающе): Дайте работу!

Он (не отрывая глаз от газеты): Здесь не биржа труда.

Я трясся от ярости, глотая слюни, а опер сидел напротив меня и спокойно ел. Чистенький, довольный. Я вскочил, не помня себя, и уже около входной двери обернулся и выпалил ему в лицо:

– Только в Советском Союзе может быть такая проклятая жизнь! И её создали ваша партия и лично Сталин! Вот вам!

Я уже схватился за щеколду, чуть не стукнувшись лбом о дверь, до того был ослеплен голодом, горем и яростью.

73 – Пойдите, вы! Идите назад, слышите? Вернитесь!

Голос опера звучал приветливо, нежно, почти сладко.

Я повернулся.

За столом опер левой рукой отодвинул тарелку и чашку, а правой взял лист бумаги и ручку.

– Садитесь! Не желаете ли пяток бутербродов с колбаской и рыбкой? Что? Наверное, и чаю! А? С лимончиком? Я так и думал! Дежурный! На носках! Давай сюда покушать. Живо! Человек голоден, слышишь?

Не успел я закрыть открывшийся от удивления рот, как передо мной появились тарелка с грудой бутербродов и большая кружка ароматного чая с лимоном. Я схватился за сердце – что это, не сон ли?

И принялся есть... Жрать... Трясаясь от страха, что добрый опер передумает и прикажет унести недоеденное.

Но опасения были напрасны – опер не передумал.

– Покушали? Ну, и прекрасно! Курите? Вот папиросы, берите, берите, не стесняйтесь! Ну, а теперь давайте поработаем: вы просили работу – вот она и нашлась! Что вы сказали о жизни в Советском Союзе? О товарище Сталине? А? Мы с вами сейчас откроем дело по обвинению вас в антисоветской агитации! Поскольку вы – бывший контрик, получите десяточку! Начинаем протокол допроса!

Я отвечал на вопросы и захлебывался от радости, доктор, понимаете – отвечаю, а внутри всё дрожит – конец моим мукам, я снова в заключении, милый мой доктор, говорю, и в голове прыгает: «Наконец-то избавился от свободы! Освободился от неё на десять лет!»

Вот, друзья, система, доводящая честного и нормального советского человека до такого состояния! «Наконец-то я освободился от свободы!» – лучше этого не скажешь!

Пауза.

– Анекдот, убедительный своей реальностью.

– Страшное время...

– Да. Так было.

– Неосталинизм, – произнёс Борис, закуривая папиросу, – это проявление материальной заинтересованности и страха потерять место у кормушки. Пока будет кормушка, до тех пор будет и кормушечная идеология. Жив и набирает силу бюрократический партийный аппарат, значит будет жить и крепнуть неосталинизм. Бюрократ – это кормушечник, и неосталинизм – это его кормушечная идеология.

Степан сделал знак рукой и сказал:

– Но тут надо подчеркнуть и ещё одно обстоятельство: сталинщина и неосталинизм – это признаки слабости. Так было у Сталина, так мы наблюдаем теперь и у Хрущёва: он шагнул было к демократии, но поскользнулся и опёрся на своего учителя. Неосталинизм – резервная линия на случай отступления.

– А я утверждаю большее: неосталинизм не только признак поражения в прошлом, он ещё и вернейший путь к поражению в будущем, – добавил Семён. – Знайте, друзья: неосталинист – это пораженец.

Степан вмешался со словами:

– Развенчание Хрущёвым Сталина – это запоздалое возмездие ему лично, но это же и катастрофический удар по партии, стране и международному рабочему движению. Без развенчания не было бы падения веры в коммунизм, а не было бы разочарования масс – не было бы и хрущёвщины. Культ личности Сталина – это ярчайший пример идеалистического взгляда на историю, но переучивать народ надо было исподволь и не такому сталинскому лакею, как Никита Сергеевич.

После резни в тридцать шестом – тридцать восьмом годах умные её организаторы стихли и притворились, что резни вообще не было. Но на днях я просматривал старые газеты и нашёл, что ещё 19 апреля 1939 года нашёлся один дурак, вылез вперёд и через газету «Правда» гаркнул на всю страну: «Здорово мы на Украине почистили врагов, но некоторые ещё остались. Поэтому надо смотреть в оба!» И этим палачом-холопом был Хрущёв, нынешний разоблачитель Сталина. Нет, не ему бороться за ум и сердце нашего народа! Ты хочешь что-то сказать, Борис?

– От комсомольцев я слышал не раз, что мы, старики, устарели со своим марксизмом-ленинизмом: новое время требует и новой идеологии. Они восстанут против Ленина потому, что Хрущёв усиленно прикрывается ленинизмом так же, как это некогда делал Сталин. Бедный, бедный Ильич!

– Вот ты говоришь «бедный, бедный Ильич!», – продолжал Степан. – Конечно, Ленин был умным, порядочным и культурным человеком, он пришёл бы в негодование, увидев, какие мерзости и глупости прикрываются его именем. И в то же время об этом следовало бы больше молчать!

– Почему?

– Потому что он – первопричина наших несчастий!

Присутствующие изумлено подняли головы.

Тут – Да, да, товарищи, не удивляйтесь. Наши фальсификаторы создали фантастическую фигуру святого, который всё знал и всё предвидел, не совершал ошибок и умер без греха. Эта басня – лошадиный корм для народа, но даже самые трезвые и интеллигентные люди поддаются такому грубому обману и представляют себе, что вот, дескать, был у нас когда-то один добрый правитель, а потом ему на смену **вдруг и неизвестно откуда** явились психопат-палач и наглый неуч. По своей природе добрый и умный правитель ничем не связан со злым и глупым правителем и от его дел стоит в стороне.

Это не так, товарищи!

На VIII съезде Советов в 1920 году, сорок три года тому назад, меньшевик Дан сделал Ленину запрос о том, что ВЧК постепенно приобрела слишком много власти, становится государством в государстве и начинает властвовать над ВЦИКом. Запрос очень серьёзный, и поставлен он был по-государственному. Как же ответил Ленин? Слушайте, я заготовил выписку из 42 тома полного собрания сочинений В.И. Ленина, страницы 176–177:

«Дан здесь говорил, будто в канцелярии ВЧК имеется бумажка о том, что меньшевики не подлежат Октябрьской амнистии, и гражданин Дан делает отсюда вывод, что ВЧК учит и властвует над Президиумом ВЦИК. Мы, стоящие у власти, разве можем этому поверить? Разве находящиеся здесь 70–80% коммунистов не знают, что во главе ВЧК стоит член Центрального исполнительного комитета и Центрального комитета партии тов. Дзержинский, а в Президиуме ВЦИК имеется шесть членов Центрального комитета нашей партии? Думать, что при таких условиях Президиум ВЧК или оперативное управление ВЧК учит и властвует над Президиумом центрального исполнительного комитета, конечно, не приходится, это просто смехотворно. В этом, понятно, ничего интересного нет, и представитель партии меньшевиков здесь разыграл просто игру».

Что это, если не пустая отговорка?

Оберегая принцип личной власти диктатора и его окружения, Ленин на вопрос о недостатках структуры государственного управления ответил ссылкой на личности. Да, в то время эти люди были идейны, честны и не вызывали подозрений. Но разве можно судьбы государства ставить в зависимость от отдельных личностей, как это сделал Ленин? Государство осталось, а семь уважаемых и проверен-

ных людей ушли, и на их место пробрался психопат-преступник и насадил в карающий орган своих людей. Ленин запрос Дана назвал **смехотворным** – Дан будто бы «разыграл просто игру»! Но на деле игру разыграл со страной и партией сам Ленин, и игра оказалась далеко не смехотворной: как уже говорилось, Сталин и его подручные после фальшивого процесса Промпартии загубили около 100 000 специалистов и около 5–6 миллионов крестьян организацией голода в стране путём антиленинской «коллективизации» сельского хозяйства. А позднее, когда пришло время расплачиваться за нарушения не только теории ленинизма и советской законности, но и просто здравого смысла, проигравшиеся игроки решили остаться у госкормушки силой, вопреки воли партии.

Для этого нужно было сломать ей хребет, истребить ленинскую старую гвардию, преданнейших большевиков, создавших Советскую власть, и всех думающих и честных коммунистов, а затем вместо дезорганизованной и уничтоженной ленинской партии, руководимой **идеей**, выстроить новую, совершенно другую сталинскую партию под прежним названием, но основанную на личной верности одному человеку. Была расстреляна старая гвардия и 168 членов ЦК, были замучены и уничтожены люди, сделавшие Октябрьскую революцию и создавшие Советское правительство, а с ними и те коммунисты, которых заподозрили в понимании этого переворота и в несогласии с ним, – всего 600 тысяч человек. А так как в те времена большевистская партия была неразрывно связана с народом, то заодно истребили около 16 миллионов человек, активно сотрудничавших с коммунистами. Эти цифры занижены, они не охватывают потери в семьях репрессированных, матери, жены и дети сюда не вошли, а ведь вместе они составляют ещё столько же – возьмите пример: Анечкиного мужа, жену и мать Димы! Цифры эти получены негласной группой расследования сталинщины при хрущёвском ЦК, когда преступления сталинщиков проверяли их наследники, неосталинисты, и верить этим цифрам особенно нельзя.

Но всё же, Владимир Ильич, 600 тысяч истреблённых коммунистов и 16 миллионов беспартийных – это не смехотворные цифры, и вы, посадив во главе аппарата партии для своей личной охраны такого изверга, как Сталин, разыграли со страной и партией непростую игру!

Вам показалась смехотворной мысль, что чекисты могут властвовать над членами ЦИКа, но прошло только 16 лет, и чекисты научились расправляться с ними, как со скотом на бойне!

Степан перевёл дух.

– Но в том-то и суть демократического централизма, то есть личной власти диктатора и его приближённых, что демократический подбор при диктатуре невозможен, при диктатуре власть захватывают те, кто оказался ближе к месту власти, когда оно стало свободным. Таков был ход мыслей Ленина, и поэтому совершенно не случайна его вторая, ещё более ужасная отписка в известном «Письме Съезду» – в нём не прозвучало ни слова государственной заботы о смене, ни намёка на беспокойство о судьбе страны – ряд общих слов, и только.

Так в фундамент нашего государства было заложено пустое пространство, откуда потом и пошли трещины. Сталин не упал с неба и не захватил место Генерального секретаря насильем – он явился закономерным наследником Ленина, так же как Хрущёв является наследником Сталина.

Ленин никогда сам не сделал бы ни сталинских подлостей, ни хрущёвских глупостей, но исторически он за них в ответе. Именно Ленин – первопричина всех наших зол.

В беседу энергично вмешался Семён.

– Я спешу уточнить одно обстоятельство: принципиальную ошибку Ленина надо рассматривать обязательно с учётом исторических условий места и времени. Россия привыкла к централизму, он подсказан и навязан множеством национальностей в обширнейшем государстве, невероятной культурной отсталостью, длительной войной и порождённым всем общим упадком дисциплины... Есть и другие факторы.

В тех условиях жёсткий централизм был «принудительным ассортиментом» нашего исторического развития. Поэтому в любой европейской стране без подобных исторических предпосылок социальная революция может пройти без режима персональной диктатуры, и Ленин, будучи революционером, а не властолюбцем, во Франции, скажем, обошёл бы без своей личной диктатуры, а Сталин, будучи властолюбцем, а не революционером, всюду и всегда свёл бы социалистическое строительство к своему личному деспотизму.

Хрущёв не смог бы захватить власть непосредственно после смерти Ленина, могучая группа старых революционеров-большевиков его не пропустила бы к трону.

Хрущёв мог захватить власть только при поддержке не ленинской, а сталинской партии, когда старая революционная гвардия была расстреляна и власть в стране оказалась в руках чиновников от социализма.

– Согласны! – хором сказали мы.

– Я утверждаю поэтому, что ошибка Ленина была так же исторически неизбежна (Гегель сказал бы – разумна!), как ошибка его двух наследников: Маркс не отвечает за них, а все они друг за друга – при системе личных диктатур преемственности не бывает!

– Сколько на одного хорошего царя пришлось после его смерти плохих? – задумчиво проговорил Борис. – Смена без предварительного отбора по принципу конкуренции и сравнения – вот верный путь к деградации и вырождению. Это – печальное явление.

Я поднял руку в знак того, что прошу слова.

– Процесс распада деспотии при Хрущёве, то есть при третьей смене, так же тормозит поступательное движение вперёд, как при Сталине мешал культ его личности. Вследствие частых ошибок хрущёвское партийное руководство ещё быстрее теряет связь с массами. Но хорошо, что беспартийный народ вопреки этому делает своё дело вместе с рядовыми коммунистами. Будут ошибки и лишние потери, но будут и конечные победы. Этот тяжёлый путь труда и борьбы и есть путь в Бессмертие, и все мы, друзья, кто любит Родину и отдал ей частицу самого себя, все мы бессмертны.

В конце моей рукописной эпопеи я могу повторить только то, с чего и начал: наша страшная жизнь – это пир бессмертных, и мы должны радоваться, что живём в это трудное, жёсткое и прекрасное время.

– Гм... Почему прекрасное? – пробурчал Борис.

Я всплеснул руками:

– Ах, милый ты мой! Да если бы ты мог вспомнить себя умирающим от голода в Сулово, когда ты принёс мне пайку хлеба, проигранную потому, что немцы не были отброшены от предсказанного тобой рубежа! Ведь только в такое время человек может подняться до героических высот и вдруг обнажить прекрасное в своей душе! Радуйся, что нам довелось честно и гордо прожить такие годы!

Долго мы молчали, погруженные в свои мысли.

– Прошу слова, – снова начал я. – Хочу отметить ещё одну ошибку Сталина, а вместе с ним Ленина и партии вообще. Эта ошибка в своё время вызвала всеобщее одобре-

ние и сделала автора своего рода специалистом и авторитетом. Но пройдёт время, её пагубные результаты выяснятся со всею очевидностью и в должный момент вызовут тяжелейшие последствия для нашего государства, а значит и для партии. Незаметно для всех Сталин заложил в фундамент мину замедленного действия. Зловещее урчание часового механизма уже слышится ушами, которые хотят слышать. Позднее, при подходящих условиях, начнутся взрывы и распад здания по частям, тогда это увидят и дураки.

Все подняли брови в ожидании.

– О чём ты говоришь, Дима?

– О сталинской национальной политике. Об обманной формуле: «Национальная по форме, социалистическая по содержанию».

– Для страны, в которой проживает полторы сотни национальностей, вопрос о национальной политике имеет первостепенное значение. При ошибке в этой области неизбежны нарастание местного национализма и распад союзного государства: могут создаться условия, при которых сдерживать центробежные силы из Москвы окажется невозможным.

За границей я наблюдал два пути, приведшие буржуазные государства к успешному решению этой проблемы. В Бразилии все нации равны, там нет травли одной нации другой, нет господствующей нации, а потому отсутствуют шовинизм, расизм и национализм, кроме одного – бразильского, то есть патриотического и центростремительного, который не разъединяет, а объединяет разнородное население. Европейцы, африканцы и азиаты мирно живут рядом, и каждая эмигрантская семья во втором поколении уже даёт не испанцев или ливанцев, не негров или немцев, а только бразильцев.

В Швейцарии я видел удачное решение той же национальной проблемы, но другим путём: там страна разделена на кантоны без точного учёта этнографических и языковых границ, но так, что итальянцы в основном живут в одном кантоне Тичино, французы – преимущественно в кантонах вокруг Женевского озера, а все другие заселяют в большинстве немцы. Языки равноправны, кантоны самоуправляются, как хочет их население, политические и другие права отдельного гражданина обеспечиваются независимо от его национальности, и только на должность президента там выбирают на три года немца, француза и итальянца с тем,

чтобы они по очереди в течение одного года занимали эту должность и все трое по два года работали заместителями.

Система выдержала испытание временем, за годы жизни в Швейцарии я никогда не замечал ни малейших признаков внутришвейцарского антагонистического национализма и травли одной нации другими: все швейцарцы – ярые националисты, но националисты швейцарские, патриотические и наднациональные.

К началу революции у нас сложилось чрезвычайно благоприятное положение для успешного решения национального вопроса по бразильскому или швейцарскому типу: русский шовинизм искусственно насаждался только сверху, он был чужд русским крестьянам, рабочим и интеллигенции.

Культурный и сознательный национализм замечался только у малочисленных народов, задыхавшихся в условиях царизма. Когда царизм пал, возникла полная возможность создать государство одной сверхнации по бразильскому типу или государство самоуправляющихся кантонов, равных между равными и не имеющих национальной наклейки: таллинский и грозненский кантоны самоуправлялись бы эстонцами и ингушами на своих языках и согласно своим обычаям не по признаку национальности, а в силу разумного административного деления, с учётом исторических условий.

В царском паспорте графы «национальность» не существовало, население империи привыкло к этому, и когда после революции стали вводить советскую паспортную систему, то тут бы и воспользоваться исторической удачей, раз и навсегда вычеркнуть из казённой терминологии это проклятое слово. Но нет: чья-то рука протащила его в обиход советской жизни, мало того, Ленин при заполнении формуляра паспорта якобы демонстративно написал о себе: «Без национальности», – написал, а национальный вопрос отдал на откуп своему верному Генсеку. Отсюда и пошла зараза!

В знаменитой формуле благодаря бесчисленным ошибкам Сталина и Хрущёва социалистическое начало постепенно выветрилось, а националистическое, подогреваемое войной, давлением зарубежной пропаганды и другими факторами, в первую очередь недовольством Москвой, выросло до решающего и целенаправляющего значения: в национальных республиках при хрущёвщине местная жизнь стала пропитана чувствами социалистическими по притворной фальшивой форме и ярко националистическими по содержанию.

Утг Я каждый год отдыхаю на Кавказе, и параллельно с ухудшением жизненных условий вижу рост местного антирусского национализма. То же подтверждают русские интеллигенты, приезжающие отдохнуть к морю из республик Средней Азии. На Кавказе огрызаются открыто, но до прямых коллективных действий дело пока не дошло. В Средней Азии ножку русским подставляют исподтишка, а грызться открыто не решаются. На севере якуты ещё только приступают к осторожным ударам в спину или «нечаянному» отдавливанию мозолей. О прибалтийских республиках и говорить нечего! Процесс повсюду один и тот же, но находится на разных стадиях развития.

Нигде национальные кадры не выросли настолько, чтобы заменить русских, и до открытого вызова ещё далеко. Но это время, к сожалению, придёт обязательно, политические и экономические просчёты Сталина и Хрущёва подогревают жажду протеста и недовольства и в сознании национальных меньшинств придают антисталинскому и антихрущёвскому чувству антирусский характер: в какую бы нашу окраину русский ни сунулся, он везде чувствует к себе недоброжелательство. В Грузии он отвечает за Хрущёва, в Эстонии – за Сталина. Малозаметная ошибка Сталина в национальном вопросе когда-нибудь станет государственным преступлением!

На сегодня я сказал всё, товарищи!

Борис поднял руку.

– Последний раз беру слово и я, друзья! Обещаю не тянуть. Говорю как беспартийный советский интеллигент весьма пожилого возраста, немало испытавший и в борьбе за советскую власть и сполна получивший её «благодарности».

Я считаю, что человек не может существовать без идеала – мы по натуре борцы, а борец обязательно должен знать, за что он проливает свою и чужую кровь. Вместе с тем мы – просто люди и свою повседневную жизнь тоже хотим устроить поудобнее. Этим двум запросам полностью удовлетворяет марксизм – сочетание веры с наукой, крашенных мощей на площади и бесплатного образования, медицинского обслуживания, страхования и многого другого.

Я полагаю, что организация общества, где все потребности будут удовлетворяться полностью, невозможна. Это противоестественно, как мечта о жизни без смерти или без физической боли. Но такая далёкая перспектива – заманчива, и она должна остаться как идеал, к которому надо стремиться.

А достижения социализма у всех на виду, они бесспорны, и мы ушли бы по этому пути гораздо дальше, если бы руководство страной не находилось в руках случайных и неподготовленных людей. Вопреки им народ строит свою жизнь, очень медленно, но идёт вперёд. Пусть же, добываясь конкретного, он всегда видит вдали абстрактное – это не беда, это надо. Итак, подвожу итог.

Советская практика не доказывает и не опровергает идеи коммунизма, как церковная практика не доказывает и не опровергает идею бога. И то и другое в равной степени и по одним и тем же причинам невозможно: не надо путать знания и веру. Что же касается социализма, то пятьдесят лет строительства показывают, что коренное улучшение нашей жизни возможно и перспективы на будущее беспредельны, если учитывать развитие науки. Думаю, что спор между капитализмом и социализмом уже предreshён в пользу социализма, и нам остаётся только пожелать, чтобы наш советский социализм когда-нибудь освободился от бюрократических пут и смог развиваться в полную силу нашего народа! Это всё, что я хотел сказать.

Семён проговорил устало:

– Много социалистов и коммунистов трудилось над определением понятия «социализм». Всякая эпоха вкладывала в это слово свой смысл, но наша выдвинула главу многомиллионной партии, марксиста-ленинца, который дал на веки веков научное определение. Оно восславит и его самого, и его удивительную эпоху, оно покажет степень культуры руководства нашей несчастной партией. Мудрец изрёк: **«Социализм – не колбаса!!!»**

Все весело расхохотались.

– Да, не колбаса... И именно благодаря самому Никите: в магазинах уже неделю нет колбасы! Так и дальше будет развиваться наша политика: волнами и спадами или вихлянием из стороны в сторону. Жаль. Очень жаль.

– Однако дело не в колбасе, – серьёзно и печально продолжал Степан. – Мы подошли к истокам нашего принципиального расхождения с хрущёвским правительством и сталинской партией.

Все власть имущие в мире всегда и везде ставят знак равенства между своей властью и родиной: кто против их власти, тот, видите ли, не патриот. У нас он ещё и антисоветчик.

При диктаторском принципе управления партией то же положение создаётся и в самой партии: только толкование коммунизма, которое даёт очередной проходимец, захвативший власть, и есть истинное и единственно возможное, и каждый, кто считает, что могут быть иные толкования, – тот не марксист, не ленинист, не коммунист, короче – контрреволюционер. А между тем именно смена наших диктаторов наглядно показывает каждому дураку, что каждый новый властелин в партии даёт коммунизму своё особое толкование, исключаящее все предыдущие: Ленин творчески углубил Маркса, Сталин – Ленина, Хрущёв – Сталина. Первые двое это делали негласным путём, а Хрущёв даже изъяснял книги того, кого «Правда» с таким бесстыдством объявляла «Лениным сегодня». Мы смеёмся сегодня над выкрутасами Кукурузника, а завтра он будет сам свергнут и объявлен искажителем марксизма-ленинизма, и громко сказать на партийном собрании: «Товарищи, социализм – это не колбаса!» – будет уже считаться контрреволюционным выпадом и антисоветчиной!

Чем дальше мы уходим в теории и особенно в практике от гуманного и глубоко демократического учения Маркса и чем больше оно обрастает необходимостью увязывать теорию с государственной бюрократической практикой, тем меньше в нём остаётся первоначального, тем назойливее и грубее имена Маркса и Ленина становятся ширмой для поддержания личного авторитета тех, кто сам по себе никакого авторитета не имел, не имеет и не может иметь.

Ещё при жизни Маркс с улыбкой говорил, глядя на своих последователей: «Я – не марксист!» А что бы он сказал теперь, увидя сталинские массовые казни и хрущёвские дикие бесчинства в партии и в стране?! Вот поэтому, друзья, давайте уточним: Маркс, бедняга, за Ленина, Сталина и Хрущёва не отвечает. Их государственная практика ему навязывается зря. Она – производное российских условий и не пример для коммунистов других стран, где, может быть, скорее и дальше уйдут к коммунизму. И мы, подчёркивая ряд грубейших ошибок в этой практике, совсем не выступаем ни против домарковского социализма, ни против научного социализма Маркса-Энгельса.

То, что мы видим вокруг, не утверждает и не опровергает идею коммунизма. Это – явления разных планов, и давайте скажем, что, не кривя душой, мы честно считаем себя

коммунистами, хотя и не нашего казённого пошива! История рассудит, кто из нас прав!

– Прошу слова! – сказал я. – Хочу добавить по этому поводу несколько слов.

Во времена Маркса многое из того, что знаем мы теперь, ещё не было открыто, но факт остаётся фактом, что, увлечшись экономикой и политикой, Маркс построил своё учение о будущем коммунистическом обществе без изучения современной ему медицины, а Павлов, Ухтомский и многие другие исследователи сказали своё слово гораздо позднее.

Работая с собаками, Павлов подметил, что у собак встречаются разные характеры, но в общем их можно сгруппировать в несколько ярко очерченных типов или групп.

У нас в доме живёт старый чекист-собаковод, человек, всю жизнь посвятивший дрессировке собак, готовых растерзать заключённых. Я его спрашивал: «Трудно ли натаскивать псов?» – «По разному, – отвечал он. – У них ведь бывают разные характеры, и прежде, чем начать дрессировку, надо узнать характер пса и идти не от правил дрессировки, а от характера. Тогда бывает легче работать, легче использовать определенные наклонности; пойдёшь против них – успеха не будет!»

Каждый человек обладает своим особым характером.

Нас на земном шаре свыше двух миллиардов, а все характеры практически можно объединить всего-навсего в четыре группы. Они прекрасно наблюдаются в истории человечества и в нашей личной жизни: тип Жилистого насильника, как прототип Дворянина и Начальника вообще; тип Толстенького жулика, как прототип Буржуа; тип Простака силача, как прототип Рабочего; и тип Выродка, как прототип асоциального Босняка и Бунтаря.

Я видел новобранцев на царском флоте: все одеты одинаково, все похожи друг на друга как две капли воды, потому что одинаково вымуштрованы кулаками фельдфебелей, все загнаны в одну стальную плавающую коробку. И что же? Служба началась, и скоро от однообразия и единства не останется и следа: Жилистые идут в унтер-офицеры, Толстенькие – в каптёры и повара, Простаки – в рядовые, а Выродки – в штрафники. Позднее, в Норильске, в первый день работы я с ужасом смотрел на ряды заключённых этапников, обмундированных и выведенных в тундру: все одинаково бесправны, все в равных условиях. И что же? Опять

эта безликая чёрная масса распалась на те же группы, и работягой я в заключении не был никогда, потому что, выражаясь языком урока, «работать на общих мне не положено». Я сам себя произвёл в бригадиры, а потом, используя болезнь, ушёл на тыловую работу.

Возможно, что когда-нибудь врачи-социологи найдут объективное обоснование такого распределения всего живого на группы, скорее всего, на основании различия в хромосомах или генах. Вот и строй в таких условиях общество с всеобщим равенством! Формально, конечно, это просто: сверг царя, объявил о равенстве – и дело в шляпе. Но прошло пятьдесят лет, всего только пятьдесят лет, и наше общество формально равных расколосось на резко очерченные группы.

Что такое советский образ жизни? Летать в Париж, чтобы завить волосы перед приёмом в Кремле, или голодной и измученной до полусмерти часами стоять в очереди, чтобы получить пару галош нужного размера?

В советском обществе давно известные четыре типа тоже налицо – и Жилистые, и Толстенькие, и Простаки, и Выродки. Вот тебе и извечный материал для коммунистического общества! Первую часть пресловутой формулы выполнить не трудно – множество наших людей добровольно и с радостью работают по способностям, а вот вторую часть можно выполнить только в отношении Простаков: они кое-где и иногда получают по потребностям. А потребности настоящего человека безграничны и никогда не смогут быть удовлетворены, потому что это противостоит природе, это означает застой и смерть. Хорошо, что удовлетворения всех потребностей никогда не будет! Неудовлетворённость – это стимул к борьбе и продвижению вперёд, без неудовлетворённости нет жизни!

Я полагаю: как великий мираж коммунизм нужен, он не хуже любой другой религии, он даже лучше их потому, что более совершенен. Но мы честно работаем только из-за радости труда, а не ради веры в возможность такой чепухи, как будущее удовлетворение всех потребностей. Товарищ Хрущёв – марксист номер один нашей страны, говорят, построил для себя и своей родни тридцать дач, а наш народ, когда при жизни этого поколения вступит в коммунизм, захочет повторить пример вождя и выстроить шестьдесят миллионов дач? Ну возможно ли это?

Трудовой народ едва успевает обслужить прихоти Хрущёва, но как Хрущёв удовлетворит все потребности двухсот миллионов человек? Как Иисус Христос со своими хлебами?

Товарищ Маркс тут такой же наивный обманщик, как и господь наш Иисус Христос, и обоим им верить не стоит! И утверждение, что одинаковые условия труда и жизни якобы при коммунизме исправят и выровняют все характеры, не только высосано из пальца, но и начисто опровергается историей людей на земле: при коммунизме тоже будут асоциальные элементы, потому что брак в каждом производстве неизбежен, и всем мешать они будут, как и теперь, и Простаки будут работать, как и сейчас, только Жилистым и Толстеньким карабкаться вверх станет труднее. Но это не беда!

Критикуя Сталина и его влияние на будущее нашей страны, каждый из нас начинал словами: «Главное заключается в следующем...», и такого «главного» мы насчитали за сегодняшшний вечер немало. И всё же я хочу сказать о главном из всего главного: об очередном крахе построения общества без внутренних противоречий, о явной неудаче в достижении основной цели революции и марксизма.

Маркс видел психологические и психопатологические первопричины неравенства людей, но не был медиком и отделался предположением, что дурные наклонности, заложенные в человеческой натуре, исчезнут в условиях бесклассового общества и политико-экономического равенства. Но уже в этом предположении скрыто логическое противоречие: человек не изменится без коммунизма, а коммунизм невозможен без предварительного изменения человека.

Человеческое общество развивается пять тысяч лет, его организация претерпевала самые разнообразные изменения, но животное, то есть природное, существо характера остаётся в людях неизменным. В наше вылощенное культурой время человек не стал лучше, чем пещерный человек: преступления против здоровой морали приобретают всё более массовый характер и совершаются всё более и более легко – с дубиной в руках Иосиф Виссарионович не смог бы истребить несколько десятков миллионов своих сограждан, и примечательно, что величайшим уголовным преступником всех эпох и народов оказался именно ленинский Генсек, руководитель гуманистической партии, пророк новой жизни, марксист номер один!

Степан усмехнулся.

– Но наши заграничные партийные вожди ведут себя скромнее. Коммунизм построят демократы Кашены и Тольятти и не на советской земле!

Степан вспыхнул.

– Почему?! Откуда это видно? Разве они не сидят на своих трончиках пожизненно? Разве у них есть сила воли и честь вовремя отказаться от власти? Нет, брат, они – не демократические руководители, а именно **вожди**, и это в условиях, когда у них нет под рукой чекистов и армии. Ого! Посмотрел бы я, что из такого демократа вышло бы через пятьдесят лет бесконтрольной власти с аппаратом принуждения в руках!

Человек всегда и везде остаётся только человеком. Способа отбора готовых к самопожертвованию и самоограничению людей при диктатуре нет и не будет! Помимо всего прочего, диктатура – это лишние потрясения и беспокойства!

– Жизни присуще движение. Жизнь пульсирует, катится вперёд волнами, – улыбнулся Семён.

– А как же иначе? Мы живём в эпоху, когда никто не знает, что будет завтра. Можно ли планировать в тени ракет! – подхватил Борис.

– А они у нас есть!

– И какие! – Борис поднял чашку недопитого чаю. – Я пью за наши ракеты и за то, что они у нас есть!

Но Семён покачал головой.

– Нет, я пью за другое – за скорейшее и счастливое окончание хрущёвщины и за начало нового периода, за приход молодых и талантливых сил и с ними начала восстановления трезвой и разумной, гуманной и твёрдой линии партийного руководства, а вслед за ней и доверия народа к обесславленной партии, членом которой я являюсь. Ты, Борис, военный и беспартийный, а я – врач и коммунист. Скажи, можем ли мы побеждать, не наведя порядок в собственном доме?

Майстрах задумался. Потом ответил.

– Нет. Расчёт на новый блицкриг – старая глупость. Не обмен ракетными залпами решит войну, а длительные маневры пехоты: побеждённую территорию надо сначала занять и потом закрепиться на ней. Страна, которая получает хлеб из рук противника, опасна и может громко его ругать, она даже в состоянии погубить себя и противника, но воевать и побеждать она не может. Пока мы сеем хлеб на

целине, а собираем жатву в Канаде, нам в победители со-
ваться нечего.

А скажи, Степан, как ты представляешь себе приход к власти свежих молодых сил? Откуда они возьмутся, а? Ты предложил красивый тост, так ответь-ка, мил человек, что практически он значит?

– Путч! – сказал Степан.

Все раскрыли рты. Медведев рассмеялся.

– В условиях абсолютной свободы большевики на выбо-
рах в Учредительное собрание не смогли собрать большин-
ства голосов, и Ленин захватил власть в результате двух пут-
чей – у Зимнего дворца и позднее в Таврическом дворце.

Сталин произвёл путч, лишив власти Троцкого и других «законных» претендентов раньше, чем они успели органи-
зоваться для процедуры выборов: на выборах в партии Ста-
лин погорел бы так же, как Ленин погорел на всенародных
выборах. Сталинский террор – это затянувшийся путч. Рас-
стреляв Берию и компанию, Хрущёв оставил конкурентов
без железного кулака, он – также путчист. И сам он, если не
умрёт естественной смертью, лишится власти тоже только
в результате путча, ибо такова уж природа смены власти в
условиях диктатуры: диктаторов голосованием не избира-
ют и не сменяют.

Выхватывать власть становится возможным только при
одном условии – властолюбцам приходится в какой-то мере
идти навстречу требованиям народа. Поэтому в конце кон-
цов выигрывает народ, сталинисты как ни брыкаются, как
ни мешают общему движению, как ни замедляют строитель-
ство советского дома, но всё же народная река течёт впе-
рёд, а не назад, и советский дом строится, и с каждым эта-
жом делается всё краше и удобнее. Будем оптимистами!

Опять заговорил Семён.

– Друзья, начинается бархатный сезон, все мы разъез-
жаемся на отдых. Увидимся уже осенью. К тому же сегодня
все говорили так, точно собрались подвести итог нашим
беседам за круглым столом. Хочу сказать несколько слов и
я, и тоже в плане подведения итогов. Я тоже думаю, что все
вы не коснулись главного.

Сталин поступал, не думая о будущем государства и
партии, он защищал лишь себя самого и свою власть: если
бы он думал о чем-нибудь другом, то его действия казались
бы просто глупыми – ведь он никогда и ни в чём не учиты-
вал суд Истории, ему было на это наплевать. Он умер до

всенародного суда над ним, без печати уголовного преступника на лбу. Чудовищные преступления остались неотомщёнными. Но в истории ничего не проходит бесследно, и если Сталин и сталинисты уйдут из жизни безнаказанными, то совершенно посторонние и невинные советские люди, больше того, жертвы сталинизма, – когда-нибудь понесут расплату за сталинизм.

Дима как-то рассказывал о статье американского автора о глобальной стратегии. В ней прямо указывалось, что борьба за весь мир решается в Европе, а борьба за Европу – в поясе демократических стран, играющих для СССР роль предмостных позиций – в борьбе между коммунизмом и капитализмом победит тот, кто удержит в руках эти территории. Если это так, то плохо, ибо Сталин сделал всё для неизбежной потери симпатий к СССР в этих странах.

В Праге есть место, где публично были повешены виднейшие коммунисты Чехословакии. За что? Публичные казни через повешение в наше время?! Казни коммунистов коммунистами?

Идеологических причин для расправы не было, это был террористический акт для удержания власти. Было посеяно семя вражды, и всходы неминуемы.

Годы идут, нет уже Сталина и его палачей, и наследник Сталина, Никита Сергеевич Хрущёв, расписался в вине СССР в этих казнях – посмотрите текст приговора Берии и компании. Это – неопровержимые исторические факты – злодейские убийства и наше признание вины. А что дальше?

Наивно думать, что преступление забыто и торопливое устранение свидетелей без всенародного суда якобы закрывает вопросы нашей ответственности в Чехословакии, в Прибалтике, на Западной Украине и других странах, где поработали сталинщики и их местные прихвостни. В интересах неосталинистов, чтобы это было именно так, но забвения и прощения не будет, история всё видит и всё помнит, и за злодеяния наших мучителей придётся расплачиваться не им, а нам, их жертвам, советским людям, пережившим Сталина и сталинщину, придётся расплачиваться народу, хотя народ не виноват вообще.

Вот об этом-то я и хочу сказать – о предстоящей оплате чужих счетов!

Проговорив это, Семён смолк и утёрся носовым платком размером с деревенское полотенце.

– Да-с, – буркнул Борис и закурил.

– Вот именно, Борис, – серьёзно подтвердил Семён.
Я только кивнул головой.

Степан посмотрел на часы.

– Без четверти десять. Пора заканчивать беседу. Итак:

1. Ленин создал режим персональной диктатуры, при котором благополучие государства и партии зависит от характера диктатора и его ближайших помощников, а не от государственной и партийной юридической структуры.

2. Личная диктатура прикрыта демократическими учреждениями – выборами, коллективностью управления и пр., но, как показал опыт, при Ленине, в силу его высоких личных качеств, это прикрытие не было вообще нужно, а при первом и втором наследниках оно перестало что-либо прикрывать, ибо Сталин непослушных расстреливал, а Хрущёв подбирал заведомо послушных, хотя в своей практике он тоже ни с кем не считался.

3. На основе антинаучных принципов организации труда в управлении и науке, а также на основе экстенсивной экономики, при которой половина народных усилий и достоинства тратится впустую, было выстроено государство, все грандиозные достижения которого куплены ценой нерационального разбазаривания духовных и материальных средств народа.

4. Государственные и партийные дела при Ленине шли гладко, потому что он сам был порядочным, здоровым, культурным и, главное, идейным человеком, а потому «осторожно пользовался властью».

5. В силу порочности структуры государства и партии и несовершенства человеческой природы, к власти совершенно закономерно пробрались непорядочные, душевнобольные, некультурные, а главное, аморальные и безыдейные люди – патологический властолюбец Джугашвили и нахальный неуч Хрущёв, и стали «неосторожно пользоваться властью», чем нанесли стране, партии и международному рабочему движению непоправимый ущерб.

6. Естественно и закономерно качество управления страной и партией с каждой сменой диктатуры неуклонно снижалось: если Ленин и его окружение были руководителями с сотрудниками, то Сталин явился палачом с уголовной шайкой, а Хрущёв – главным невеждой среди других невежд, стоящих у власти.

7. Лёгкость ломки Сталиным демократической ширмы и её очевидная всем фальсификация Хрущёвым показывают,

что в структуре государства и партии нет юридического механизма, гарантирующего страну от повторения преступлений Сталина и глупостей Хрущёва.

8. Тяжелейшие злодеяния и ошибки послеленинского руководства и его назойливое злоупотребление именем Ленина и любовью народа к Ленину вызвали кризис идеологии: разница между словом и делом стала столь значительной, что население потеряло доверие к печати, радио и всем другим средствам правительственной информации и партийной пропаганды.

9. Нарастающий кризис доверия протекал параллельно с укреплением гигантской машины государственного и партийного чиновничества, которое твёрдо взяло в руки руководство расслоившимся на новые социальные слои советским обществом, похожим при Хрущеве на бесклассовое общество не больше, чем российское общество до Октябрьской революции.

10. Бюрократическая машина управления экономикой, наукой и искусством породила идеологию неосталинизма, то есть систему кормушечничества, борьба с которой невозможна, потому что она – реально существующая надстройка над реально существующим материальным основанием.

11. Рост вооружения и технической оснащённости страны происходит параллельно с её духовным обнищанием в условиях антинаучной организации труда и невозможности исправить положение, потому что в области духовной культуры каждая попытка была бы невыгодна неосталинистской бюрократии, а в области экономики – невыгодна привыкшим к экстенсивному труду рабочим и служащим. Поэтому сложившийся уклад в стране и партии с каждым годом всё более и более тормозит их развитие и затрудняет прогресс: идущей на полезное строительство доли национального дохода и народных усилий уже недостаточно для того, чтобы не отставать в ходе мировой технической и культурной революции. Страна и неосталинистская партия приближаются к неизбежному «моменту истины», а проще говоря – к испытанию на прочность и на способность приспосабливаться к обстоятельствам.

Степан вздохнул и поднялся. Встали и все остальные.

– Мы – не пророки и гадать о будущем на кофейной гуще нам не к лицу. Серьёзнее всего будет, если мы сегодня на этом поставим точку! Спасибо! Наш общий привет милой Анечке!

Радость жизни

Сырое, холодное осеннее утро 1964 года. Ночью шёл дождь, и сейчас пронизывающий ветерок рябил грязную воду в лужах. У станции метро я стоял в очереди за газетами.

– И как теперь жить-то будем, товарищи?.. Вот купим сейчас газету, а на первой странице нет его портрета! Жуть! Значит, склеротиком объявили? Хе-хе-хе...

Я вскинул голову и прислушался. Про кого это? Кто умер от удара?

– Кто же это дал ему по шее?

– Свои. Он стал всем опасен. Сверху донизу.

Над очередью вились струйки табачного дыма. Ах, как плохо, что я не слушаю радио... Пропустил такую новость... Я напряг слух. Голоса были разные: грубые рабочие – они рубили со злобой и наотмашь, и более мягкие, бросавшие словечки с ядовитой насмешкой. Некоторые ожидающие зябко кутались, молчали и хмуро смотрели в землю: видно, члены партии – их новость застала врасплох, и руководящих указаний они ещё не получили...

– Теперь Хрущ заберёт Нину и Фурциху и мотнется в Ка-линовку вареники кушать!

– Зачем они ему? Здесь у него французские повара. Ка-линовка – это сказка, а подмосковные дачи – быть.

– А бабка Заглада?

Прыснул злой смех.

– Уберут в два счёта. Больше читать лекций академикам не будет. Всех придворных прихлебателей разгонят!

– Погонят в шею и Лысенку...

– Да, подурил-погулял наш Кукурузничек и дома, и за рубежом, себе и нам на горькую славушку. Осрамил нас на весь свет!

– Такого представления уж не увидим: цирк закрылся!

Я поскорей купил газету и, листая её на бегу, поспешил домой.

Дня через два уже рассказывали, что удаление Хрущёва было давно предрешено, но ждали удобного случая для бескровного свержения. Объявили, когда сам Хрущёв отдыхал на Кавказе, а маршал Малиновский уехал за границу: дело обошлось без гражданской войны.

Хрущёв, когда ему предложили сойти с трона, якобы кричал:

– Народ за меня! Вы ещё ответите народу!

А ещё неделю спустя, проходя по двору, я услышал, как девчонки **считаются**, кому начинать игру: красным от холода пальцем одна по очереди тыкала в грудь остальных и приговаривала:

Жили-были
Три бандита:
Гитлер,
Сталин
И Никита.
Один вешал,
Другой бил,
Третий голодом морил!

Я не стал слушать дальше. Зачем? Итак всё ясно.

Принялся накрапывать дождь, я пошёл вдоль улицы, подняв воротник и нахлобучив на уши кепку. Было грустно и торжественно, как у порога раскрытых врат в Будущее.

Какое оно?

«Девчонки подхватили эти слова от старших в своих семьях, – думал я. – Это были рабочие семьи, судя по пальтишкам и лицам играющих. И в этом исторический приговор. Учув положение дел и угрожающее покачивание лодки, родственники и друзья вышвырнули буяна за борт, чтобы спасти себя и уверенней продолжать плавание.

В этом их интересы полностью совпадают с интересами народа – страна ждёт порядка, спокойствия и устойчивости. Кто бы ни остался в лодке и кто бы ни взял в руки кормило, важен не человек, а выбранное им направление. Довольно бездумного разрушения и пустого бахвальства! Люди хотят, чтобы им дали возможность трудиться и творить в полную силу, они не желают видеть, как уничтожается добро, созданное их руками.

Только пойдут ли впрок уроки застенка и балагана? Хватит ли государственной мудрости у новых кормчих, чтобы побороть искушение власти, обуздать ожидающих у кормушки прихлебателей и повести народ к новому накоплению нравственных ценностей, втопанных в кровь и в грязь Сталиным и бессмысленно разбазаренных Хрущёвым? Поймут ли они, что без восстановления духа народа материальная база окажется бесполезной?»

Дождь стал хлестать сильнее. Я нагнул голову и прибавил шагу.

«Кто бы вы ни были, люди у кормила, – говорил я в те минуты, – пусть вы окажетесь дальновидными и честными! Не ради нас, а ради себя. Мы бессмертны, нам жить вечно, а вам отступать уже некуда! Не ошибитесь и не играйте с гайками!

Россия за тысячу лет своей истории только и делала, что умывалась кровью. Но всему есть предел. Земля наша прекрасна и народ велик, они заслужили уважение и любовь.

А всё остальное приложится.

Пусть так будет!»

Ослеплённый крутящимся вихрем, я шёл по тёмной улице всё дальше и дальше и мне казалось, что моему пути нет конца.

Поворотный год заканчивался.

В тихий солнечный день Анечка и я вышли погулять. Снег весело хрустел под ногами. Мы шли медленно, бережно поддерживая друг друга.

– Итак, Шёлковая нить кончилась? – спросила Анечка. – Ты больше не пишешь свою хронику? А ведь сам говорил, что события текут непрерывно и у реки жизни нет ни начала, ни конца...

Я ответил не сразу.

– Шёлковая нить для меня всегда была только радостью творчества. Пока я жив и здоров настолько, чтобы творить, Шёлковая нить будет виться дальше: у меня большая, интересная и трудная задача – написать роман из жизни советских разведчиков, но не в стиле идиотского и хорошо оплачиваемого ура-патриотизма... Понимаешь, не как чтиво для метро или троллейбуса, а как художественное произведение, где на фоне правдивого отражения фактов была бы показана художественная задумка автора, его творческое кредо. Большим романом «Пир Бессмертных» я почтил память товарищей по заключению. Новый роман будет моей данью памяти товарищам по работе в разведке. Я не медля возьмусь за дело, потому что первая часть, африканская, готова. Готова и третья, сибирская, – это «Залог бессмертия»: надо только чуть подработать текст и яснее обозначить героя.

– Это будет трилогия?

– Да. Становление характера, его показ в действии и картина закономерного в тогдашних советских условиях кру-

шения: дело, за которое боролся мой герой, и он сам будут преданы Сталиным.

– А хроника?

– Моя тема исчерпана. Не хочу и не могу быть летописцем своего времени – для этого не хватает ни желания, ни умения, ни сил. Я поставил себе ограниченную задачу – описать виденное в сталинских лагерях. И я это сделал. Сделал даже больше – рассказал, как бывшие лагерники представляют себе ближайшую судьбу неосталинизма. На этом пора поставить точку.

Некоторое время мы шли молча. Анечка слегка прихрамывала.

Потом спросила:

– А что же будет дальше? Почему ты улыбаешься?

Я повернулся к ней, крепче сжал её локоть.

– Анечка, ты помнишь Вольфа?

– Нет. Кто это?

– Как не стыдно! Забыть героя, которой хотел отдать жизнь за твою честь! Это случилось...

Она просветлела и оживилась.

– В бараке усиленного режима в Суслово! Милый Вольф... Но почему ты о нём вспомнил?

Я засмеялся.

– Санитар Вольфганг Шпенглер, лежа на зловонных обломках лагерных нар, думал о судьбах России и пришёл к мысли, что русская история развивается циклами по триста лет, которые народ проходит, в муках добиваясь улучшения условий существования. Вольф говорил со смешным немецким акцентом, и я сейчас не хочу ему подражать, Анечка, но смысл его слов сводился к тому, что в течение трёхсот лет татаризма, как он выражался, жизнь улучшилась настолько, что вместо хана Мамай смог царствовать хан Николай. Царизм просуществовал тоже триста лет, и условия снова изменились к лучшему, так что хан Николай и его режим могли быть заменены ханом Сталиным и нашей современной действительностью. Сталин умер и неосталинизм тоже не вечен: нам осталось ждать всего двести пятьдесят лет!

– Ты шутишь, конечно?

– Нисколько. Народ бессмертен, и вместе с ним бессмертны мы, люди из народа, те, кто борется и строит. Мы живём в достижениях своей эпохи. Не нужно воспринимать большие исторические явления в маленьком личном плане:

их необходимо рассматривать в аспекте историческом, понимаешь? Тогда всё видится и понимается как непреходящее благо: люди уходят, а в муках добытые ценности остаются. Будь спокойна и тверда: в конце концов Бессмертные всегда побеждают.

Некоторое время Анечка шла молча, слегка волоча больную ножку. Потом переспросила:

– В историческом аспекте?

– Конечно.

Она с болью перевела дух.

– Это хорошо. Очень, очень хорошо.

И подняла руку к глазам, как будто бы желая смахнуть с ресниц наворачнувшиеся слёзы.

Но слёз не было.

Ибо для Бессмертных труд и борьба – это радость жизни, их великолепный пир, а на пиру не плачут.

Москва, декабрь 1964 г.

Быстролётов Дмитрий Александрович

Пир бессмертных

Книги о жестоком, трудном и великолепном времени

Возмездие

Том IV

Компьютерная обработка фотографий и рисунков
из семейного архива Д.А. Быстролётова и набор текста
выполнены С.С. Милашовым

Отв. за выпуск Е.А. Белова

Оформление Л.П. Митич

Подписано в печать 30.09.2011. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 9.

Тираж 1000 экз. Заказ № 5200.

ООО Издательство «Крафт+»

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 4

Тел.: 620-36-94, 620-36-95, 926-25-48

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов.

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru